UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00276512 1

This "O-P Book" Is an Authorized Reprint of the Original Edition, Produced by Microfilm-Xerography by University Microfilms, Inc., Ann Arbor, Michigan, 1963

397C

I

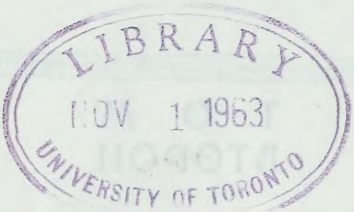
П. КОГАН

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ НОВЕЙШЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ТОМ ВТОРОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1 9 2 3

PG
3016
K57
1911
t. 2



865589

Kogan, P. Ocherki po istorii noveishei russkoi literatury. Moscow, 19--.

v. 2 only

П. КОГАН

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ НОВЕЙШЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ТОМ ВТОРОЙ

ИЗДАНИЕ ШЕСТОЕ

28-

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ☆ 1928 ☆ ЛЕНИНГРАД

Отпечатано в типографии Госиздата
„Красный пролетарий", Москва,
Пименовская улица, дом 16,
в количестве 5000 экз.
Главлит № А—7837,
Х—50 Гиз № 26017.

I.

Роль дворянства в литературе 40-х и 60-х годов.—Появление разночинца в литературе.— Его происхождение и мировоззрение.— Зарождение крупной буржуазии.—Идеология дворянства и отношение писателей-дворян к разночинской идеологии: Тургенев. — Эстетическое направление: Тютчев, Фет и Майков. — Изображение буржуазии в литературе: Островский и Гончаров.— Роль разночинцев в истории развития русской литературы.

Главные общественно-литературные направления, охарактеризованные выше, свидетельствуют о том, что русская литература в 40-х и 50-х годах оставалась по преимуществу дворянской. До декабрьских событий дворянство было единственным классом, который мог руководить политической и умственной жизнью народа. Мы уже видели, что после 1825 г. правительство приняло энергичные меры для того, чтобы парализовать умственную жизнь общества. С другой стороны, возникла официальная идеология, консервативное общественно-литературное направление, в котором правительственная система нашла свое философское и литературное выражение. Разгром декабристов пробил глубокую брешь в дворянском классе. Лучшие элементы сословия были выброшены за борт, сосланы или запуганы. Реакционеры подняли голову и почувствовали свою силу. Дворянство, если так можно выразиться, разбилось на группы, но при всем своем различии эти группы продолжали оставаться вполне, или в своих преобладающих настроениях, дворянскими и после 14 декабря. Официальное народничество, славянофильство и западничество,—эти три главных течения 10-х годов, представители которых сломали столько копий во взаимной борьбе,—имели один общий признак: подавляющее большинство писателей, стоявших во главе каждого из этих течений, принадлежало к дворянскому сословию, и те идеи, кото-

рые они проводили, были вскормлены либо долгой привычкой к политическому командованию, либо атмосферой усадебной культуры, либо скорбью о начинающемся разложении этой культуры. Крепостное право, а вместе с ним и усадебный быт пали в 60-х годах, но период между декабрьским бунтом и 60-ми годами был преддверием новой жизни, предчувствием гибели отживающего дворянского строя. Новые условия экономической жизни, развитие менового и денежного хозяйства и ряд других причин сделали невозможным дальнейшее существование крепостного строя. И разложение его давало себя чувствовать задолго до его официальной отмены. Как всегда бывает в эпохи кризиса, в момент умирания известной хозяйственной формы жизни, тот класс, который должен утратить свое господствующее положение, делает последние усилия, чтобы удержать за собою прежнюю роль. Официальная народность была выражением этих усилий дворянства. Глубокая связь, существовавшая между крепостным правом и идеологией официальной народности, лучше всего высказалась в словах Уварова, уверявшего, что крепостное право одно оставалось от всего, что было «прежде Петра I», и что оно не может быть тронуто «без всеобщего потрясения».

Таково было первое естественное русло, по которому устремилась мысль господствующего класса, когда смена хозяйственных форм жизни потрясла его господство. Это был путь консерватизма, стремление спасти то, чего нельзя спасти.

Но как всегда бывает в такие эпохи умирания, среди господствующей группы оказались и прогрессивные элементы, которые стремились принять участие в новой жизни и желали так или иначе разрешить назревшие новые задачи. Славянофильство и западничество были выражением этих прогрессивных стремлений. Первое не заключало в себе зерна жизни. Несмотря на прогрессивный характер своего учения, славянофилы могли видеть русскую жизнь только под тем углом зрения, который установился веками на основах общинно-земледельческого быта. Отвлеченный характер их учения, их идеализм, отсутствие реальных устоев в их идеях,—все это результат несоответствия между их демократическими стремлениями, с одной стороны, и усадебным бытом, в пределах которого они хотели осуществить эти стремления, с

другой. Нельзя было, с одной стороны, любить народ, идеализировать его, желать ему свободы и человечески-достойного существования, а с другой—идеализировать старую православно-монархическую Россию, говорить о смирении народа, об его отвращении к государствованию, об его индеферентном отношении к политической жизни страны. В общественном смысле славянофильство, его отвлеченная любовь и интерес к народу были таким же симптомом разложения дворянско-крепостнического строя, как и консервативное мракобесие официального народничества.

Зерно жизни, как показала последующая история, таило в себе только то направление, которое носило неточное название западничества. Но причиной его жизненности служило то обстоятельство, что оно с самого начала стало втягивать в среду своих представителей недворянские элементы. Именно—кружки, культивировавшие это направление, послужили каналами, через которые мыслящая часть дворянства совершала переход от своих классовых традиций к новым задачам русской общественной мысли. Один факт появления Белинского среди дворянской интеллигенции был в этом отношении ярким показателем. Огромное влияние, которым пользовался этот первый великий разночинец в литературе, все еще дворянской по настроению, свидетельствовало о том, в какую сторону должна была направиться мыслящая часть дворянства, не желавшая примкнуть к реакции или к славянофильским утопиям. Этот путь был один—слияние с теми свежими силами, с теми новыми общественными группами, которые могли разрешить проблему, непосильную дворянскому классу. Постепенное торжество разночинского элемента и идей, принесенных им, составляет самое характерное явление изучаемой эпохи. Если вначале разночинец втягивается в дворянскую литературу и поддается воздействию дворянской идеологии, то постепенно разночинский элемент усиливается, затем приобретает господствующее положение и втягивает в круг своих идей прогрессивные элементы дворянства. Вот почему в тех кружках, которые мы встречаем в 40-х годах, сливаются старые усадебные традиции и новые демократические идеи. Первая встреча прогрессивных, мыслящих дворян и разночинцев привела к своеобразной поэзии, в которой сен-симонизм уживался рядом с тайной, а иногда и явной

тоской о патриархальных формах крепостного быта. Вот почему западническое направление даже не может быть причислено к дворянским течениям. Оно завоевывало себе все более господствующее положение по мере освобождения от дворянских традиций и усиления разночинского элемента и новых идей, принесенных разночинцами.

Что такое разночинство? Возникновение его вызвано тоже разложением форм крепостного хозяйства. До падения этого последнего разночинцы существовали в литературе, но они представляли незначительное меньшинство. С падением крепостного права они властно заявляют о себе. Под разночинцами следует разуметь нечиновную и недворянскую интеллигенцию и ту часть мыслящего дворянства, которая отрешилась от своих классовых традиций. Только интеллигентный пролетарий органически чувствовал необходимость уничтожения старого строя отношений, в котором он не находил простора для применения своих сил. Белинский—первая ласточка этой весны. Он был первым ярким представителем той группы, которой принадлежало ближайшее будущее. Он не имел в своем распоряжении тех наследственных земель, которые достались Герцену и другим его сверстникам. Ему приходилось тяжелым трудом завоевывать себе средства к существованию. Его знание и талант были его единственным оружием в борьбе за жизнь. Правда, Белинский не доставил еще торжества разночинскому миросозерцанию. Он жил в эпоху преобладания дворянской идеологии и сам в значительной мере втягивался в круг идей прогрессивного дворянства. Но это не помешало ему стать предшественником Чернышевского, Добролюбова и Писарева, которые в качестве представителей разночинской интеллигенции в 60-х годах заняли господствующее положение в литературе. У Бельтова («За двадцать лет») мы находим следующую характеристику разночинца. «Жить зря», бродить «разочарованным» без всякого дела он не может уже потому, что он не помещик, а пролетарий, хотя бы и дворянского происхождения. Он должен в поте лица своего зарабатывать хлеб свой. Наш разночинец прежде всего специалист—химик, механик, медик, ветеринар и т. п. Правда, при современных порядках в России он также часто, почти всегда, оказывается «скованным для действительности», если только не хочет входить со своей сове-

стью в постыдные сделки. В этом-то и заключается трагизм его положения, потому-то голова его полна «проклятых» вопросов. Но он уже не складывает рук перед окружающими его препятствиями, он смеется над бесплодным разочарованием, он ищет практического выхода, стремится переделать общественные отношения. Поэтому общественные интересы преобладают у него над всеми прочими. Чисто литературные вопросы занимают его сравнительно очень мало. На первых порах он совершенно отрицал эстетику, смеялся над Пушкиным, а позднее хотя и отказался от этих крайностей, но восхищался искусством и поэзией только мимоходом, не считая их за настоящее дело и предпочитая им статьи по общественным вопросам и исследование народной жизни. Жестоко ошибаются, однако, те, которые считают его «грубым материалистом». Он как нельзя более далек от нравственного материализма. В своей нравственности он—чистокровный идеалист, но его идеализм благодаря особенностям его общественного и исторического положения носит особенный отпечаток. Он—протестант и борец по самому своему положению. Его внимание поглощено борьбой, и ему просто «некогда заниматься словесностью» ради словесности, «боготворить красоту», наслаждаться искусством. Он увлекается той поэзией, которая «проявляется в подвигах, а не в словах». И его общественная деятельность чрезвычайно богата примерами того, что можно назвать поэзией подвига. Отсюда его пренебрежение к отделанной речи, его неуклюжий и грубый, иногда неправильный язык. Он презирает философию, не любит Гегеля, не знает иностранных языков, и все это отличает его от идеалистов 40-х годов, с которыми он сходится только в одном—что так же, как и они, «честен мыслью, сердцем чист».

Еще точнее устанавливает классовую природу разночинца М. Н. Покровский в своем сжатом очерке русской истории. Новая интеллигенция была по составу уже не та, какая выступала в 1825 году. Та была по профессии почти сплошь военная, по происхождению почти сплошь дворянская. В этой были и военные и дворяне, но и те и другие тонули в массе новых людей, которых в тогдашней литературе называли «разночинцами». Впервые этот новый слой дал себя почувствовать в деле Петрашевского. Здесь, по донесению николаевских шпионов, «с гвардейскими офицерами и с чиновни-

ками министерства иностранных дел рядом находились не кончившие курса студенты, мелкие художники, купцы, мещане, даже лавочники, торгующие табаком». В другом месте шпионское донесение упоминает дворян, мещан, ремесленников, солдат, преимущественно же «учителей, студентов и учеников разных званий». Если мы присмотримся к происхождению этой пестрой массы, то чаще всего найдем детей духовенства, попов и дьяконов, чиновничества, особенно провинциального, низших офицеров, небогатых помещиков и т. п. Сельский поп, владеющий участком земли, уездный чиновник, у которого свой домик в уездном городе, помещик, владелец десятков десятин,—все это собственники, буржуазия, но буржуазия мелкая. Правильно выражаясь, «разночинец» есть мелкий буржуа или выходец из рядов мелкой буржуазии. Что касается крупной буржуазии, то появление на сцене промышленного капитала дает себя чувствовать уже в XVIII веке. С ним связаны Радищев и Сперанский, еще теснее связаны декабристы. Конституция, о которой мечтали декабристы, была цензовая, т.-е. народное представительство должно было представлять интересы имущих классов. У Рылеева были обширные связи с буржуазными кругами. Промышленный капитал являлся в это время прогрессивной силой, так как столкнулся с торговым капиталом, союзником помещика, в интересах которых было сорганизовано все крепостническое государство. Непосредственным носителем буржуазной революционности, говорит М. Н. Покровский, является не сама предпринимательская буржуазия, а интеллигенция. Запомним это и кстати отметим, что вовсе не обязательно, чтобы интеллигенция понимала, к какому конечному исходу клонится буржуазная революция, чтобы ей ясно было, что она борется за промышленный капитал против торгового. Революция требует от своих деятелей увлечения, самопожертвования, по крайней мере, риска своей жизнью и положением. Но кто же увлечется картиной, как фабрикант прогоняет взашей купца, и кто станет из-за этого чем бы то ни было рисковать? Экономической подоплеки борьбы интеллигенция не понимала. Она видела внешние проявления крепостнического государства—произвол царской власти, продажность чиновничества, жестокие казни, угнетение низших классов, и она восставала против всего этого во имя сво-

боды. Что настоящей свободы не может быть, пока существует капитализм, пока существует эксплоатация человека человеком, этого интеллигенция долгое время не сознавала, а когда сознала, перестала в большинстве быть революционной.

Отметив главные общественные группы, определявшие ход русской литературы в 40-х и 60-х годах, необходимо, хотя бы в кратких чертах, выяснить, как встретились в литературе различные идеологии, выросшие на почве этих групповых интересов, и какие общественно-литературные направления возникли благодаря их встрече.

Писатели, принадлежавшие к группе мыслящего прогрессивного дворянства, создали своеобразную поэзию умирающей барской культуры,—поэзию, полную трогательной грусти. В их изображении исчезающего мира часто больше тоски об этом мире, чем ясного сознания новых, нарождающихся форм жизни. Тургенев—лучший представитель этого течения в русской литературе. Поэзия Тургенева—величайший памятник этой эпохи. Она увековечила важный момент в истории русской общественности, показала, как все общественные движения, все идеи, выдвигавшиеся различными группами, нарождавшимися втечение 40-х и 60-х годов, преломлялись в уме прогрессивного русского дворянина, воспитавшегося на идеалах 40-х годов. Он не только отразил тоску этого дворянина в лице своих «лишних людей», в лице Рудиных и Лаврецких, он всю жизнь искал «настоящего» человека, того, кто поведет общество вперед, того, кто укажет выход, и не находил этого человека среди новых людей или не мог понять его.

Это разочарование и этот бессильный порыв к делу были одним из главных мотивов поэзии прогрессивного дворянства. Рассмотрим теперь, как встретились в литературе дворянская и разночинская идеологии. Может быть, нигде не сказывается так ярко живучесть классовой психики, как именно в этой встрече. В изображении разночинца писателями-дворянами всегда сохранялся барский оттенок и известная доля непонимания. Лучший пример—тургеневский Базаров. В отношении к нему автора чувствуется скорее нечто вроде изумления к чуждой натуре, чем глубокое понимание ее. И в произведениях Л. Толстого мы встретим на первых порах тот же преобладающий мотив и тот же тип кающегося дворянина, старающегося уплатить вековой долг дворянства народу. Как

великий моралист и художник. Толстой сумеет впоследствии расширить тоску своей дворянской совести в великое нравственное учение, сумеет окинуть весь мир оком привилегированного человека, постигшего всю глубину нравственного падения господствующих классов, питающихся трудом народных масс и взявших себе право командования этими массами. Но в изучаемую эпоху Толстой тоже, подобно Тургеневу, является прежде всего певцом той тоски, тех сомнений и порывов к делу, которые овладели душой мыслящего дворянина. Народ является не столько предметом главного внимания Толстого, сколько фоном, на котором развертывается душевная драма дворянина. Никто не станет отрицать, что образы крестьян, выведенных в «Утре помещика», нарисованы кистью гениального художника. Но, с другой стороны, можно ли спорить о том, что их назначение заключается в том, чтобы помочь автору глубоко проникнуть во внутренний мир центрального героя—Нехлюдова. Точно так же и Платон Каратаев в «Войне и мире», это раннее воплощение будущих нравственных идеалов Толстого, является в качестве эпизодического лица для того, чтобы сыграть крупную роль в истории нравственного развития Пьера Безухова. При всем различии талантов Тургенева и Толстого, при всем несходстве путей, по которым направилась их мысль, поэзия того и другого выросла на почве этого интереса к тоске кающегося дворянина, его стремления послужить народу, на почве пробудившегося в нем, с потрясением крепостного строя, сознания, что в основе его жизни лежит ложь. Неудивительно поэтому, что, рисуя ужасы крепостного права, и Тургенев и Толстой останавливают свое внимание не на самом факте эксплоатации крестьянства, не на противоречии классовых интересов крестьянства и дворянства,—словом, не на том факте, который был первоосновой всех темных сторон тогдашней жизни. Они предпочитают изображать Рудиных, Лаврецких и Нехлюдовых, т. е. людей благородных, умеющих идеально любить женщин, литературу, философию и справедливость. В совершающемся на их глазах великом историческом процессе их взор останавливается с любовью и сочувствием на муках, которыми сопровождается умирание прошлого, но этот взор не всегда ясно различает элементы будущего. На этой же почве выросли и два прославленных рассказа Григоровича,

который своими искусственными мужиками, изображенными кистью несколько сантиментального барина, пытался послужить народу, душу которого ему трудно было понять глубоко.

В эпохи крушения сложившихся форм хозяйственной жизни пессимизм и эстетизм часто шли рука-об-руку. Для просвещенной и самой утонченной части господствующего класса, не умеющей по своему общественному положению, по своим вкусам и традициям сразу слиться с новыми общественными группами, остается выход не только в тоске и пессимизме. Эта просвещенная группа, не нашедшая своим силам применения в возникающем мире новых отношений, часто находит для этих сил выход в отвлеченной философской деятельности, в чистом искусстве, в повышенном интересе к эстетическим и философским проблемам. Байрон и Шатобриан, жившие в эпоху ликвидации феодальных отношений, были одновременно эстетами и пессимистами, поэтами мировой скорби и романтиками. Неудивительно поэтому, что рядом с меланхолически-нежной поэзией умирающего барства, рядом с пессимизмом и разочарованием Рудиных мыслящая часть дворянства выдвигает поэтов чистого искусства, которым жизнь и природа представляются отражением высшей гармонии, бледным снимком сверхчувственного мира. Поэты этого направления, Фет, Майков, Тютчев, свято охраняют неприкосновенность искусства, стоят в стороне от общественной и политической борьбы. Они—певцы того заоблачного мира, в который всегда может уйти мысль человека, утомленного жизнью, утратившего веру в силы общества, в его власть над ходом жизни. Эта поэзия всегда выдвигается господствующим классом в эпохи кризисов, является для него утешением в разочарованиях, поддерживая представление о надземной гармонии, в которой разрешаются противоречия скорбного земного существования.

Рассмотрим теперь, как отнеслась дворянская литература к другим общественным течениям, выдвинутым русской действительностью. Городской пролетариат, который начинал завоевывать себе первые шаги в художественной литературе, почти не затронут писателями-дворянами. В то время как Успенский уже изображал городской пролетариат в «Нравах Растеряевой улицы», а Чернышевский и теоретически и в

художественной форме разрабатывал вопросы социализма, для Тургенева и Толстого пролетарский класс и то направление социализма, которое связано с его появлением на исторической арене, оставались чуждыми. Тургенев почти не касается городского пролетариата. Даже в его переписке с Герценом по поводу социалистических идей этого последнего вопрос идет только о мужике. Само собою разумеется, что в эту эпоху нельзя было предвидеть грядущего значения городского пролетариата, и поскольку писатели-дворяне вроде Герцена развивали социалистические идеи—эти идеи они старались осуществить в формах того уклада жизни, который сложился в русской деревне в эпоху крепостничества. Это неумение типичных писателей-дворян разобраться в новых направлениях, обнаружившихся в русской общественной мысли, ярко характеризуется самым заглавием тургеневского романа «Дым». Тургенев нашел слово, определявшее с точки зрения старого барства смысл общественной борьбы, разыгравшейся вне пределов усадебной и деревенской психики. Это слово—дым. Дымом представлялись речи и споры новых людей писателю, который и в этом романе не мог скрыть своей симпатии к старым дворянским гнездам. Дальше мы увидим, что Толстой в эту эпоху был склонен рисовать патриархально-идиллические картины деревенской жизни и так же далеко стоял от новых течений умственной жизни. К революционным кружкам дворянская литература отнеслась отрицательно. В «Нови» революционное движение представлено в качестве беспочвенной затеи, непродуманных попыток. Революционеры изображены либо незрелыми энтузиастами, либо узкими фанатиками идеи. И здесь талант Тургенева достигает своего прежнего блеска главным образом при изображении страданий кающегося дворянства, его разочарования в революционной деятельности.

Мы наметили те главные мотивы, которые должны были звучать в художественном творчестве писателей-дворян. Это были меланхолические мотивы, выражавшие тоску просвещенной части старого барства, или культ чистого искусства или бессильный порыв к делу. Сталкиваясь с представителями других общественных классов, лучшие художники дворянского класса умели улавливать их типичные черты, нередко выводили их в качестве людей настоящего дела, предвидели

их грядущее общественное значение. Но в общем в том изображении буржуазии, разночинца, революционера, «народа», которое мы встречаем в дворянской литературе, всегда оставался элемент непонимания и отчуждения, и нужно было появление писателей из буржуазной среды, писателей-разночинцев, писателей из «народа» для того, чтобы буржуазия, разночинцы и народ нашли своих собственных правдивых бытописателей, певцов своих чувств и настроений.

Выяснив отношение прогрессивной дворянской литературы к различным общественным группам и их идеологии, рассмотрим теперь, как, в свою очередь, общественно-литературные течения, созданные этими последними, отнеслись к дворянству, к самим себе и друг к другу. Лучшими изобразителями возникающего класса крупной буржуазии были Островский и Гончаров. Первый увековечил нравы купечества эпохи первоначального накопления,—купечества, сохранявшего патриархальные формы отношений, деспотизм и самодурство, возникшие на основах этих форм. Гончаров вывел перед нами мыслящих представителей зарождавшегося капитализма, дал, если можно так выразиться, идеологию этого класса. Гончаров перенес центр внимания из деревни в город, и сообразно с этим литература приобрела другой колорит. Меланхолия и трогательная поэзия умирания, веющие над романами Тургенева, сменяются деловой атмосферой в романах Гончарова. К старому барству идеолог буржуазии отнесся беспощадно. В лице Обломова он категорически осудил Рудиных и Лаврецких, тех лишних людей, которых Тургенев не мог не окружить поэтическим ореолом. В лице Адуева и Штольца он возвеличил тот умеренный либерализм, практицизм, тот культ полезного и делового, который должна была воздвигнуть просвещенная часть буржуазии на место отживающих представлений. Так же сурово отнеслась буржуазная мысль к нигилисту. и вообще революционеру, что ярко сказалось в фигуре Марка Волохова, который изображен Гончаровым далеко не в привлекательных чертах. Перенеся в «Обыкновенной истории» действие снова из города в деревню, Гончаров склонен даже к идеализации барства насчет революционера Волохова, хотя и здесь, как всегда, его симпатии склоняются на сторону трезвых и деловитых людей, вроде Штольцев и Тушиных. В общем, однако, буржуазная идеология в изу-

чаемую эпоху не получила своего полного выражения, хотя в ней обозначались уже типичные черты класса, которому предстояло занять господствующее положение в следующие десятилетия.

Более крупное влияние на ход русской литературы оказало появление разночинца. Мы видели уже, что встреча прогрессивной части дворянства с разночинцем в лице Белинского носила на первых порах совершенно дружеский характер. Через разночинцев даже совершался переход мыслящего дворянства к новым идеям. Но тем не менее, как в изображении разночинца писателями-дворянами скрывалась доля отчужденности и непонимания, так, с своей стороны, писатели-разночинцы проявляли с самого начала известное отрицательное отношение к барской идеологии, а в 60-х годах это отношение перешло в открытую вражду. Достаточно вспомнить некрасовскую «Родину», чтобы понять, в каком свете рисовались разночинцу дворянские гнезда, с такой любовью обрисованные Тургеневым. Если Рудин и Лаврецкий представляют собою «лишних людей» перед мягким судом «своего» же брата-дворянина, если Обломов воплощает тех же героев перед более суровым судом просвещенного идеолога деловитой буржуазии, то некрасовский Агарин—лишний человек, заклейменный беспощадным приговором разночинца, подошедшего к нему с желчью и горечью. В конце 50-х и в начале 60-х годов происходит открытый разрыв разночинцев в лице Добролюбова и Чернышевского с идеалистами 40-х годов. Особенно жестоко обрушивается на «лишних людей» Добролюбов. Резкому осуждению подвергается их непригодность к делу, их склонность к отвлеченному философскому мышлению. Писарев, чувствовавший связь между прогрессивными тенденциями разночинской литературы и идеализмом предшествовавшего поколения, был, однако, воплощенным отрицанием этого мечтательного, беспочвенного идеализма, которому он противопоставил прямолинейный материализм и «разрушение эстетики». Впоследствии, когда кончился этот великий спор между «отцами и детьми», стало ясно, что тоска «лишних людей» и мятежный пыл разрушителей имели в значительной степени общий источник, и преемственность между обоими направлениями стала бесспорным фактом.

Если писатели-разночинцы отнеслись в общем отрица-

тельно к тоске просвещенных дворян, оставшихся не у дел, если по отношению к идеологии, созданной этими последними, писатель-разночинец занял положение разрушителя, то литература, возникшая с появлением разночинца, дала яркую картину быта и глубокое освещение внутреннего мира тех общественных слоев, которые не могли найти правильного освещения у писателей-дворян. Городская беднота, чиновничий пролетариат, наконец, сам разночинец, интеллигент, профессионал, пробивающий себе дорогу,—эти элементы общества, остававшиеся в тени у писателей-дворян, становятся любимыми героями у писателей-разночинцев. Мы встретим их в ранних рассказах Достоевского, у Успенского, Помяловского, в песнях Некрасова. Наконец, и все прежние общественно-литературные направления приобретают новую окраску под пером писателя-разночинца. Социализм приобретает более определенные формы у Чернышевского, который в своем романе «Что делать?» проводит идеи Фурье, и у которого мы не встречаем мечтательного оттенка, окрашивающего социалистические идеи Герцена. Разночинская литература иначе отнеслась к революционному движению, чем писатели-дворяне, обнаружила больше интереса к нарождающемуся пролетариату, придала более демократическую окраску народничеству. Даже та моральная струя в русской художественной литературе, которая нашла свое благороднейшее выражение в философских трудах Толстого, окрашена в произведениях разночинца Достоевского горечью и страданием [1]).

Таковы общественные группы, настроения и чувства которых отразились в литературе изучаемой эпохи. Только ознакомившись с этими общественными группами и с теми отношениями, в которые они стали друг к другу, можно перейти к изучению отдельных писателей и литературных направлений. Мы не имеем в виду дать полный обзор русской художественной литературы изучаемой эпохи. Наша задача заключается в том, чтобы охарактеризовать литературную деятельность главных представителей трех вышеуказан-

---

[1]) В настоящем томе мы имели в виду охарактеризовать только тех писателей, литературная деятельность которых типична для 40-х годов. Вот почему идеологии 60-х г.г. мы касаемся лишь вскользь, поскольку она уясняет идеологию 40-х г.г. Характеристика 60-х г.г. будет дана в следующем томе.

ных общественных групп. Писатели этих групп очень часто являются почти сверстниками, или выступление их на литературное поприще приходится на близкие друг к другу периоды. Тургенев родился в 1818, Л. Толстой—в 1828, Григорович—в 1822, представители чистой поэзии, Фет и Майков, родились: первый—в 1820, второй—в 1821 году, Алексей Толстой родился в 1817, Тютчев—в 1803 году. Наконец, два писателя, у которых мы находим наиболее яркое изображение представителей буржуазии, Гончаров и Островский, родились: первый—в 1812, а второй—в 1823 году. Творения этих писателей являются великим памятником, увековечившим чувства и настроения русского общества в изучаемую эпоху.

II.

Тургенев. — Впечатления детства и юности. — Крепостное право, усадебная обстановка, университет, Белинский. — «Записки охотника» и «аннибалова клятва».—Роль «Записок охотника» в развитии антикрепостнических идей. — Рассказы, проникнутые духом протеста против крепостного права.—Рассказы, освещающие лучшие черты русского крестьянства, его идеализм, его нравственные представления и творческую силу.

Тургенев—лучший представитель той поэзии, которая отразила настроение мыслящего барства в эпоху разложения крепостного хозяйства. Он принадлежал к числу просвещеннейших людей своего времени. На всю жизнь сохранил он ту привычку, которую усвоили люди сороковых годов,—привычку относить всякое явление к общему началу. До конца жизни он оставался не только великим художником, но и мыслителем, который стремился разобраться в совершающихся явлениях, стремился установить общую точку зрения на них. Ни одно крупное общественное или философское течение не прошло мимо Тургенева. Он чутко откликался на каждое, старался занять по отношению к каждому определенную позицию. Благодаря этому оставленное им литературное наследие—не только крупный художественный памятник, озаривший с новых сторон внутренний мир человека. Его произведения—великий культурно-исторический памятник, увековечивший важный период в истории нашей общественности. Все вопросы, волновавшие русское общество, начиная с сороковых годов и кончая шестидеся-

тыми, затронуты Тургеневым. Различные общественные группы, принявшие участие в умственной работе, подготовлявшей дело освобождения русского народа от устаревших форм хозяйственной и политической жизни, выведены Тургеневым, хотя и не всегда он мог понять их. И над всей этой полосой русской общественной жизни, воспроизведенной в его творчестве, лежит грустный колорит, который наложила на нее кисть художника-дворянина, воспитанного в обстановке усадебного быта,—художника, который в изображаемом им процессе лучше умел чувствовать закат догорающего мира, чем первые яркие проблески зари будущего.

Жизнь Тургенева, впечатления детства и юности обусловили характер этой поэзии. Это те впечатления, которые разбудили не одного барчука той эпохи. Ужасы крепостного права, светлое воспоминание о каком-нибудь дворовом, который своими качествами навсегда поселил доброе чувство к народу, гувернеры и гувернантки, отвращение к гнету и насилию и в то же время известная привычка к барской праздности, которой вполне нельзя было искоренить уже никогда впоследствии, несмотря на усилие просвещенного ума и чуткой совести,—эти впечатления общи и для Тургенева, и для Герцена, и для славянофилов, выросших в усадебной атмосфере, в обстановке старого барства.

Если Герцену не пришлось видеть самых страшных картин крепостного быта, так как в его семье сравнительно хорошо обращались с людьми, то Тургенев не мог этого сказать о себе. Отец его был светским человеком, гусарским офицером, который прельстил его мать своей необыкновенной красотой и изяществом. В смысле внутреннего содержания красивый жуир был, повидимому, довольно бесцветным существом. Зато мать Тургенева обладала властной и жестокой натурой. Не только к крепостным, но и к детям она была беспощадна. Тургенева, по его собственным словам, «драли», без всякой жалости чуть ли не каждый день. Однажды старая приживалка за что-то донесла на него матери. «Мать без всякого суда и расправы тотчас же начала меня сечь, секла собственными руками и на все мои мольбы сказать, за что меня наказывают, приговаривала: сам знаешь, сам должен знать, сам догадайся, за что я секу тебя». Мальчика довели до того, что он хотел бежать из

родного дома. Если мать Тургенева так обращалась с детьми, то нетрудно представить себе, что проделывала жестокая помещица со своими крепостными. Здесь царила система издевательств и утонченного мучительства. Детей отнимали от родителей, разделяли любящих людей, не жалели розог и побоев. Так же обращались в этом гнезде самодурства и деспотизма с учителями, которых не стеснялись увольнять по всякому поводу, а при случае подвергали жестокой расправе. В этом темном царстве светлым лучом для Тургенева был дворовой человек Лобанов. Благодаря ему мальчик услышал звуки настоящей русской речи в доме, где даже слуги должны были говорить на иностранных языках. Лобанов изображен в рассказе «Пунин и Бабурин», имеющем, несомненно, автобиографическое значение. Он научил мальчика любить русскую речь, русские стихи и литературу. «Невозможно передать чувство, которое я испытывал, когда он внезапно, словно сказочный пустынник или добрый дух, появлялся предо мною с известной книгой подмышкой». Они уходили в глушь сада, куда никто не мог проникнуть за ними, где зеленые листья и высокие травы укрывали их от всего мира. И Пунин-Лобанов читал «торжественно, заливчато, закатисто», читал Сумарокова, Кантемира и «Россиаду» Хераскова, которая особенно восхитила мальчика.

Таковы впечатления детства. Далее, московские пансионы и, наконец, университет, куда Тургенев поступает в 1833 году. Недолго пробыл Тургенев в Московском университете, так как в 1834 году Тургеневы переехали в Петербург. Но едва ли можно сомневаться, что идеалистический пафос, который царил в это время среди университетской молодежи, должен был коснуться Тургенева. Если там, в глуши Орловской губернии, в родовом имении матери, он черпал материал для трагедий, изображенных в «Записках охотника» и в «Муму», то здесь он видел Рудиных, Покорских и Михалевичей, видел гегелианцев, споривших до утра, с их восторженным наивным идеализмом. Станкевич еще был в это время в университете. Тургенев сблизился с ним позднее в Риме, но его письма свидетельствуют о том, как умел автор «Рудина» ценить мечтателя, бывшего ярким воплощением идеалистических стремлений эпохи. «Нас постигло ве-

ликое несчастье, Грановский,—писал Тургенев из Берлина 4 июля 1840 года.—Едва я могу собраться с силами писать. Мы потеряли человека, которого мы любили, в кого мы верили, кто был нашей гордостью и надеждой. 24 июня в Нови скончался Станкевич. Я бы мог, я бы должен здесь кончить письмо... Что остается мне сказать—к чему вам теперь мои слова?.. Я сблизился с ним в Риме; я его видел каждый день и начал оценять его светлый ум, теплое сердце, всю прелесть его души»... В Петербурге, где Тургенев продолжал свое университетское образование, он познакомился с тогдашним литературным миром благодаря профессору русской словесности Плетневу. В «Литературных воспоминаниях» Тургенева мы находим любопытный эпизод, который свидетельствует о могучем влиянии Белинского на умы. Вместе со всей молодежью Тургенев пришел в восторг от вышедшей в 1836 году книжки стихов Бенедиктова. Но вот однажды утром студент-товарищ сообщает Тургеневу о появлении в кондитерской Беранже номера «Телескопа» со статьей Белинского, в которой этот «критикан» осмелился посягнуть на того, кто стал общим идолом. «Я немедленно отправился к Беранже,—рассказывает Тургенев,—прочел всю статью от доски до доски и, разумеется, тоже воспылал негодованием. Но—странное дело!—и во время чтения, и после, к собственному моему изумлению и даже досаде, что-то во мне невольно соглашалось с «критиканом», находило его доводы убедительными... «неотразимыми». Напрасно Тургенев с юношеским упрямством продолжал в кругу товарищей резко нападать на Белинского. Что-то шептало ему, что «он» был прав. И вскоре Тургенев перестал читать Бенедиктова.

По окончании филологического факультета Петербургского университета Тургенев отправился дополнять свое образование в Берлин. Здесь он встретил Станкевича, Грановского, Бакунина и, по его собственным словам, «с особенным рвением изучал Гегеля под руководством профессора Вердера». Здесь он убедился, какую слабую подготовку дал ему Петербургский университет, здесь, повидимому, укрепился он на всю жизнь в своем западничестве, так как к этому моменту относится знаменитое место его «Воспоминаний», в котором он противопоставляет Европу своей родине. На этой последней ничто не могло удержать его. «Почти все,

что я видел вокруг себя, возбуждало во мне чувство смущения, негодования,—отвращения, наконец. Долго колебаться я не мог. Надо было либо покориться и смиренно побрести общей колеей, по избитой дороге; либо отвернуться разом, оттолкнуть от себя «всех и вся», даже рискуя потерять многое, что было дорого моему сердцу. Я так и сделал... Я бросился вниз головою в «немецкое море», долженствовавшее очистить и возродить меня, и, когда я, наконец, вынырнул из его волн, я все-таки очутился «западником» и остался им навсегда».

По возвращении из-за границы Тургенев пытался посвятить себя ученой деятельности, затем пробовал служить, но, наконец, набрел на свой настоящий путь. Мы уже видели, что первый заметный литературный шаг его получил благословение Белинского, которому русская литература обязана открытием многих великих талантов. Мать его, которая отождествляла писателя и писца и считала литературу отнюдь не дворянским делом, была не особенно довольна появлением «Параши» и пришла в негодование, когда узнала, что на одно из сочинений ее сына написана критика, и что таким образом попович имел дерзость судить дворянина. Она вымещала свое возмущение на сыне, и ему приходилось терпеть большую нужду.

В 1847 году в журнале «Современник» в отделе «Смесь» был напечатан рассказ «Хорь и Калиныч». Рассказ, который редакция, точно стыдясь его и скрывая от взоров читателя, поместила на задворках журнала, произвел огромное впечатление и сразу выдвинул Тургенева в первые ряды русской литературы. И западники и славянофилы сошлись в оценке этого произведения. «Вот что значит,—писал К. Аксаков,—прикоснуться к земле и народу: вмиг дается сила!.. Талант, таившийся в сочинителе, скрывавшийся во все время, пока он силился уверить других и себя в отвлечении и потому небывалых состояниях души,—этот талант вмиг обнаружился, и как сильно и прекрасно, когда он заговорил о другом». Белинский несколько позднее по поводу этого же и других рассказов отметил замечательный талант Тургенева и его основное качество—глубокий реализм. Тургеневу, по словам Белинского, никогда не удалось бы создать такой характер, которого он не встретил бы в действительности. Остановим-

ся подробнее на «Записках охотника». После 1847 года они продолжали появляться в «Современнике», а в 1852 году вышли отдельным изданием.

«Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел, для этого у меня, вероятно, недоставало надлежащей выдержки, твердого характера. Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был—крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца—с чем я поклялся никогда не примиряться... Это была моя аннибалова клятва; и не я один дал ее себе тогда».

Эти слова вошли впоследствии во все учебники литературы. Они вспоминались всякий раз, когда заходила речь о «Записках охотника», и служили эпиграфом к первому крупному творению Тургенева. В последнее время критика достаточно выяснила истинную роль «Записок охотника» и их автора в истории освобождения крестьян [1]). Теперь эта роль уже не представляется такой боевой, какой она казалась современникам, и тем не менее «Записки охотника» и в наших глазах остаются не только замечательным художественным произведением, но и выдающимся памятником в истории развития русской общественной мысли.

Правда, общий тон «Записок» не боевой. Количество рассказов, которые проникнуты духом протеста против крепостного права, не велико. Они теряются среди рассказов, которые навеяны наследственными симпатиями Тургенева к патриархальной стороне отношений, взращенных крепостническим бытом. Отчасти боевой тон был смягчен благодаря внешним причинам. В своих письмах (см. «Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПб., 1885) Тургенев не раз упоминает о давлении цензуры. Так, в письме к Я. П. Полонскому 13 января 1874 г. он предлагает для сборника «Складчина» не напечатанные, но сохранившиеся у него рассказы из «Записок охотника». «Всех их,—говорит он,—напечатано 22, но заго-

---

[1]) См. особенно Н. М. Гутьяр, Иван Сергеевич Тургенев. Юрьев, 1907, и А. Е. Грузинский, К истории «Записок охотника» (статья в его «Литературных очерках». М., 1908).

товлено было около 30. Иные очерки остались недоконченными из опасения, что цензура их не пропустит». Далее мы имеем свидетельство, что Тургенев умел видеть не только патриархальные идиллии, возникавшие на почве крепостного права, не только забитых и смиренных крестьян, которых он выводил даже в рассказах, проникнутых враждой и ненавистью к рабству. Так, Тургенев не закончил рассказа «Землеед» потому, что знал, что никакая тогдашняя цензура его не пропустила бы. Сюжетом для этого рассказа послужил действительный случай: крестьяне уморили своего помещика, который ежегодно урезывал у них землю, и которого они прозвали за то землеедом, «заставив его скушать фунтов восемь отличнейшего чернозему». В своих придирках цензура дошла до того, что в «Гамлете Щигровского уезда» улучшила наружность двух военных (автор писал: «с благородными, но несколько изношенными лицами»; после цензурного туалета осталось: «с весьма благородными лицами») (см. А. Е. Грузинский, I. с.). Но даже в том виде, в каком «Записки охотника» появились перед современниками, они произвели сильное впечатление на все слои образованного общества. Графиня Растопчина сказала про них Чаадаеву: «Voilà un livre incendiaire». И. С. Аксаков удивляется тому, как цензура пропустила эту книгу, которая представлялась ему «стройным рядом нападений, целым батальным огнем против помещичьего быта». Даже отставка цензора Львова последовала в связи с пропуском «Записок охотника». Наконец, самым веским свидетельством общественного значения «Записок охотника» служит заявление Александра II. По словам Тургенева, царь велел сказать ему, что его книга «была одним из главных двигателей его решения» освободить крестьян. По другим свидетельствам, Александр II выразился еще определеннее и лично заявил Тургеневу, что мысль о необходимости освобождения крестьян ни на минуту не оставляла его с тех пор как он прочел «Записки охотника».

Не только своим художественным созданием, но и своей практической деятельностью Тургенев доказал свое сочувствие к закрепощенному народу. По смерти матери он отпустил на волю своих дворовых, которые изъявили на то согласие. Когда появились первые известия о готовящейся реформе, Тургенев внимательно следил за ходом ее. Когда

же стало известно о предстоящем опубликовании манифеста, Тургенев писал из Парижа П. В. Анненкову: «Когда мое письмо к вам дойдет, вероятно, уже великий указ,—указ, ставящий царя на такую высокую и прекрасную ступень,—выйдет». Он называет этот день «великим днем». И после реформы он приложил немало сил, устраивая богадельню, школу и другие учреждения для своих крестьян.

Все эти факты и влияние «Записок охотника» на умы не оставляют сомнения относительно гуманных и просвещенных воззрений Тургенева. Они навсегда утвердят за ним почетную роль в истории общественного движения в России. Тем с большей смелостью, не опасаясь упреков, можно отметить, что творец «Записок охотника» в своем первом творении был не бойцом, а художником, душа которого тесно сроднилась с усадебным бытом. Ему дорог был тот мир, который должен был рушиться вместе с падением крепостного права. Он был не столько врагом, сколько другом и поэтом этого мира. Происхождение не позволило ему понять более революционный подход к крепостному праву. Его слава не померкнет от того, что мы признаем, что в его первом творении чувствовался поэт-дворянин, который любил смирение страдалицы Лукерьи, наивную мечтательность Касьяна и идеализм Калиныча. Цензура и внешние причины могли повлиять на смягчение боевого тона рассказов, но они не могли пересоздать художника, не могли навязать ему того любовного чувства, с которым он воспевает светлые моменты патриархального быта, сложившегося на основах крепостнического строя. Мы знаем, что и после освобождения крестьян он любил во время приезда в Спасское собирать их перед террасой барского дома, поддерживая старый русский обычай. Он предлагал им угощение, дарил крестьянкам платки и ленты, слушал их песни, любовался их хороводами. Едва ли нужно повторять, что Тургенев, как просвещенный человек своего времени, желал отмены крепостного права. Но, с другой стороны, трудно отрицать, что благодаря воспитанию, благодаря унаследованным вековым традициям и вкусам его художественный гений проявлял особенную чуткость к тем настроениям и чувствам, которые переживала лучшая часть мыслящего барства в эпоху кризиса старых форм хозяйственной жизни. Вся последующая литературная деятельность Тур-

генева, который почти уже не возвращался к крестьянину и рисовал тоску Рудиных и Лаврецких,—эта деятельность подтверждает, в какой сфере талант его чувствовал свою родную стихию. В этом разладе, в этом неуменьи разобраться в отдельных моментах совершающегося переворота заключается причина той грусти, того меланхолического колорита, которым окрашены все его творения. Недаром его дворянское происхождение и меланхолическая грусть прежде всего бросились в глаза такому тонкому психологу, как Брандес. «Как писатель,—говорит датский критик,—он сохранил дворянский отпечаток... У Тургенева незаметно и тени того, что прямо указывало бы на аристократа; но читатель выносит из его произведений то впечатление, что автор обладает природной душевной деликатностью, и что он всегда жил в хорошем обществе. Он был светский человек, и в его произведениях всюду чувствуется жизненный опыт светского человека. Скорбь Тургенева в одно и то же время—скорбь патриота, пессимиста и друга человечества. Несмотря на свой кажущийся космополитизм, он был патриот, но патриот, грустящий о своем отечестве и сомневающийся в его судьбах. Он не разделял энтузиазма к русскому народу своих более наивных и менее знающих соотечественников. Он находил, что у него нет великого прошлого». Мы, ближе знающие Тургенева, можем видеть преувеличение, скрывающееся в этой тираде. Но мнение датского критика очень ценно, так как оно—результат непосредственного впечатления и определяет сущность настроения, преобладающего в тургеневской поэзии. Важное значение происхождения Тургенева для понимания его поэзии отмечает и проф. Д. Н. Овсянико-Куликовский, который в следующих словах характеризует общественную группу, выставившую Тургенева: «Это были «добрые господа», интересовавшиеся всем на свете, читавшие умные книги на иностранных языках и толстые русские журналы. Это был цвет тогдашней интеллигенции. Разносторонне образованные, с широкими общечеловеческими интересами, истинные «европейцы»—в русском смысле этого слова, они были лучшими представителями просвещения, мысли и совести своего времени. А так как они по своему социальному положению, воспитанию и образу жизни были—б а р ы, г о с п о д а, то просвещение, мысль и совесть,

представляемые ими, носили на себе некоторый отпечаток барственности».

Таков преобладающий тон и «Записок охотника». И тем не менее даже в этих беззлобных рассказах раскрываются тяжелые драмы крепостного права, развертываются невидимые снаружи трагедии, обнаруживаются мрачные скрытые жестокости. Попирается человеческое достоинство, льются крестьянские слезы, любящие существа отрываются друг от друга для удобства и удовольствия наивных людей, которые в унаследованной привычке к командованию и эксплоатации часто не сознают того, что творят. Прост рассказ помещика Зверкова о горничной его жены Арине («Ермолай и мельничиха»), наивная искренность звучит в его негодовании. Случайно проезжала его жена через деревню, случайно увидела «прехорошенькую дочь» старосты, которая особенно понравилась господам тем, что у нее было что-то подобострастное в манерах. «Она мне нравится, Коко, возьмем ее».—«С удовольствием»,—и плачущую девочку, «сдуру» не понявшую своего счастья, увезли из родного дома. Но облагодетельствованная девочка так и не могла оценить благодеяния. Десять лет прослужила, пользуясь господской лаской, и вдруг бросилась в ноги Зверкову, который «терпеть не мог» подобного унижения человеческого достоинства, и стала молить его об одной милости: о разрешении выйти замуж, обещая при этом попрежнему служить барыне. Мастерскими красками изобразил автор негодование наивного деспота, возмутившегося черной неблагодарностью девушки. «Доложу вам, я такой человек: ничто меня так не оскорбляет, смею сказать, так сильно не оскорбляет, как неблагодарность». Когда бедная девушка обратилась с той же просьбой вторично, благовоспитанный Зверков, так боявшийся унизить человеческое достоинство, не выдержал и «с сердцем прогнал ее». Когда же несчастная послушалась голоса своего сердца вопреки воле барина, последний вышел из себя, приказал остричь ее и сослать в деревню. В «Малиновой воде» перед нами другой тип помещика, хлебосола. Граф Петр Ильич любил пожить. Гости, пиры и музыка не покидали его дома. «Кафтаны шитые, парики, трости, духи, ладеколон первого сорта; табакерки, картины этакие большущие, из самого Парижа выписывал,—рассказывает о нем его дворовый Туман.—Задаст

банкет—господи, владыко живота моего! Фейвирки пойдут, катанья! Даже из пушек палят!» Казалось бы, ничего трагического нет в этой картине, кроме мысли о разорении, которое рано или поздно ждало графа. Но в свой рассказ Туман вставляет одну подробность—и кажется, будто долгий стон народного горя ворвался в хоромы графа и заглушил ликующие звуки барского разгула. Граф приближал к себе «матросок», как выразился Туман, и подпал под их власть. Особенно свирепствовала одна, Акулина. «Племяннику моему лоб забрила: на новое платье щеколад ей обронил... и не одному ему забрила лоб». Дорого обходилась распущенность графа его крепостным. В рассказе «Льгов»—немудрая повесть Сучка, шестидесятилетнего старика, отставного дворового, «босоногого, оборванного и взъерошенного». Но в этой простой истории издевательство над человеческой личностью достигает апогея. Несчастный перебывал во всевозможных должностях. Он был и поваром, и кучером, и кофишенком, и актером, и рыболовом. Каждый новый владелец имения играл этой человеческой душой по своей прихоти. Одной барыне не понравилось имя Сучка, и она велела заменить его настоящее имя Кузьма Антоном. Другая застала его кучером, и, презрительно бросив ему: «Ну, какой ты кучер, посмотри на себя!»—повелела ему быть рыболовом. Из актеров его разжаловали в повара за то, что его брат убежал. Был он и в казачках, и «фалетором», и садовником, и доезжачим. Особенно трагическое впечатление производит рассказ Сучка об его артистической деятельности: «На кеятре играл. Барыня наша у себя кеятер завела... Вот меня возьмут и нарядят: я так и хожу наряженный, или стою, или сижу, как там придется. Говорят: вот что говори—я и говорю. Раз слепого представлял... Под каждую веку мне положили по горошине». Ему было двадцать лет, когда его выпороли за то, что он, упав с лошади, зашиб ее, и отдали в ученье в Москву. Словом, самое утонченное воображение не в состоянии изобрести тех пыток, которым в своей наивно-простодушной жестокости подвергали Сучка часто незлые люди. Потрясающее впечатление производит рассказ «Бурмистр», в котором Тургенев вывел самый отталкивающий тип крепостника. Аркадий Павлович Пеночкин—человек благовоспитанный, безукоризненно

говорит пофранцузски, любит повторять, что о подданных своих печется и наказывает их для их же блага. Пеночкин не любит резких движений, не повышает голоса и даже в случае так называемой печальной необходимости тычет рукой прямо, спокойно приговаривая: «Ведь я тебя просил, любезный мой», или: «Что с тобою, друг мой, опомнись», причем только слегка стискивает зубы и кривит рот. Но за его мягким и приятным голосом, за его деликатностью скрываются холодная жестокость и тупой эгоизм. Плотно позавтракав, он налил рюмку красного вина, поднес ее к губам и вдруг нахмурился. Произошла следующая безобразная сцена.

«— Отчего вино не нагрето?—спросил он довольно резким голосом одного из камердинеров.

Камердинер смешался, остановился, как вкопанный, и побледнел.

— Ведь я тебя спрашиваю, любезный мой?—спокойно продолжал Аркадий Павлович, не спуская с него глаз.

Несчастный камердинер помялся на месте, покрутил салфеткой и не сказал ни слова. Аркадий Павлович потупил голову и задумчиво посмотрел на него исподлобья.

— Pardon, mon cher,—промолвил он с приятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колена, и снова уставился на камердинера.—Ну, ступай,—прибавил он после небольшого молчания и позвонил. Вошел человек, толстый, смуглый, черноволосый, с низким лбом и совершенно заплывшими глазами.

— Насчет Федора... распорядиться,—проговорил Аркадий Павлович вполголоса и с совершенным самообладанием.

— Слушаюсь,—отвечал толстый и вышел».

И пока пороли несчастного камердинера, забывшего нагреть вино, Пеночкин напевал какой-то французский романс и обдумывал, как лучше провести день. Еще ярче выступает фигура этого благовоспитанного «европейца», когда он выслушивает жалобу двух крестьян на бурмистра Софрона. Один был старик лет шестидесяти, другой—малый лет двадцати. «Батюшка, разорил вконец,—говорил старик.—Двух сыновей, батюшка, без очереди в некруты отдал, а теперя и третьего отнимает. Вчера, батюшка, последнюю коровушку со двора свел и хозяйку мою избил». Сначала Пеночкин с неудоволь-

ствием взглянул на бурмистра, но когда последний упомянул о недоимке, числящейся за стариком, помещик пришел в бешенство, осыпал его бранью и чуть было не бросился с кулаками на его сына, и только присутствие гостя удержало «европейца» от некультурного поведения. Страшно становится за мужиков Пеночкина, когда один крестьянин сообщает Тургеневу о неизбежных последствиях этого инцидента: «Заест он его теперь; заест человека совсем. Староста теперь его забьет. Экой бесталантный, подумаешь, бедняга!»

Фигуру Пеночкина дополняет Мардарий Аполлонович Стегунов («Два помещика»). Вот знаменитая сцена, поражающая, как и все картины самоуправства, нарисованные в «Записках охотника», добродушием истязателей.

«Между тем воздух затих совершенно. Лишь изредка ветер набегал струями и, в последний раз замирая около дома, донес до нашего слуха звук мерных и частых ударов, раздававшихся в направлении конюшни. Мардарий Аполлонович только что донес к губам налитое блюдечко и уже расширил было ноздри, без чего, как известно, ни один коренной русак не втягивает в себя чая, но остановился, прислушался, кивнул головой, хлебнул и, ставя блюдечко на стол, произнес с добрейшей улыбкой, и как бы невольно вторя ударам: «Чюки-чюки-чюк! Чюки-чюк! Чюки-чюк!»

— Это что такое?—спросил я с изумлением.

— А там по моему приказанию шалунишку наказывают... Васю буфетчика изволите знать?

— Какого Васю?

— Да вот что намедни за обедом нам служил. Еще с такими большими бакенбардами ходит.

Самое лютое негодование не устояло бы против ясного и кроткого взора Мардария Аполлоновича».

Приведенные рассказы, если присоединить к ним известные «Муму» и «Постоялый двор», составляют не только в «Записках охотника», но и вообще в творчестве Тургенева почти все, в чем можно уловить негодующий протест против рабства, заглушенный звук революционной трубы. Этих рассказов немного. Их было бы, вероятно, больше, и их тенденция была бы яснее, если бы драконовская николаевская цензура не наложила на них свою тяжелую руку. Но выиграл ли бы от этого Тургенев как художник? Мы думаем, что нет. Об-

щий колорит «Записок» свидетельствует о том, что автор и по самому складу своего таланта не мог быть боевым певцом народного горя. Если не считать ненапечатанного «Землееда», эпизода в рассказе «Контора» и еще двух-трех менее ярких типов и эпизодов, мы не видим ни одной попытки нарисовать тип протестующего крестьянина, в котором пробудилась человеческая личность. А история говорит нам, что таких было немало, и история зарегистрировала не один факт, напоминающий «Землееда». Не одни цензурные условия, но и сама натура Тургенева заставляла его с любовью останавливаться на типах смиренных крестьян, вскормленных крепостным бытом, на той психике, которая являлась, быть может, незаметно для автора, опорой сложившихся отношений.

Его крестьяне—смиренники, носители той идеи смирения, которую ставили в заслугу русскому народу славянофилы. Тургенев противопоставляет их угнетателям, и при всей объективности великого художника нетрудно видеть, что именно эта черта в русском народе поразила более всего его воображение. Эти люди, нищие, оборванные, «на босую ногу», люди, над которыми вечно свистит бич деспота и эксплоататора, с благоговением целуют бичующую их руку. Сучек, над которым так жестоко издевались его многочисленные собственники, ни разу не возвысил голоса. Ни один жест его не выдал, что в несчастном старике гнездится хотя бы неясное сознание несправедливости, хотя бы глухое чувство обиды. Покорность, самоотвержение, стремление занять как можно меньше места на земле и отречение от своей личности ради удобств другого,—эти качества, которые возвеличил Л. Н. Толстой в Платоне Каратаеве, «работнике» и в многочисленных героях,—эти качества составляют сущность натуры и Сучка, и Васьки буфетчика, и всех этих истязуемых и поруганных героев Тургенева. Вспомним переход вброд через пруд: «Сучек карабкался, болтал ногами, прыгал и таки-выбирался на более мелкое место, но даже в крайности не решался хвататься за полу моего сюртука». Подобно Каратаеву, он принимает факты так, как они есть. Мысль о критическом отношении к ним не приходит ему в голову. На изумленный вопрос, какое же может быть ученье в двадцать лет, он находит только один ответ: «Стало быть, ни-

чего, можно, коли барин приказал». Рассказывая о своих истязателях, не сознавая трагического смысла своего рассказа, он относится с благоговением к их памяти. «Покойница Татьяна Васильевна—царство ей небесное!—никому не позволяла жениться». Он благодарил бога равно за все: и за редкие минуты маленькой радости и за долгие дни беспросветного горя. «А я, батюшка, не жалуюсь. И слава богу, что в рыболовы произвели. А то вот другого, такого же, как я, старика—Андрея Пупыря—з бумажную фабрику, в черпальную, барыня приказала поставить». Или: «Какое, батюшка, жалованье... Харчи выдаются—то слава тебе, господи! много доволен. Продли бог века нашей госпоже». А что отвечает на вопрос автора о причине наказания буфетчик Васька, безответная жертва Стегунова: «А поделом, батюшка, поделом. У нас по пустякам не наказывают; такого заведения у нас нету—ни, ни. У нас барин не такой; у нас барин... такого барина в целой губернии не сыщешь».

«Вот она старая Русь!» подумал автор, выслушав слова Васьки. И эта старая Русь не многими поэтами была воспета так, как Тургеневым. Он постиг практику и философию этого смирения и воплотил их в яркие фигуры. Его Фома Кузьмич («Бирюк»)—фанатик долга. Он не умеет подходить к фактам с критическим анализом. Он воспринял свои нравственные представления без проверки и слепо следует тому, что признано установившимся строем. Тщетно умоляет его о пощаде несчастный мужичонка, которого он захватил во время кражи леса. Его не трогает печальный вид мужика «мокрого, в лохмотьях, с длинной растрепанной бородой». Его не трогают ссылки пойманного на нужду и разорение, его отчаянье, почти безумные вопли. Ему и в голову не мог притти вопрос, почему он должен посвятить все свои силы охране господского леса. «Вязанки хвороста не даст утащить,—говорили о нем мужики,—в какую бы ни было пору, хоть в самую полночь, нагрянет как снег на голову, и ты не думай сопротивляться—силен, дескать, и ловок, как бес... И ничем его взять нельзя: ни вином, ни деньгами, ни на какую приманку не идет». Такова практика могучих натур, создавшихся на почве крепостнических отношений. Великие силы народные, достойные лучшей участи, находили себе приложение в беззаветном служении крепостническим фор-

мам жизни, и на этих покорных натурах, на этом своеобразном величии по преимуществу останавливался взор художника, которому трудно было уловить зародыши будущего, подслушать еще неясно звучавшие голоса протеста и злобы. В лице Бирюка мы видим, в чем находил себе выход богатый запас сил, дремавших в народе.

Но, может быть, ни в чем художественный гений Тургенева не проявился так ярко, как в изображении мечтателей, теоретиков смирения, в обнаружении богатого своеобразного мира идей о боге, природе и правде, мира, который сложился в душе крестьянина... Он подслушал его поэтические предания среди степного простора, и в заповедных лесах, и ночью при фантастическом свете костра, когда темное, чистое небо торжественно и необъятно высоко стоит над нами со всем своим таинственным великолепием; когда сладко стесняет грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах—запах русской ночи, когда кругом не слышно ни звука, и дрожь пробегает по телу при внезапном шуме плеснувшей в реке рыбы или прибрежного тростника, поколебленного набежавшей волной. Он умел передать поэзию великого смирения, заглянуть в наивную душу, населившую мир живыми силами и духами, перелить в слова музыку песни—безбрежной русской песни, от которой веяло чем-то родным и необозримо-широким, словно знакомая степь раскрывалась перед глазами, уходя в бесконечную даль. И не только все поэтическое и идеальное, что веками складывалось в душе крепостного народа, собрал он. Он проник в самую глубь, откуда бил этот богатый родник поэзии. Он подслушал шопот детей ночью у костра, когда жутко становится на душе и рождается мир сказок, ярких и страшных.

Его смиренники не только страдальцы. Они мыслители, философы. У них своя космология, своя система морали, которую они развивают во всех деталях. Сколько рабской покорности в простых словах Лукерьи («Живые мощи»). Некогда первая красавица во всей дворне, полная, высокая, румяная, хохотунья, плясунья и певунья, предмет обожания деревенских парней, а теперь страшная мумия с высохшей одноцветной головой—Лукерья не произносит ни одной жалобы, не бросает ни одного упрека небу. Она полюбила, и, когда душа ее была полна поэзией любви, она не умела спать и

вышла ночью в сад слушать певца любви—соловья. И ей почудилось, что в воздухе прозвучал любимый голос, звавший ее. Она оступилась, упала—и навсегда прикована к подмосткам, которые господская доброта, как милостыню, бросила этому живому трупу. Она умела любить, как умеют немногие. Она умела и прощать, и потрясенный, останавливается читатель перед этим величием духа, не растратившего своих сокровищ в страдании. Тот, кого она любила, женился на другой, и она вынесла ему приговор, сотканный из любви и жертвы: «Очень он меня любил—да ведь человек молодой—не оставаться же ему холостым. И какая уж я ему могла быть подруга? А жену он нашел себе хорошую, добрую,—и детки у них есть... И очень ему, слава богу, хорошо». Господа, которым она служила, бесплодно пытавшиеся излечить ее, порешили, что в барском доме «держать калек неспособно», и поместили ее в плетеный сарайчик, куда ставят ульи на зиму. И она любила и благословляла их. Она развивает своеобразную теорию счастья и морали. Истинная добродетель и истинное счастье в отречении. Она лишена радостей жизни, но зато свободна и от ее соблазнов, от опасности греха. «Многим хуже моего бывает. Хоть бы то взять: иной здоровый человек очень легко согрешить может; а от меня сам грех отошел». Природа для нее живой мир. Она слышит, как крот под землею роется, как цветет липа в саду или гречиха в поле. Она творит поэтические миры, которых не знают культурные поэты. Она беседует в этих видениях с Христом, и он зовет ее к себе: «Не бойся, говорит, невеста моя разубранная, ступай за мною; ты у меня в царстве небесном хороводы водить будешь и песни играть райские». Здесь, в глуши русской деревни, родилась эта рабская философия, которая учит, что в удалении от мира, в слиянии с природой можно обрести бога,—философия, которая заставляет человека считать себя звеном в конечной цепи мироздания, чувствовать свой нравственный долг в служении высшему, надземному началу и не чувствовать своего реального унижения. Тургенев бессознательно делал привлекательным это рабское мироощущение. Ту же проповедь смирения слышим мы из уст другого простолюдина-мечтателя («Касьян с Красивой Мечи»). Он тоже сливается с природой, чувствует себя частью великого целого.

И в его глазах видимый мир есть создание благой высшей воли, а потому всякий протест есть грех, всякое убийство, всякая попытка изменить жизнь природы есть восстание против бога. «Все благо, прав судьбы закон». Везде хорошо. «Как пойдешь,—говорит Касьян,—и полегчит, право. И солнышко на тебя светит, и богу ты видней, и поется ладней». Касьян упрекает охотника за то, что он убил коростеля. Он допускает употребление в пищу рыбы, «немой твари», которая «не веселится и не чувствует», даже домашней птицы, потому что она «богом определена для человека». Но все, что говорит его душе о ликовании природы, о трепете жизни, разлитой в ней, представляется Касьяну святыней. «Коростель—птица вольная, лесная. И не он один: много ее, всякой лесной твари, и полевой, и речной твари, и болотной, и луговой, и верховой, и низовой,—и грех ее убивать, и пускай она живет на земле до своего предела».

Озарив посвоему нравственный мир крестьянства, Тургенев в рассказе «Певцы» в лице двух певцов, вступивших между собою в состязание, показывает богатые родники поэзии, которые скрываются в душе народа. Особенно захватывает песня Якова, вышедшего победителем. В его голосе были и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и слабость, и какая-то увлекательно-беспечная грустная скорбь. «Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем, и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась... Помнится, я видел однажды вечером, во время отлива, на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую белую чайку: она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянию зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому, багровому солнцу: я вспомнил о ней, слушая Якова». «Бежин луг» дополняет серию рассказов, раскрывших богатые силы, заложенные в русском народе. Пред нами несколько крестьянских ребятишек, стерегущих табун в летнюю ночь. Они рассказывают друг другу страшные вещи о домовом, которого один из ребят слышал своими ушами, о русалке, которая манила с дерева слободского плотника Гаврилу и на всю жизнь сделала его «невеселым», о покойном барине, который выходит по ночам из

могилы и ищет разрыв-траву, потому что его давит могила. Жутко и страшно становится от этих рассказов, полных мрачной и грустной поэзии. Таинственные звуки, раздающиеся в лесу, заставляют вздрагивать ребят и прижиматься друг к другу. И на фоне этой великолепной безлунной ночи вырисовывается бесстрашная фигура самого интересного из мальчиков, Павлуши, который смело бросается в лес, за собаками, встревоженными каким-то шумом, и спокойно возвращается, не встретив ожидаемого волка.

Но самым драгоценным памятником крестьянского быта той эпохи остается первый рассказ—«Хорь и Калиныч». Пред нами два противоположных типа: один—делец, человек практической инициативы, другой—мечтатель-идеалист. Оба приятеля—рассказывает автор—нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, т. е. обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с прочими властями; Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное; у Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей не бывало вовсе. Хорь насквозь видел г-на Полутыкина; Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство. Калиныч любил и уважал Хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя; Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьем, как бойкий фабричный человек... Калиныч стоял ближе к природе; Хорь же—к людям, к обществу. Когда Тургенев разказывал обоим приятелям о своих поездках за границу, Хорь много расспрашивал, но интересовался по преимуществу вопросами административными и государственными; Калиныча больше трогали описания гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов. Хорь не умел читать; Калиныч был грамотен.

Отличительная черта Хоря—ум трезвый, деловой ум. Всякий факт он исследует исключительно с точки зрения практических последствий и своих интересов. Он не знает никаких общих принципов и точек зрения, кроме тех, которые складываются как выводы, как равнодействующая

реальных отношений. С практической меркой он подходит ко всем людям и ко всем явлениям. К помещику Полутыкину он относится с оттенком пренебрежения и иронии, потому что Полутыкин «ему сапогов не сошьет». Ему чужды рабские речи о господской непогрешимой воле, о преданности, о патриархальных традициях. Он просто смотрит на Полутыкина как на реальный факт, с которым нужно считаться и из которого следует извлечь всю возможную пользу. Он устроил свои отношения на основах взаимной выгоды. Он платит ему большой оброк, зато пользуется полной независимостью. Откупиться на волю он не желает, так как под помещиком он лучше защищен от всяких покушений чиновников, и, конечно, это практическое удобство не променяет на эфемерный идеал личной свободы. Выгода, интерес—эти могучие стимулы, возведенные в культ буржуазией, глубоко постигнуты Хорем, в котором можно видеть раннего представителя идеи честного предпринимательства и наживы. Он не любит ничего, что не относится к делу, он презирает баб, считает пустяками их ссоры, ради которых «не стоит рук марать». В этой фигуре воплощается то могучее усилие, сосредоточенное на одной цели, которое позволило новым людям, людям инициативы, овладеть миром и возвести свой престол на развалинах умирающего дворянства, с его практической беспомощностью, с его романтическими преданиями, барской праздностью и неспособностью понять смысл новых зарождающихся отношений капиталистического века. Хорь и Полутыкин—это торжествующее будущее и разлагающееся прошлое.

В своем целом «Записки охотника»—правдивая эпопея усадебного и крестьянского мира, но эпопея, на которую легла печать гуманного противника рабства, но еще в большей степени меланхолическая грусть души, сроднившейся со старым, патриархальным миром отношений, с поэзией смирения, с мечтательной философией, с жутким чувством, навеваемым таинственными звуками в лесу,—словом, с тем миром, который должен был рушиться с падением крепостного права. Если в «Записках охотника» протест против насилия и гнета порою заглушает еще тоску поэта об умирающем мире, то в следующих произведениях эта тоска становится преобладающим чувством, и поэт-дворянин дости-

гает апогея своей творческой силы. Уже в «Записки охотника» была включена повесть о внутренней трагедии «лишнего человека». В 1855 году был написан первый большой роман Тургенева «Рудин», в 1858—«Дворянское гнездо».

III.

«Гамлет Щигровского уезда» и «Дневник лишнего человека».— Происхождение и миросозерцание «лишнего человека».— «Рудин».— Настроение, господствующее в этом романе, — Гегелианство Рудина. — Воспитание и история Рудина.—Праздность и кружки.—Пафос и красноречие Рудина.—Его практические попытки и бессилие.—Отношение автора к герою и роль Рудиных в жизни.—«Дворянское гнездо» как лучшее выражение тургеневских настроений. — Воспитание Лаврецкого. — Практическая деятельность Лаврецкого.— Дала ли она ему удовлетворение?

Тургенев принадлежит к числу художников-мыслителей. Он не только создавал художественные образы. Он хотел сам быть их комментатором. Он утвердил за своими главными героями имя, ярко определившее их общественное значение. «Гамлеты» и «лишние люди»,—эти названия устанавливают их главные признаки. Они—люди мысли и анализа, вопервых, они—люди, непригодные к жизни, вовторых. Еще до появления Рудина и Лаврецкого Тургенев заставил «лишнего человека» раскрыть перед нами причины и сущность своих страданий. «Гамлет Щигровского уезда»—желчный представитель мыслящего дворянства. Его история—печальная биография этих ненужных людей. Он проклинает все этапы того обычного пути, который они проходили. Он превосходно говорит пофранцузски, еще лучше понемецки. Три года он провел за границей, в одном Берлине пробыл восемь месяцев, «Гегеля изучил, Гете знал наизусть», был долго влюблен в дочь германского профессора, женился на чахоточной барышне, «лысой, но весьма замечательной личности». В такие карикатурные формы облекает озлобленный ум доморощенного Гамлета—обычный путь, который проходил идеалист 40-х годов. Несмотря на карикатурный характер рассказа, этапы этого пути ярко обрисованы «Гамлетом»: Гегель, заграница и любовь,—любовь нелепая с точки зрения рассудка, но расцвеченная богатыми узорами наивного и восторженного идеалиста,—таковы эти этапы. «Гамлет» не

щадит себя и своего поколения. Он указывает бесплодность эстетического и идеалистического направления. «Посудите сами... какую пользу мог я извлечь из энциклопедии Гегеля? Что общего, скажите, между этой энциклопедией и русской жизнью? И как прикажете применить ее к нашему быту, да не ее одну, энциклопедию, а вообще немецкую философию... Зачем же ты таскался за границу? Зачем не сидел дома да не изучал окружающей тебя жизни на месте? Ты бы и потребности ее узнал, и будущность, и насчет своего, так сказать, призвания тоже в ясность бы пришел... Я бы и рад был брать у ней уроки, у русской жизни-то, да молчит она, голубушка. Пойми меня, дескать, так; а мне это не под силу». Такова была трагедия передового дворянства 40-х годов. Не тому они учились, чему следовало учиться. Да и не могли они учиться тому, чему следовало: молчала перед ними русская жизнь, и «не под силу» им было понять ее. Не всегда так суров к греху дворянства Тургенев. Даже в озлобленных речах «Гамлета» слышится не столько бичующий голос, сколько жалость к себе и мрачный пессимизм перед неразрешимой загадкой жизни. В «Дневнике лишнего человека» этот пессимизм, это отчаяние становятся еще более безысходными, и автор не находит ответа на вопрос, почему гибнут в бесплодных порывах лучшие умы и благородные сердца. «О, боже мой, боже мой! Я вот умираю... Сердце, способное и готовое любить, скоро перестанет биться... И неужели же оно затихнет навсегда, не изведав ни разу счастья, не расширяясь ни разу под сладостным бременем радости? Увы!—это невозможно»...

И Тургенев в целой веренице поэтических образов увековечил картину страданий идеалиста 40-х годов. Рудин—самый яркий из этих образов и принадлежит к числу прекраснейших созданий Тургенева. «Ведь уж мало остается нас, брат,—говорит Рудину Лежнев в конце романа,—ведь мы с тобою последние могикане! Мы могли расходиться, даже враждовать в старые годы, когда еще много жизни оставалось впереди; но теперь, когда толпа редеет вокруг нас, когда новые поколения идут мимо нас к не нашим целям, нам надобно крепко держаться друг за друга». Этими грустными словами определяется настроение, проникающее первый большой роман Тургенева. Это поэзия осеннего очаро-

вания, последних ярких лучей солнца, озаряющих золотой дождь опадающих листьев. Весь запас пафоса, вся жажда добра и дела, все муки наследственного греха и проснувшейся совести, все бессилие и отчаяние умирающего класса, наконец, могучий порыв к высшей гармонии,—порыв, создающий титанов на высотах отвлеченной мысли и беспомощных пигмеев на низинах жизни,—все это вылилось в Рудине. Его творец—не враг своего героя. Они—свои. Они говорят одним языком и живут в общем круге понятий. Тургеневу приписывали двойственное отношение к Рудину. Но в этой двойственности скрывается глубокое единство. Он верен себе и в те моменты, когда казнит Рудина за его слабости, и в те моменты, когда рисует его искренний пафос, зажигательное действие его речей. Он казнит его, как свой своего, и скорбь родственной натуры, тоска товарища по делу чувствуется в этом бичевании. Они могли «враждовать в старые годы», но теперь, когда новые поколения идут мимо них, не к их целям, они чувствуют больше чем когда-нибудь сродство своих душ, и общая тоска по умирающей культуре, общая скорбь о взращенных веками привычках и вкусах, о ненужном, но дорогом круге понятий отодвигает на второй план те различия и ту вражду, которая отделяет их друг от друга. Много внутренней трогательной нежности вложил Тургенев в изображение Рудина. Она чувствуется и тогда, когда звучат речи Рудина, и этой нежностью затушевывается легкая ирония, с которой временами подходит к ним автор. Слезы неподдельного умиления звенят в описании ночных студенческих споров кружка Покорского, точно списанного с кружка Станкевича. И пусть жизнь насмеялась над пафосом Рудина и метафизическими увлечениями студенческих кружков,—беспочвенная жажда добра и дела, гегелианство с его гармонической картиной мира, все, чем питалась мысль идеалистов 40-х годов, оторванных от реальной жизни и живших своей грезой об абсолютном разуме и гармонии,—над всем этим не смеется Тургенев. Он не бичует этих усилий и порывов. Погребая их, он хоронит свои собственные святыни, справляет тризну по тому миру, с которым умрет самое дорогое и интимное его собственного духа. Он не попытается оживить того, в ком нет жизни, но он проводит его в могилу сочувственным

словом, расскажет миру об его предсмертных страданиях, раскроет пред нами богатый мир страстей и чувств, выросших на почве этой догорающей культуры, окинет новым взглядом и природу, и человека, и мироздание.

Рудин представляет собою самое яркое воплощение типа «лишнего человека», с которым мы уже познакомились в лице Бельтова. Его характернейшая черта—своеобразный ум,—ум, склонный к априорным построениям, усвоивший метафизические методы мышления. Начиная с Онегина и кончая Обломовым, все «лишние люди» в умственном отношении стоят целой головой выше окружающего их общества. Ум Рудина—особый, отвлеченный ум. Он—истинное дитя этой идеалистической эпохи, ее привычки искать проявления абсолютного разума в частных явлениях, ее философии без фактов. Первое столкновение Рудина с Пигасовым—ранее проявление будущего конфликта отцов и детей. «Смерть моя общие рассуждения... всякий толкует о своих убеждениях»,—говорит Пигасов. «Стало быть, повашему, убеждений нет?»—«Нет».—«Это ваше убеждение?»—«Да».—«Как же вы говорите, что их нет? Вот вам уже одно на первый случай». В этом столкновении, из которого Рудин так остроумно вышел победителем, отразился весь смысл возникающей борьбы между идеализмом и материализмом. Где путь к познанию истины? В чувственном мире, в мире явлений, или в мире сверхчувственном, в мире, который открывается нам в прирожденных идеях, в непреложных убеждениях, живущих внутри нас? Кто прав, Рудин или Пигасов: гегелианец, ищущий внутри себя ответа на вопрос о тайнах мира, или материалист Пигасов, который верит только «опыту, собственному чувству»? «Стремление к отысканию общих начал в частных явлениях есть одно из коренных свойств человеческого ума»,—таков был девиз Рудина и его эпохи. Этот строй мысли был навеян философией Гегеля и Шеллинга, и воспоминания современников говорят нам, что он создал возвышенное настроение, тот пафос, который был отличительной чертой Рудина. «С какой юношеской и благородной гордостью, — говорит биограф Станкевича, — понималась тогда часть, предоставленная человеку в этой всемирной жизни! По свойству и праву мышления, он переносил видимую природу в самого себя, разбирал ее в недрах собственного

сознания,—словом, становился ее центром, судьей и объяснителем... Чем светлее отражался в нем самом вечный дух, всеобщая идея, тем полнее понимал он ее присутствие во всех других сферах жизни». Герцен в «Былом и думах» не без иронии вспоминал об этом наивном стремлении московских гегелианцев искать в каждом явлении следов мирового разума. «Все в самом деле непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной алгебрической тенью... Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего единства с космосом; и если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народную в ее непосредственном и случайном явлении. Самая слеза, навертывавшаяся на веках, была строго отнесена к своему порядку, к «гемюту» или к «трагическому в сердце». Рудин—лучшее в литературе отражение этого идеалистического настроения. Он обладал удивительной способностью подходить к каждому явлению с точки зрения отвлеченной категории, озирать его с высот того космоса, где земные страсти и житейские драмы окрашивались в своеобразные причудливые цвета. К какому бы факту ни прикоснулся Рудин, он запутывал его метафизическими умствованиями, и если активно вмешивался в жизнь,—это вмешательство превращало простые и ясные вещи в загадочные сфинксы. Отношения и интересы, которые легко разрешились бы при помощи здравого смысла, превращаются в неразрешимые проблемы перед лицом космоса. Когда его друг Лежнев влюбился, Рудин сделал из этого обыкновенного события факт мирового значения. «Он пришел в восторг неописанный, — рассказывает Лежнев,—поздравил, обнял меня и тотчас же пустился вразумлять меня, толковать мне всю важность моего нового положения». В конце концов Рудин разбил счастье своего приятеля. «Вследствие своей проклятой привычки каждое движение жизни, и своей и чужой, пришпиливать словом, как бабочку булавкой, он пустился обоим нам объяснять нас самих, наши отношения, как мы должны вести себя, деспотически заставлял отдавать себе отчет в наших чувствах

и мыслях, хвалил нас, порицал, вступил даже в переписку с нами, вообразите! Сбил нас с толку совершенно!»

Мы видели выше, какие общественные условия породили тип гегелианца в русской общественной жизни. Без Рудина мы не имели бы живой фигуры, конкретного образа, увековечившего целую полосу нашей общественности. Те черты, которые в разрозненном виде сохранились в исторических документах эпохи, облечены здесь в плоть и кровь. И не только наивный идеалист эпохи воскресает пред нами из дали прошлого, воскресает и обстановка, в которой складывались и развивались подобные натуры.

История Рудина—это история самого Герцена, Тургенева, их героев—Бельтова, Лаврецкого и сотен других представителей пробудившегося дворянства. Различны частности, но неизменен общий фон картины. Одни из них были богаты, другие бедны, у одних были просвещенные, у других невежественные родители. Но ход развития одинаков во всех случаях. Усадебная обстановка и дворянская праздность в детстве; университет, Гегель и заграница в юности; муки мысли, благородные пламенные искания потом; практическая непригодность к жизни, бессилие и разочарование в итоге. Рудин был сын бедных помещиков. Но мать заменила ему средства: «толокном одним питалась, и все, какие были у ней денежки, употребила на него». Рудин был беден, но заботы матери привели к тому, что к нему вполне были применимы слова Некрасова: «Благо, наследье богатых отцов освободило от малых трудов». После детства в уютной обстановке усадебного барства под крылом матери—университет. И здесь забота о насущном хлебе неведома Рудину. Сначала дядя, потом какой-то князь. Бедные ростевники, приживалы и прихлебатели, этот старый мир, в котором сливаются искреннее простодушие и наивное попрание человеческого достоинства, оживает перед нами в брошенных вскользь словах Лежнева. Барские вкусы, привычку к праздности, близко соприкасавшейся с тунеядством, усваивали себе не только владельцы огромных поместий, но и их бедные родственники и штаты приживалов и приживалок. Университет!.. Московский университет 30-х и 40-х годов! При одном воспоминании о нем воскресает образ Станкевича, студенческие кружки, горячие споры и

пламенное стремление к истине, воскресает вся эта атмосфера наивного идеализма, общественное движение, еще не дифференцировавшееся, скорее предвестие настоящего общественного движения. «Как вспомню я наши сходки,—рассказывает Лежнев,—ну, ей богу же, много в них было хорошего, даже трогательного. Вы представьте: сошлись человек пять-шесть мальчишек, одна сальная свеча горит, чай подается прескверный и сухари к нему старые-престарые; а посмотрели бы вы на все наши лица, послушали бы речи наши! В глазах у каждого восторг, и щеки пылают, и сердце бьется, и говорим мы о боге, о правде, о будущности человечества, о поэзии,—говорим иногда вздор, восхищаемся пустяками; но что за беда!.. Покорский сидит, поджав ноги, подпирает бледную щеку рукой; а глаза его так и светятся. Рудин стоит посредине комнаты и говорит, говорит прекрасно, ни дать, ни взять—молодой Демосфен перед шумящим морем; взъерошенный поэт Субботин издает по временам и как бы во сне отрывистые восклицания: сорокалетний бурш, сын немецкого пастора Шеллер, прослывший между нами за глубочайшего мыслителя, по милости своего вечного, ничем не разрушимого молчания, как-то особенно торжественно безмолствует; сам веселый Щитов, Аристофан наших сходок, утихает и только ухмыляется; два-три новичка слушают с торжественным наслаждением... А ночь летит тихо и плавно, как на крыльях. Вот уже и утро сереет, и мы расходимся, тронутые, веселые, честные, трезвые (вина у нас и в помине тогда не было), с какой-то приятной усталостью на душе... и даже на звезды как-то доверчиво глядишь, словно они и ближе стали, и понятнее... Эх! славное было тогда время, и не хочу я верить, чтобы оно пропало даром!»

Рудин прошел обе стадии, обычные в истории развития мыслящего дворянина той эпохи: детство, приучившее его к праздности, не давшее ему основ для практической деятельности, и юность, развившую в нем бесплодный пафос и отвлеченный энтузиазм. Его жизнь соответствовала этой подготовке. Рассмотрим те черты, которые раскрывались в этом «лишнем человеке» при столкновении с действительностью.

Рудин—вдохновенный оратор. Из его речи трудно из-

влечь практические выводы. Он держится больше общих рассуждений. Но внутренне он сливается с тем космосом, с тем мировым абсолютным разумом, присутствие которого всегда чувствовала душа восторженного гегелианца; и потому речь Рудина, несмотря на ее приподнятый тон, дышала искренностью, заражала его пафосом окружающих и особенно сильно действовала на молодежь. Он говорил мастерски, увлекательно, не совсем ясно... но самая эта неясность придавала особую прелесть его речам. Обилие мыслей мешало Рудину выражаться определительно и точно. Образы сменялись образами; сравнения, то неожиданно смелые, то поразительно верные, возникали за сравнениями. Не самодовольной изысканностью опытного говоруна,—вдохновением дышала его нетерпеливая импровизация. Он не искал слов; они сами послушно и свободно приходили к нему на уста, и каждое слово, казалось, так и лилось прямо из души, пылало всем жаром убеждения. Рудин владел едва ли не высшей тайной—музыкой красноречия. Он умел, ударяя по одним струнам сердец, заставлять смутно звенеть и дрожать все другие. Иной слушатель и не понимал в точности, о чем шла речь; но грудь его высоко поднималась; какие-то завесы разверзались перед его глазами, что-то лучезарное загоралось впереди. Рудин говорил о том, что придает вечное значение временной жизни человека. Вечное во временном, раскрытие абсолютной идеи в преходящих явлениях жизни, обнаружение мировой гармонии в повседневных фактах,—эти искания русских гегелианцев давали им тот пафос красноречия, которым владел Рудин. Его речи, так же, как и все его существо, были предчувствием будущего, симптомом пробуждения мысли, уже родившейся, уже зовущей к правде.

В жизни Рудин беспомощен и несостоятелен. Он кончает полным банкротством, и его рассказ в эпилоге—печальная повесть идеалиста, не нашедшего применения своим богатым силам. Он пытался действовать, приносить пользу, влиять на ход жизни, но эти попытки остались безрезультатными. Он встретил богатого чудака, бездарного, но одержимого неутомимым рвением к науке. Рудин увлекся планами широких практических затей, которые можно было осуществить на средства богатого приятеля. Он накупил агрономических книг, хотя и не прочел их, затеял ряд

усовершенствований и нововведений. Друг дорожил его каждой мыслью, принимал все его предложения, хотя и смотрел на него с тайным недоверием. Два года Рудин почти бесконтрольно распоряжался средствами, два года он пользовался редко встречающимися в жизни благоприятными условиями для применения своих сил. И он не создал ничего. Дело шло плохо. Начались ссоры с богатым приятелем. Гегель оказался бесполезным для сельского хозяина, а к практической деятельности Рудин не готовился. И как знать, почему постигла Рудина неудача. Автор ничего не говорит об ее причинах. Он не упоминает о том, что крепостное хозяйство сотрясалось в своих основах, и не в деревне нужно было искать себе дела лучшим силам страны, не в заплатах на ветхом платье старого дворянского общества. Не по тем же ли причинам скучал всю жизнь предшественник Рудина Онегин, который тоже пробовал реформировать сельское хозяйство?

Чтоб только время проводить,
Сперва задумал наш Евгений
Порядок новый учредить.

Гениальнный поэт в бессмертной строфе увековечил трагедию реформаторских стремлений просвещенного и скучающего дворянства. От скуки заменяли они легким оброком «ярем барщины старинной», врезываясь клином в сложившиеся формы хозяйственных отношений, не создавая ничего для крушения этих форм и приобретая репутацию «опаснейших чудаков» в глазах соседей. По этим же причинам Лаврецкий, подводя итоги своему прошлому, с грустью признал бесполезной свою жизнь, хотя сознательно работал над улучшением быта своих крестьян.

Но Рудин пытался применить свои силы не только в деревне. Он столкнулся и с той сферой, куда устремлялось в это время внимание Штольцев и Соломиных, где инициативе, уму и изобретательности был открыт широкий простор. Он захотел быть предпринимателем, войти в ту новую, только еще нарождавшуюся группу крупной буржуазии, которая не состояла из чистых хищников, а представляла собой людей мыслящих, органически связывающих идею общего блага с мыслью о развитии буржуазии. Рудин со-

шелся с неким Курбеевым. Это был, по его словам, человек удивительно ученый, «творческая голова в деле промышленности и предприятий торговых». У них возник ряд смелых проектов и, между прочим, идея превратить одну реку в судоходную. Умный Лежнев одним вопросом определяет причину неудачи: «Этот Курбеев был капиталист?» Идеалисты и гегелианцы не понимали роли капитала в промышленной жизни. Рудин начал дело без денег, он думал действовать одним убеждением, он верил, что его затея есть «общеполезное дело», — обычная ошибка людей отживающего класса, не умеющих разобраться в новых формах жизни. Столь же печальное фиаско потерпела третья попытка Рудина. Он обладал знаниями, владел речью и способностями, он стал преподавателем гимназии. Свою первую лекцию он прочел точно в лихорадке: вниманием, участием и изумлением светились лица его юных слушателей. Но дальше—та же неспособность к медленному, кропотливому труду, к «малым делам». Ученики плохо понимали вдохновенного оратора, в речи которого было мало фактов и много горячего увлечения. Товарищи не взлюбили странного педагога, который хотел «коренных преобразований». Учитель математики сбил его на каком-то памятнике XV века. Словом, произошел обычный конфликт между тем, кто «дела себе исполинского ищет», и теми, кто принужден так или иначе влачить существование среди «малых трудов». Рудин оказался непригодным ни к какому делу. В жизни ему оставалось только влачить праздное существование. Он был барином по натуре, несмотря на свою бедность.

Мы видели, что представляет собою Рудин как мыслитель и член общества. Но, быть может, ни в чем специфические особенности его натуры не проявились так резко, как в его отношении к своему личному счастью. У него была девушка, которая его любила, девушка необыкновенная, и пред ней он оказался тем же бессильным трусом, тем же беспомощным мечтателем, каким был в жизни. Даже для того, чтобы осуществить свое право на личное счастье, не хватало сил у этого человека. Наталья с захватывающим интересом слушала его вдохновенные речи. Она полюбила его потому, что для нее слово и дело было одно, и она не сомневалась, что за этими горячими речами скрываются сильная воля и

способность к делу. В первый раз она смутилась и задумалась, когда он сказал ей, что ему пора отдохнуть. «Вам пора отдыхать... Отдыхать могут другие, а вы... вы должны трудиться, стать полезным. Кому же, как не вам»... Она была потрясена, она поняла, кто был перед ней, когда на ее вопрос «что делать?» после отказа со стороны матери он ответил: «Покориться». Да и что мог ответить Рудин? Что делал он всю свою жизнь, как не покорялся обстоятельствам. Он мог говорить пламенные речи о любви, пока от него требовались только речи. Но он оказался малодушным, жалким трусом, когда и личное счастье потребовало от него дела. «Так вот как вы применяете на деле ваши толкования о свободе, о жертвах». Наталья дает жестокий урок Рудину: «Вы так часто говорили о самопожертвовании, но знаете ли, если бы вы сказали мне сегодня, сейчас: «Я тебя люблю, но я жениться не могу, я не отвечаю за будущее, дай мне руку и ступай за мной», знаете ли, что я бы пошла за вами, знаете ли, что я на все решилась».

Нам остается сказать еще несколько слов о роли Рудина в жизни. У Рудина много достоинств. Он бережет свою свободу, он не уживается там, где приходится вступать в компромисс. Но его беспомощность и непригодность к жизни лишают его независимости, заставляют итти на компромиссы иного рода, мелкие и постыдные. Он живет на чужой счет и не замечает, что нередко попадает в положение приживала. Его самолюбие, его желание всегда облекаться в наряд необыкновенного человека заставляют его искать убежища в позе и в искусственном пафосе. Рудин всегда позирует—и тогда, когда ни с того, ни с сего приехал к Волынцеву со своим непрошенным доверием и уважением, и тогда, когда пишет свое прощальное письмо Наталье, и тогда, когда приходит проститься с Дарьей Михайловной. И в самой рисовке, в самой позе Рудина много искренности. Есть люди, для которых поза является их естественным состоянием, слово—их единственным делом. Таков Рудин. Оставляют ли след по себе подобные люди? Ответом может служить восторженное поклонение юного Басистова: «Клянусь, этот человек не только умел потрясти тебя, он с места тебя сдвигал, он не давал тебе останавливаться, он до основания переворачивал, зажигал тебя!» Много споров возбудил

вопрос об отношении самого Тургенева к своему герою. Автор строже судит его в первой половине романа и мягче—во второй. Раздражение Лежнева против Рудина в конце концов превращается в восторженный панегирик ему. Но эта двойственность только кажущаяся. Она—правдивое выражение мятущегося ума, страстно ищущего выхода из противоречий той эпохи. И не было противоречия в том, что чувство раздражения и негодования против героя смешилось в душе Тургенева с чувством нежной жалости к нему и преклонения перед его привлекательным, хотя и бесплодным энтузиазмом.

Имя Рудина стало нарицательным именем, символом ума, который в отчаянии видит, что перерезан таинственный нерв, отделяющей его от воли. Мы теперь не могли бы согласиться с этим выводом о нем: «Он не сделает сам ничего именно потому, что в нем натуры, крови нет; но кто вправе сказать, что он не принесет и не принес уже пользы; что его слова не заронили много добрых семян в молодые души, которым природа не отказала, как ему, в силе деятельности, в уменьи исполнять собственные замыслы?»

В «Рудине» Тургенев изобразил внутренний мир «лишнего человека». В «Дворянском гнезде» он увековечил обстановку, в которой подготовлялась и развертывалась его психологическая трагедия. Тусклыми красками осени окрашена эта повесть. Мы в мире мягких проселочных дорог, своенравных старушек, рук которых никогда не покидают проворно бегающие спицы, в мире «Символов и эмблем» Максимовича-Амбодика с изображениями вроде «купидона и медведя, лижущего своего медвежонка», в мире религиозных и любящих нянь, сказки которых с трепетом слушает на ночь барчонок. Сюда не доносился шум города, первый говор машин, первые радостные крики рождающегося общества. И странными кажутся здесь оторвавшиеся от старого гнезда блудные дети, когда они возвращаются на родину, обожженные огнем страстей, чуждых этим мирным полям, потрясенные идеями, непонятными в этих приютах традиции и веры. Им никогда уже не слиться гармонически с этой усадебной атмосферой, но им никогда не уйти от ее могучей власти. Всегда одинокими будут блуждать они по океану жизни, и здесь и в столице, не пристав ни к одной пристани,

повсюду принося свою тоску. Приложившись головой к подушке и скрестив руки на груди, Лаврецкий глядел на пробегавшие веером загоны полей, на медленно мелькавшие ракиты, на глупых ворон и грачей, с тупой подозрительностью взиравших боком на проезжавший экипаж, на длинные межи, заросшие чернобыльником, полынью и полевой рябиной; он глядел... и эта свежая, степная, тучная голь и глушь, эта зелень, эти длинные холмы, овраги с приземистыми дубовыми кустами, серые деревеньки, жидкие березы,—вся эта, давно им невиданная русская картина навела на его душу сладкие и в то же время почти скорбные чувства, давила грудь его каким-то приятным давлением. Образы прошедшего не спеша поднимались, всплывали в его душе, мешаясь и путаясь с другими представлениями. Лаврецкий, бог знает почему, стал думать о Роберте Пиле... о французской истории... о том, как бы он выиграл сражение, если бы был генералом. Ему чудились выстрелы и крики.

Это настроение царит в романе. Выстрелы и крики сливаются в причудливую амальгаму с воспоминаниями детства. Образы Роберта Пиля и французской истории врываются в мирный простор беспредельных полей. Шум мировой жизни, разъяренный рев волнующегося человеческого моря впервые достигли до слуха сонных обитателей «дворянских гнезд» и смутили их покой, смутили бесплодно. Лаврецкие и Рудины принесли с собою знание, пробудившуюся мысль и совесть передового дворянства. Но они натолкнулись на вековые традиции, на глубоко укоренившиеся формы крепостного быта. Они ничего не могли сделать для его потрясения, потому что их сердца сочувственным криком отзывались на каждый удар колокола сельской церкви, звавший к заутрене, на шопот листьев в старом саду. «Сладкие и в то же время скорбные» чувства навевала на душу эта картина, «давила его грудь каким-то приятным давлением». Не этим людям предстояло разрушить мир отношений, который был их родным миром. То, что они принесли с собою из другого мира, только нарушило гармонию в их собственной душе, поселило в ней разлад, но не дало им победы над прошлым. История Лаврецкого вскрывает пред нами новую сторону общей картины. Лаврецкий и Рудин—типы одного порядка. Хотя в их общественном положении, во внешних

событиях их жизни много несходного, но строй мыслей того и другого обусловлен традициями и настроениями усадебного барства.

Воспитание Лаврецкого подготовило его к тому, чтобы он всю жизнь провел в разладе с самим собою. Его колыбель окружала атмосфера мрачных ужасов и патриархальных идиллий крепостничества. Его прадед был человек «бешеного нрава, безумной щедрости и алчности неутолимой». Он был богат. Предания об его самоуправстве и жестокостях долго сохранялись в его поместье. Дед Лаврецкого был хлебосол и самодур. Как тараканы, сползались знакомые и незнакомые люди в его обширные теплые и неопрятные хоромы, «все это наедалось, чем попало, но досыта, напивалось допьяна и тащило вон, что могло, прославляя и величая ласкового хозяина; и хозяин, когда был не в духе, тоже величал своих гостей дармоедами и прохвостами, а без них скучал». Таковы типы предков—эти яркие этапы процесса разорения дворянства. Отец Лаврецкого Иван воспитывался у богатой тетки под руководством целого штата учителей и француза-гувернера, и когда явился в деревню к отцу, то сразу возбудил его неудовольствие своими столичными привычками и костюмами и своими «вольтерьянскими» идеями. Лаврецкий был плодом его связи с крепостной девушкой Малашей, на которой Иван Лаврецкий женился на-зло взбешенному отцу. Ставши по смерти отца владельцем имения, Иван Лаврецкий вернулся из-за границы англоманом. Но его англоманство выразилось не в переустройстве имения, где все, кроме нескольких внешних перемен, осталось постарому, а в системе воспитания, которую он применил к сыну. Он решил сделать из него «спартанца». Он одел сына пошотландски, двенадцатилетний мальчик стал ходить с обнаженными икрами и с петушьим пером на складном картузе; воспитателем его стал молодой швейцарец, изучивший гимнастику до совершенства; музыку, как занятие, недостойное мужчины, изгнали навсегда; естественные науки, международное право, математика, столярное ремесло, по совету Жан-Жака Руссо, и геральдика для поддерживания рыцарских чувств,— вот чем должен был заниматься будущий «человек»; его будили в четыре часа, тотчас же окачивали холодной водой и заставляли бегать вокруг столба на веревке. Отец счел дол-

том поселить в нем с ранних лет презрение к женщине. Нелепое воспитание исказило натуру Лаврецкого, и он вступил в жизнь совершенно не подготовленный к ней. Если барская усадьба вообще давала мало материала для понимания жизни, то Лаврецкий, благодаря воспитанию, вдвойне оказывался «умной ненужностью» в России. С людьми он не умел сходиться, женщинам не смел взглянуть в глаза. Далее, университет... Фигура Михалевича, энтузиаста и стихотворца, имевшего влияние на Лаврецкого,—лучшее свидетельство того, что и Лаврецкого коснулось то дыхание идеализма, та атмосфера споров и отвлеченных словопрений, которыми дышали тогдашние студенческие кружки.

Лаврецкий оказался в жизни тем же «лишним человеком», что и Рудин. Его личная жизнь была разбита с первых же шагов. Он не знал женщин и принял за божество недостойную женщину. Варвара Павловна насмеялась над его любовью, и он ушел от своей жены. Его жажда дела, его стремление разобраться в окружающей жизни и выполнить свой долг перед обществом принесли ему не больше удовлетворения, чем Рудину его попытки к практической деятельности. Правда, вернувшись в деревню, он как будто имеет в виду определенную программу действий. Когда Паншин его спрашивает, что он намерен делать, Лаврецкий отвечает: «Пахать землю и стараться как можно лучше ее пахать». Мало того, он развивает эту программу, приближаясь к славянофильским идеям. Он доказал Паншину «невозможность скачков и надменных переделок, не оправданных ни знанием родной земли, ни действительной верой в идеал, хотя бы отрицательной, привел в пример свое собственное воспитание, требовал прежде всего признания народной правды и смирения перед нею,—того смирения, без которого и смелость против лжи невозможна, не отклонялся, наконец, от заслуженного, по его мнению, упрека в легкомысленной растрате времени и сил». В этой кратко формулированной программе много неопределенного. Из нее с непреложной ясностью вытекает лишь одно—что Лаврецкий не представлял себе дела вне своей усадьбы. Ни одного слова о крепостном праве как первоисточнике всех зол, ни одного намека на знаменитые слова Тургенева: «В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был кре-

постное право». Тургенев не изображает нам своего героя с точки зрения того социального конфликта, который принял такую острую форму. Мы почти не видим Лаврецкого в роли помещика. Мы не знаем, как он осуществлял свою программу. Тоскующий дворянин обрисован перед нами с той стороны, с которой мы видим, что он умеет любить и глубоко чувствовать, умеет тонко понимать искусство. Только вскользь упоминает автор о попытках Лаврецкого «порядок новый учредить». Но зато он сливается в одно целое со своим героем, сочувственный отклик родственной романтической натуры звучит в его душе, когда он уносит своего героя в царство любовного упоения или в мир грез. И чудится, будто романтическое томление было истинной стихией и Лаврецкого и его творца, общественный пыл их растворялся в этой стихии, и роман превращается в печальный гимн умирающей культуре, в погребальную песню, в которой звенят слезы тоски о старом мире, в котором очарованное око уже не видит истязуемых рабов, а усматривает одни только счастливые идиллии, и до человеческого слуха доносятся не стоны крестьянства, а певучий поток торжествующих звуков великого непонятого Лемма. Тургеневу, гуманному врагу крепостного права, пришлось сыграть особую роль в борьбе с этим страшным врагом. Ему предстояло оплакать умирающее царство, он посвоему сдержал свою «аннибалову клятву», в процессе начинавшегося освобождения он с особенной любовью прислушивался к звону тех душевных струн, которые звучали в его собственной душе. Торжественно лилась музыка Лемма. «Сладкая, страстная мелодия с первого звука охватывала сердце; она вся сияла, вся томилась вдохновением, счастьем, красотою; она росла и таяла; она касалась всего, что есть на земле дорогого, тайного, святого, она дышала бессмертной грустью и уходила умирать в небеса». Эта мелодия, «уходившая умирать в небеса»,—символ «дворянского гнезда», символ идеалистического воодушевления 40-х годов, предчувствие новой жизни и похоронная песнь старой. И недаром Лаврецкий слушал похолоделый и бледный от восторга, недаром «эти звуки так и впивались в его душу, только что потрясенную счастьем любви». Вот в чем состояла истинная стихия этих людей. Правда, в эпилоге еще в двух-трех словах упоминается о деятельности Ла-

врецкого в деревне. Он «имел право быть довольным: он сделался действительно хорошим хозяином, действительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя, он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт своих крестьян». Но такая деятельность не могла удовлетворить мыслящий ум просвещенного человека. Даже лучший хозяин в крепостном хозяйстве едва ли мог найти удовлетворение. «Мы,—говорит Лаврецкий, обращаясь к молодому поколению,—хлопотали о том, как бы уцелеть,—и сколько из нас не уцелело!—а вам надобно дело делать, работать»,—значит, не считал свое дело Лаврецкий настоящим делом. Иначе не сказал бы он в заключение своей жизни: «Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!» Не считал его дела настоящим делом и его автор. Иначе не сказал бы Тургенев о нем: «Что сказать о людях, еще живых, но ушедших с земного поприща». Рудин погиб на баррикаде без цели в чужой стране и в чужой борьбе, и эта случайная смерть избавила его от необходимости влачить бесплодное существование. Лаврецкий дожил до старости, но для жизни и дела он умер так же рано, как и Рудин.

IV.

Тургенев и Виардо. — Разрыв с русским обществом. — Примирение с обществом и последние годы жизни. — Общее настроение, которым проникнут роман «Накануне».—Инсаров среди русских интеллигентов.—Характеристика Инсарова.—Заглавие романа.—Происхождение «Отцов и детей».—Отношение Тургенева и критики к Базарову. — «Отцы»: Павел Петрович Кирсанов.—Миросозерцание Базарова и характер его.—Последователен ли он?—Общее настроение, царящее в «Отцах и детях».

Когда в «Современнике» появился «Хорь и Калиныч», Тургенев уже находился за границей. В 1850 году он вернулся в Россию, получив известие о смерти матери. Именно в это время он занимался устройством своих крестьян, и в этот период времени его постигла та «неприятность», которая входит в качестве обычного факта в биографический формуляр почти каждого русского писателя. После появления «Записок охотника» на Тургенева стали смотреть косо. Его пребывание за границей и близкие отношения к лицам, не пользовавшимся репутацией благонадежных людей,—все это

навлекло на Тургенева неудовольствие властей, и ничтожного предлога было достаточно для его ареста, последовавшего в 1852 году. Тургенев был сослан в свое село Спасское без права выезда. Добившись, наконец, свободы, он уехал в 1855 году за границу. С этого времени его жизнь тесно связана с семейством знаменитой в свое время артистки Виардо-Гарсиа, с которой Тургенев познакомился еще в средине сороковых годов, и с которой его разлучила на время ссылка. История отношений Тургенева к этой семье еще и в настоящее время не выяснена вполне. До смерти матери, когда Тургенев страшно бедствовал, почти лишившись поддержки деспотической старухи, недовольной его литературными занятиями, он нашел в семье Виардо гостеприимство. Он находился у них во Франции в этот тяжелый период своей жизни, и, возможно, гостеприимству этой семьи он обязан тем, что мог приняться за работу. «Здесь,—говорил он Фету,—не имея средств жить в Париже, я провел всю зиму в полном одиночестве, питаясь бульоном из курицы и яичницей, которые мне готовила старая служанка. Здесь, чтобы заработать себе денег, я написал большую часть «Записок охотника».

Трудно в настоящее время установить определенно характер отношений Тургенева к этой семье, с которой он ездил из города в город, но большинство биографов сходится на том, что у супругов Виардо Тургенев искал того, чего ему недоставало на родине. Их сорокалетняя дружба до конца жизни нашего писателя сохранила характер артистической и интеллектуальной симпатии. Тургенев был одиноким с детства в доме матери, он не раз подвергался впоследствии жестоким нападкам со стороны печати и молодежи, не раз заявлял о том, что мрачная действительность, которую он видел перед собою в России, отталкивая его от себя, делала его чуждым этой действительности, одиноким. Он был горячим западником, и в Европе он нашел ту развитую художественную, литературную и научную жизнь, которой он не находил у себя на родине. В семье Виардо, жившей в атмосфере артистических и умственных интересов, Тургенев мог найти надлежащую оценку своей тонкой и изящной натуре и вкусам,—оценку, которой он часто не находил у себя на родине. Повидимому, главной основой его

привязанности к семье Виардо было то, что в лице ее он встретил понимающих его людей, близких ему по своим вкусам и кругу его интересов. Об этом свидетельствуют его письма к супругам Виардо. Здесь и рассуждения об артистических успехах г-жи Виардо, тонкие замечания и советы относительно ее игры, сообщения о новых прочитанных книгах, ответы на высказанные в ее письмах замечания о Мендельсоне, о музыке и литературе, здесь детальные отчеты о мыслях и настроениях, навеянных той или другой книгой, сообщения о посланных к Виардо книгах, о политических событиях и т. д. Та нежность, которой проникнуты письма, написанные Тургеневым в тяжелые минуты его жизни, свидетельствуют о том, что у Виардо он встречал или всегда надеялся встретить сочувственный отклик и участие. Им он сообщает о своем аресте и в письме от 1 мая 1852 года просит хранить «все это» втайне, так как малейшей заметки в газете «будет достаточно, чтобы окончательно погубить» его. Приэтом он прибавляет следующие характерные строки: «Ваши письма и воспоминания о прошедших днях, о Куртавенеле,—в них все мое богатство. Я долго не останавливаюсь на этом из боязни расчувствоваться. Вы хорошо знаете, что мое сердце всегда с вами, и сказать это я могу, особенно теперь... Моя жизнь кончена, в ней нет больше очарования; я съел весь свой белый хлеб: будем жевать оставшийся пеклеванный».

Несмотря на подобные признания, пестрящие в письмах Тургенева к Виардо, остается под сомнением, нашел ли он в этой семье вполне тот отклик, которого искал. Его тоска и чувство одиночества не рассеялись до конца жизни. Так, в письме к Я. П. Полонскому от 7 апреля 1877 года он пишет, что одно стихотворение Полонского привело его в глубокое уныние. «А чтобы ты понял, почему,—прибавляет дальше Тургенев,—я выписываю несколько строк из своего дневника: «Полночь. Сижу я опять за своим столом... а у меня в душе темнее темной ночи... Могила словно торопится проглотить меня; как миг какой, пролетает день, пустой, бесцельный, бесцветный. Смотришь: опять вались в постель. Ни права жить, ни охоты нет, делать больше нечего, нечего ожидать, нечего даже желать». Дальше Тургенев даже не хочет выписывать,—«очень уж уныло»,—и называет себя и

Полонского «двумя черепками разбитого сосуда». Мы не знаем фактов, но несомненно, что повременам, по крайней мере, Тургенев чувствовал себя очень тяжело у своих друзей...

«Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне» (1860) доставили Тургеневу громкую славу, и появление каждого из этих романов было выдающимся литературным событием. Но появление в 1862 году «Отцов и детей» вызвало целую бурю и ожесточенные нападки на Тургенева. Были недовольны и «отцы» и «дети». Старое поколение обвиняло самого Тургенева в нигилизме, в том, что он создал чуть ли не сатиру на это поколение и солидарен с Базаровым. Молодежь, напротив того, усматривала в типе Базарова карикатуру на молодое поколение и называла Тургенева отступником, который изменил делу свободы. Герцен резко порицал этот роман, и между ним и Тургеневым возникают враждебные отношения. Разрыв Тургенева с «Современником», имевший место незадолго до этого, и нападки на него, последовавшие затем в этом журнале,—все это сильно повлияло на настроение Тургенева. Еще недавно кумир молодежи, писатель с огромным общественным влиянием, он почувствовал, что между ним и русским обществом легла глубокая пропасть. Его пессимизм усилился. Одиноким и ненужным почувствовал себя писатель, и свое настроение он излил в поэтическом отрывке «Довольно». «Полно метаться, полно тянуться, сжаться пора: пора взять голову в обе руки и велеть сердцу молчать. Полно нежиться сладкой негой неопределенных, но пленительных ощущений, полно бежать за каждым новым образом красоты, полно ловить каждое трепетание ее тонких и сильных крыл. Все изведано—все перечувствовано много раз... устал я. Что мне в том, что в это мгновенье заря все шире, все ярче разливается по небу, словно распаленная какою-то всепобедною страстью? Что в том, что в двух шагах от меня, среди тишины и неги и блеска вечера, в росистой глубине неподвижного куста, соловей вдруг сказался такими волшебными звуками, точно до него на свете не водилось соловьев, и он первый запел первую песнь о первой любви? Все это было, было, повторялось, повторяется тысячу раз—и как вспомнишь, что все это будет продолжаться так целую вечность—словно по

указу, по закону--даже досадно станет!» Все потускнело вокруг, вся жизнь поблекла, и Тургенев чувствовал, что состарился, что не быть ему больше тем, каким он был «в счастливые дни, когда он сам разгорался, как заря, и пел, как соловей».

В середине 60-х годов Тургенев переселяется в Баден, где он прожил по соседству с Виардо в выстроенном им доме до 1870 года. Здесь Тургенев мог видеть многочисленных съезжавшихся сюда представителей русского общества, и эти наблюдения дали ему материал для следующего его крупного романа «Дым», который был напечатан в 1867 году. Роман этот тоже вызвал оживленные толки в обществе и немало нападок на автора. После 1870 года Тургенев жил в Париже. Из-за границы он продолжал следить за русской жизнью, чутко откликаясь на все новые течения в русском обществе. В 70-х годах стала развиваться социалистическая пропаганда. Молодежь толпами уходила в деревни пропагандировать революционные идеи, и Тургенев, внимательно изучавший это движение, печатает в 1877 году последнее из своих больших произведений, роман «Новь». Роман, в котором движение изображалось в виде затеи незрелой молодежи, не мог восстановить симпатий молодого поколения к знаменитому автору. Между тем слава его в Европе росла. Оксфордский университет поднес ему почетный диплом доктора обычного права, в литературном мире Франции Тургенев пользовался всеобщим признанием.

В феврале 1879 года Тургенев прибыл в Россию, и в этот приезд кончилась распря между ним и русским обществом. Он знал, что его популярность упала, и даже не хотели итти в заседание Общества любителей российской словесности, опасаясь какой-нибудь враждебной выходки. Но произошло нечто совершенно неожиданное. Когда крупная фигура Тургенева с характерной седой головой появилась в зале, раздался гром рукоплесканий, один из студентов обратился к писателю с импровизированной речью, а председатель Общества тут же провозгласил автора «Записок охотника» почетным членом Общества, что вызвало новую бурю оваций. «Восстановилась,—замечает в своих «Воспоминаниях» Н. Я. Стечкин,—его популярность, поруганная неизвестно почему после «Отцов и детей». Тургенев сделал-

ся теперь предметом беспрерывных оваций в Москве и Петербурге. Реакционная печать обрушилась на романиста, но те овации, предметом которых был Тургенев в 1880 году, в знаменитые «пушкинские дни», во время открытия памятника Пушкину в Москве, доказали, что мир между писателем и обществом был теперь прочен. Московский университет избрал его своим почетным членом, а публика проявлением своих восторгов заставила забыть даже 1879 год. 22 августа 1883 года не стало автора «Рудина». Он умер за границей и его смерть дала повод к грандиозной сочувственной манифестации всего образованного мира. Европейская и американская печать посвятила Тургеневу восторженные некрологи. Многочисленная публика, представители науки, искусства и литературы прощались с его телом на вокзале в Париже. В Петербурге похоронная процессия растянулась на несколько верст, сотни венков и депутаций следовали за гробом. Толпы народа покрывали не только улицы, но балконы, заборы, даже крыши домов на прилегающих улицах.

В «Рудине» и «Дворянском гнезде» Тургенев выразил тоску «лишнего человека», пропел отходную умирающей усадебной культуре. Возбуждение и жажда дела, овладевшие русским обществом с воцарением Александра II, дали толчок к повороту в творчестве Тургенева. «Накануне» был первым крупным романом, в котором Тургенев выступает с новой задачей: он стремится отыскать «настоящего человека»—человека дела, активную личность. Тургенев чувствовал, что нарождаются новые силы, которые придут на смену Рудиным и Лаврецким, что в обществе уже зреет тот тип, в котором нуждается Россия, человек воли, тип больше действующей, чем мыслящей и анализирующей личности. Гамлеты думают, но не действуют, Дон-Кихоты действуют, не раздумывая, очертя голову бросаются в опасность, не охлаждая своего пыла анализом. Тургенев в своей статье «Гамлет и Дон-Кихот» развил эту мысль о действующих и анализирующих натурах. Он отдал предпочтение Дон-Кихоту перед Гамлетом. Его Рудины и Лаврецкие—натуры гамлетовские. Его Инсаров—воплощение той активной силы, которую видел Тургенев в Дон-Кихоте. «Накануне»—это радостный крик предчувствия, нетерпеливое стремление художника найти конкретный образ, которого еще не было в рус-

ской действительности и которого она ждала, требовала. Это было накануне реформ. Казалось, что теперь дело только за людьми, за сильными личностями, которые сумеют раствориться в общенародном деле, получить могучие силы и железную волю в служении ясному народному делу. Этот порыв, это нетерпеливое сознание потребности в сильных людях воплотил Тургенев в своем романе.

В чем заключается обаяние Инсарова? Что дает ему могучая власть над окружающими и покоряет ему сердце такой девушки, как Елена? В Инсарове нет ничего необыкновенного, и в то же время он окружен в романе особым ореолом, все относятся к нему, как к существу необыкновенному. Его обаяние заключается только в той задаче, которой он служит. Его обаяние—только в ясном сознании цели, которое дает ему железную волю и непреодолимую силу. В нем есть то, чего недоставало русским людям и чего они так пламенно искали. Он знает, что нужно делать для своей родины. Его сердце бьется в унисон с сердцем его народа. Великое счастье для мыслящего человека, если он сознает, что не беспочвенно работает его мысль, что его идеи вырастают из глубины народного сердца. Этого счастья не знала русская интеллигенция, состоявшая в своем большинстве из мыслящего барства, метавшаяся в своем бесплодном стремлении послужить народному делу. Сколько образованных русских людей той эпохи пожертвовали бы многим, чтобы иметь право сказать те слова, которые с ясной и открытой совестью произносит Инсаров. «Заметьте: последний мужик, последний нищий в Болгарии и я,—мы желаем одного и того же. У всех у нас одна цель. Поймите, какую это дает уверенность и крепость». Русская интеллигенция жаждала этой «уверенности и крепости», которой владел Инсаров и которой не было у нее, она искала этой твердой почвы, которая была у него, она чувствовала, что только тогда, когда она так же сольется в нераздельное целое с народом, у нас появятся свои Инсаровы. Спустя десятилетие она бросится к народу, начнется знаменитое «хождение в народ». Инсаров был типом будущего, психологической программой, образцом, до которого не дошел еще русский интеллигент.

Именно с этой точки зрения следует подходить к Инсарову. Только на фоне тогдашней русской действительности

становится понятным обаяние этого, в сущности, ограниченного человека. Это видят все, видит Елена, видит Берсенев, видит даже талантливый, но неустойчивый Шубин. Инсаров не может итти в сравнение с русскими интеллигентами. Он не знает тех широких научных проблем, которые занимают Берсенева. Ему чужды необъятные горизонты и заманчивые перспективы, поддерживавшие энтузиазм в душе русских гегелианцев. Он не интересуется искусством, и ему не понять восторгов и слез, полетов и падений Шубина. Но он цельный человек, и в этом его сила. Русские интеллигенты живут беспочвенными идеалами. Все, что они делают, полезно и прекрасно; наука и искусство нужны народу так же, как и свобода, но народ еще не знает и не понимает этих целей; и в этих целях есть что-то ложное, что-то такое, что всегда будет отравлять высокие минуты наслаждения наукой и искусством. Елена сравнивает Инсарова с Берсеневым, и ее чуткое сердце сразу отгадало, в чем заключается преимущество последнего. В Инсарове нет лжи в упомянутом выше смысле, нет искусственности и отвлеченности. «Вот, наконец, правдивый человек; вот на кого положиться можно. Этот не лжет; это первый человек, которого я встречаю, который не лжет; все другие лгут; все лжет». Ложь или, вернее, отсутствие реальной почвы придавало трагический отпечаток всем, даже самым благородным стремлениям прогрессивного дворянства, представлявшего тогдашнюю русскую интеллигенцию, и Елена чувствовала это. Вне народа и без народа нет величия даже в величайших идеях, в величайших порывах, живущих в душе избранной части общества: таков был тайный голос, сжимавший сердца лучших людей эпохи. «Андрей Петрович,—думала Елена,—может быть, ученее его, может быть, даже умнее... Но я не знаю, он перед ним такой маленький. Когда т о т говорит о своей родине, он растет и растет, и лицо его хорошеет и голос, как сталь, и нет, кажется, тогда на свете такого человека, перед кем бы он глаза опустил. И он не только говорит,—он делает и будет делать». Еще лучше определяет недостатки и преимущества Инсарова Шубин: «Талантов никаких, поэзии нема, способностей к работе пропасть, память большая, ум не разнообразный и не глубокий, но здравый и живой, суть и сила и даже дар слова, когда

речь идет об его, между нами сказать скучнейшей Болгарии... Суть, суть, а всех нас в порошок стереть может. Он со своею землею связан—не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся к народу: влейся, мол, в нас живая вода! Зато и задача его легче, удобопонятнее: стоит только турок вытурить, велика штука!»

Таково значение Инсарова в истории русского общественного движения. Он послужил для прояснения общественного сознания. Он дал возможность русским интеллигентам оглянуться на себя, увидать свою противоположность, сознать основное несчастье русской интеллигенции, которое лишало ее идеалистические стремления реального значения, подрезывало крылья у орлов, превращая их в бессильных мучеников идеи при всей широте их замыслов и порывов.

Нетрудно уловить те свойства характера, которые делали Инсарова полной противоположностью Рудиным и Лаврецким. Он прежде всего человек дела, а не слова. Он определяет человека и квалифицирует нравственные ценности только по проявлению их в действии. Он не принимает совершенно в расчет тех сил и того пафоса, который имеется налицо, но не выразился в активном усилии. «Вы очень любите свою родину?»—спрашивает Елена. Сколько вдохновенных речей мог бы сказать на эту тему Рудин, который не сумел бы претворить любовь к родине в активный шаг, в реальное действие. Инсаров отвечает простой фразой, но фразой, в которой сказался он весь: «Это еще неизвестно... Вот когда кто-нибудь из нас умрет за нее, тогда можно будет сказать, что он ее любил». Чувства и люди квалифицируются в его глазах только по активным проявлениям.

Другая черта Инсарова, отделяющая его от идеалистов 40-х годов,—это почти грубый материализм, отсутствие поэзии, мечтательности и идеализма в смысле той эпохи. Он—почти предшественник Базарова в своей органической враждебности всякой мечте и всякому романтизму, который мешает настоящему делу. Когда он «швырнул» в воду великана-немца, оскорбившего Елену во время прогулки, ее «перевернуло». Она точно на минуту почувствовала, что в нем нет того эстетического благородства, того внутреннего изящества, которое было преимуществом русских интеллигентов. «Заступиться он умеет,—пишет Елена в своем дневнике.—

Но к чему же эта злоба, эти дрожащие губы, этот яд в глазах? Или, может быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцом и остаться кротким и мягким? Жизнь—дело грубое, сказал он мне недавно. Я повторила это слово Андрею Петровичу. Он не согласился. Кто из них прав?» Искусства Инсаров не признает. Над любовью он хотя и не смеется, подобно Базарову, но он умеет подавлять в себе это чувство лучше Базарова. Он сообщает Берсеневу, что уехал бы, если бы влюбился, так как никогда ради личного чувства не изменит своему долгу. Когда он почувствовал, что полюбил Елену, он холодно и жестоко сдержал свое слово. Он хотел уехать, не простившись, не повидавшись с нею в последний раз, даже не сделав попытки узнать, какие чувства питает она к нему. Он согласился только тогда соединить ее судьбу со своею, когда она сама отыскала его, когда она растворила свою личность в его личности и вместе с его личностью растворилась в деле его родины. Он, любивший Елену так, как умеют любить подобные ему сильные натуры, ничем не пожертвовал для ее личности, для ее вкусов, потребностей и привычек. Он уничтожил совершенно ее личность: «Тебе придется разорвать все твои связи с отечеством, с родными... Ты должна будешь отстать от всех твоих привычек... там одна между чужими ты, может быть, принуждена будешь работать»... Он ни на мгновение не задавался вопросом, вынесет ли любимое им существо эту страшную ломку. Он, не задумываясь, принес бы свою жизнь в жертву родине, он не пощадил бы для нее и счастья и жизни любимой женщины.

Наконец, весь облик Инсарова, всякий шаг его есть воплощенное отрицание психики мыслящего барства. Он рассчитывает свое время и силы. Он без размышления истратит несколько дней для того, чтобы уладить ссору между соотечественниками, возникшую из-за пустяка, но он подумает о том, затратить ли время на чтение Фейербаха. Первое имеет прямое отношение к тому делу, которому он служит, Фейербах может оказаться бесполезным к уяснению его задачи. Берсенев предлагает ему после обеда пройти к Стаховым, но он отвечает, что этот вечер уже назначен для переписки с болгарскими друзьями, а потому визит к Стаховым должен быть отложен до другого раза. Берсенев с

добродушием русского барина предлагает ему переехать к себе на дачу, конечно, и не заикаясь о каких-нибудь материальных расчетах. Но Инсаров категорически определяет ту сумму, которую он обязан уплатить Берсеневу. Словом, каждый шаг его, каждое слово и движение есть прямая противоположность халатности и простодушию, которые выросли на почве патриархальных усадебных отношений. Инсаров—это та противоположность, которую искала натура Тургенева, а вместе с ним и все мыслящее барство той эпохи. И самое нетерпение, с которым ждало русское общество этого человека, ясность представления о нем говорили о том, что Россия находится «накануне», что кончаются расчеты с прошлым, что недалеко уже появление русского Инсарова. «И недолго нам ждать его,—писал Добролюбов,—за это ручается то лихорадочное, мучительное нетерпение, с которым мы ожидаем его появления в жизни. Он необходим для нас, без него вся наша жизнь идет как-то не в зачет, и каждый день ничего не значит сам по себе, а служит только кануном другого дня. Придет же он наконец, этот день!»

Подъем общественного самосознания, вызванный падением крепостного права и реформами, выдвинул на сцену новых людей, и Тургенев обращает свой взор в те новые сферы, которые шли на смену усадебному миру. Чуткий художник, откликавшийся на все новые общественные и умственные течения в русском обществе, Тургенев изменил бы себе, если бы не попытался изобразить разночинца—этого нового героя, победоносно завоевывавшего себе господствующее место на исторической арене. Впоследствии, когда мы подведем итоги разночинскому миросозерцанию в лице Писарева и лучших представителей тогдашней критики, мы увидим, что Базаров не был верным выразителем новых стремлений. Но и до знакомства с разночинской литературой нетрудно понять, что Тургенев, художник-дворянин, не мог органически слиться с новым типом. Для него разночинец был предметом наблюдения. «Я брал морские ванны в Вентноре,—рассказывает Тургенев,—маленьком городке на острове Уайте,—дело было в августе 1860 года,—когда мне пришла в голову первая мысль «Отцов и детей»... В основание главной фигуры, Базарова, легла одна поразившая меня лич-

ность молодого провинциального врача. В этом замечательном человеке воплотилось—на мои глаза—то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потом получило название нигилизма. Впечатление, произведенное на меня этой личностью, было очень сильно и в то же время не совсем ясно; я, на первых порах, сам не мог хорошенько отдать себе в нем отчета и напряженно прислушивался и приглядывался ко всему, что меня окружало, как бы желая проверить правдивость собственных ощущений».

«Отцы и дети»—самое заглавие свидетельствует о том, что роман должен был представить борьбу двух поколений. Эта борьба, как увидим дальше, происходила в литературе. Писарев разрушал эстетику; материализм и позитивизм вступили в бой с романтическими мечтами и идеализмом. Тургенев изобразил этот конфликт, но изобразил посвоему. Никто лучше Писарева не определил отношения автора к его героям. Он верно угадал, что Тургенев не был вполне на стороне ни «отцов» ни «детей». С отцами его связывало органическое сродство душ, но еще в Рудине и Лаврецком он сумел пропеть им отходную. «Дети» были чужды ему, но он словно с завистью любовался на некоторые качества их, недостававшие его сверстникам. Он, как тонко подметил проф. Овсянико-Куликовский, изображал в лице Базарова свое дополнение. «Когда он создавал Базарова, он чувствовал в себе русского дворянина доброго старого времени,—говорит Овсянико-Куликовский,—он сознавал свою—дворянскую—общественную и политическую несостоятельность и жаждал образа, в котором были бы даны задатки иного признания; он лелеял и облюбовывал черты силы, практического, делового ума, черты натуры мощной, «наполовину выросшей из почвы, может быть, недоброй».Он как бы собрал в себе в эту минуту всю сумму дворянской мягкости, доброты, эстетики, прекраснодушия, оторванности от почвы и т. д. и ощущал душевную потребность—увидеть и полюбить воплощение противоположных черт—базаровских. В сущности, Писарев первый правильно определил отношение автора к своему герою, в то время как одни считали Базарова карикатурой на молодое поколение, а другие негодовали за то, что автор «ползал у ног Базарова». Тургенев—писал Писарев—смотрит на настоящее с высоты прошедшего. «Разви-

тие его личного миросозерцания окончилось, но способность наблюдать за движением чужой мысли, понимать и воспроизводить все ее изгибы осталась во всей своей свежести и полноте... Представители прошлого, «отцы», изображены с беспощадной верностью; они люди хорошие, но об этих хороших людях не пожалеет Россия; в них нет ни одного элемента, который действительно стоило бы спасать от могилы и забвения, а между тем есть и такие минуты, когда этим отцам можно полнее сочувствовать, чем самому Базарову».

Ярким представителем и защитником старшего поколения является Павел Петрович Кирсанов. Роман построен таким образом, что «отцы» пасуют перед «детьми», и Павел Петрович из споров с Базаровым отнюдь не выходит победителем. Тургенев имел при этом в виду определенный умысел. В письме к Случевскому 14 апреля 1862 года он говорит: «Базаров постоянно разбивает П. П., а не наоборот... Вся моя повесть направлена против дворянства, как передового класса... Эстетическое чувство заставило меня взять именно хороших представителей дворянства, чтобы тем вернее доказать мою тему: если сливки плохи, что же молоко... Н. П. (Николай Петрович)—это я, Огарев и тысячи других, П. П. (Павел Петрович)—Столыпин, Есаков, Боссет—тоже наши современники. Они лучшие из дворян и именно потому и выбраны мною, чтобы доказать их несостоятельность». И действительно, Павел Петрович обладает многими качествами, которые делают его «лучшим из дворян». В нем много прирожденного джентльменства. Он сам заявляет с гордостью, что его «все знают за человека либерального и любящего прогресс». Он защищает искусство, поэзию, требует, чтобы у каждого человека были идеалы и принципы. Он человек умный, неспособен погрязнуть в мелких интересах провинциального дворянства, к которому относился с пренебрежением. Его уважали представители и старшего и молодого поколения, в особенности за его «безукоризненную честность». Хозяйственные дрязги наводили на него тоску, и он небрежно оказывал денежную помощь своему брату Николаю Петровичу, хозяйство которого, заведенное недавно на новый лад, «скрипело, как немазанное колесо». В этом джентльмене много общего с «лиш-

ними людьми», с Онегиным и Лаврецким. И итоги его жизни те же, что и у них. Это — «лишний человек» в новой обстановке, бесполезный, скучающий и тоскующий, но уже с примесью озлобления, так как он чувствует, что на него ополчаются. Лаврецкие могли грустить, но им незачем было раздражаться. Кирсановым нельзя успокоиться на меланхолическом far niente в своих дворянских гнездах, потому что новые люди явились и потрясли их покой. Подобно многим «лишним людям», Кирсанов погубил свою жизнь благодаря неудачной любви. Он истратил эту жизнь на романтическое чувство и одинокий доживал свои дни в деревне, слывя среди местных дам за «очаровательного меланхолика». Этот старый тип «лишнего человека» с его меланхолией, джентльменством, прогрессивными и гуманными воззрениями, еще недавно обрисованный Тургеневым с таким нежным сочувствием, приобретает теперь в «Отцах и детях» новый вид перед беспощадным судом Базарова. Разночинец грубо разоблачил то, что скрывалось в поэзии старого барства. Базаров не ценит ни их любовной тоски, ни их гуманного обращения с крестьянами. Вот какой итог подводит Базаров жизни Кирсанова: «Человек, который всю свою жизнь поставил на карту женской любви, и когда ему эту карту убили, раскис и опустился до того, что ни на что не стал способен, этакий человек—не мужчина, но самец. Ты говоришь, что он несчастлив: тебе лучше знать; но дурь из него не вся вышла. Я уверен, что он не шутя воображает себя дельным человеком, потому что читает Галиньяшку и раз в месяц избавит мужика от экзекуции». Так осудил Тургенев устами Базарова тех, про кого он сказал: «Это я, Огарев, мои современники».

Базаров—разночинец. Он — сын лекаря, и сам с гордостью заявляет, что его дед землю пахал. Впервые Тургенев сделал разночинца центральной фигурой романа. Базаров прежде всего—позитивист и материалист. Для него не существует веры, общих принципов и априорных идеалов,—всего того, чем так богата была предшествующая эпоха. «Я не верю ни во что»,—говорит он Павлу Петровичу. Порядочный химик в его глазах «в двадцать раз полезнее всякого поэта». Даже «науки вообще» он не признает: «Есть науки, как есть ремесла, знания, а науки вообще не существует вовсе». Есте-

ствознание представляется ему единственно важным занятием. «Лягушек резать», исследовать природу,—вот чему посвящает свои силы Базаров. Сообразно с этим он считает чепухой, «романтизмом» искусство, красоту, пафос и любовь, — все, к чему так восторженно относились идеалисты 40-х годов. Когда ему говорят о принципах, о логике истории, он противопоставляет им только факты, только очевидные материальные побуждения. «Вы не нуждаетесь в логике для того, чтобы положить себе кусок хлеба в рот, когда вы голодны. Куда нам до этих отвлеченностей». Спор Базарова с Кирсановым—это тот же конфликт Пигасова с Рудиным, спор позитивиста с идеалистом, спор о том, существуют ли прирожденные, априорные нравственные представления в душе человека, или только одни чувственные восприятия определяют наши поступки и воззрения. «Принципов нет, а есть ощущения; от них все зависит»,—говорит Базаров. Но роли переменились. Рудин разбил Пигасова. Базаров торжествует над Кирсановым. Базаров словно мстит эпохе идеализма за то, что она обманула ожидания общества,— эпохе, когда обличалось взяточничество, говорилось «об отсутствии дорог, торговли, правильного суда». «Мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит труда, что это ведет только к пошлости и доктринерству; мы увидали, что и умники наши, так называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и чорт знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе»...

Таким образом, Базаров провозглашает единственный стимул деятельности: потребность. Никаких идеалов, только факты и голые потребности. Он действует в силу того, что признает полезным. Для своего времени он считает самым полезным отрицание, а потому отрицает все без остатка. На замечание Кирсанова, что нельзя только разрушать, необходимо и строить, Базаров отвечает: «Это уж не наше дело... Сперва нужно место расчистить». Эту разрушительную работу, это отрицание он называет нигилизмом. Если довести до ее логического конца проповедь Базарова, мы увидим, что она должна привести к признанию личности, ее инстинк-

та единственным движущим началом жизни. Отречение, ограничение личности во имя общества и его интересов отрицаются, и на место их возводится культ силы и эгоизма. «Мы ломаем, потому что мы сила». Базаров в этих словах приближается к Ницше. Жизнь есть борьба. Превосходство того или другого начала определяется его силой. Когда Кирсанов говорит, что «миллионы раздавят» этих проповедников-разрушителей, Базаров спокойно замечает: «Коли раздавят, туда и дорога». Вообще в проповеди Базарова много такого, что напоминает проповедь Заратустры. Всякая личность должна считать свою сущность единственным началом, свое «само» ставить выше всего. Пусть эти самодовлеющие личности борются каждая за свое существование, и в этой борьбе погибнет все слабое и ненужное, и удержится все то, что ведет человечество в сверхчеловеческие высоты. Для Базарова нет ничего священного. Он не хочет никаких авторитетов, идолов и кумиров. Даже для народа он не делает исключения. Он смеется над общиной, глумится над верой в мужика, который «рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке», и уверяет, что в «современном нашем быту, в семейном или общественном», нет ни одного установления, которое бы не вызывало «полного и беспощадного отрицания». Его друг Аркадий думает, что всякий должен способствовать счастью мужика. «А я,—говорит Базаров,—и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть, и который мне даже спасибо не скажет... да на что мне его спасибо. Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет,—ну, а дальше?»

Тургенев не мог уловить положительных стремлений разночинства и материализма, не мог понять, что это была особая форма альтруизма, начало материалистического обоснования морали, жертвы и идеи общественного служения. Под грубой материалистической проповедью скрывалось желание основать дело осуществления народного счастья на фактах, на научных основах, уйти от тех беспочвенных, хотя и благородных мечтаний, которые принесли столько разочарований. Вот почему Тургенев придал Базарову тот оттенок меланхолии и грусти, которого не было у его прототипов в жизни. Они знали, чего хотели. Из проповеди для них

вытекал определенный метод действий, и им был чужд душевный разлад, Тургенев не мог уловить этого. Он вложил в отрицание и разрушение ту душевную тоску, которая жила в нем самом. Идеолог мыслящего барства с его идеализмом и гуманностью мог представить нигилиста только в виде одинокого, лишнего человека, страдающего от своего отрицания, рвущегося к служению на благо народа и впадающего в противоречие с собственными теориями. И его Базаров из грубого материалиста и разрушителя не раз превращается в тоскующего лишнего человека, и в словах его звучат те же речи, которые раздавались в устах Рудиных и Лаврецких. Эти речи сводятся к одному мотиву: «Хочу послужить людям, но не умею и не знаю как». Временами Базаров завидует своим родителям, которые хлопочут, толкуют, у которых весь день «напичкан занятиями». Временами ему становится грустно при мысли, что часть времени, которую ему удастся прожить, так ничтожна перед вечностью, где его не было и не будет. «А в этом атоме, в этой математической точке, кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже». Он завидует муравью, который тащит упирающуюся полумертвую муху и в качестве животного имеет право не признавать чувства сострадания, «не то, что наш брат самоломанный». Базаров признал, таким образом, что человеку не уйти от чувства сострадания, от сознания связи и солидарности с другими людьми, что голый инстинкт и эгоизм возможны только в животном царстве. Не раз выдает он, что ему трудно осуществить свои теории. «Ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным, самым разумным манером. Ан нет,—тоска одолевает. Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними». Словом, Тургенев не нашел выхода в нигилизме. Позавидовав силе новых людей, создав в лице Базарова своего любимейшего героя, воплотив в нем ту мощь, к которой бесплодно стремился он сам, Тургенев кончил тем, что, наделив его своей собственной тоской, не разглядел самого главного в новых людях, именно того обстоятельства, что у них были положительные идеалы и не было тоски и душевного разлада.

Базаров изменяет не только своей материалистической философии. Он не остается до конца верным своей вражде к

романтизму и сантиментальным чувствам. В разговорах с Одинцовой «он еще больше прежнего высказывал свое равнодушное презрение ко всему романтическому; а оставшись наедине, он с негодованием сознавал романтика в самом себе». И этот человек с его холодным умом и злой иронией изменил себе, когда бросил Одинцовой: «Так знайте же, что я люблю вас глупо, безумно». Он дерется на дуэли с Павлом Петровичем, хотя сознает, что это глупо, и небрежно объясняет Аркадию: «Вот что значит с феодалами пожить. Сам в феодалы попадешь и в рыцарских турнирах участвовать будешь». Лежа на смертном одре, он посылает к Одинцовой сообщить, что умирает. Он, называвший отца «презабавным старикашкой» и подсмеивавшийся над трогательною любовью обоих стариков, говорит перед смертью Одинцовой: «Отец вам будет говорить, что вот, мол, какого человека Россия теряет. Это чепуха, но не разуверяйте старика. Чем бы дитя ни тешилось... вы знаете. И мать приласкайте. Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем не сыскать... Я нужен России.. Нет, видно, не нужен»...

Так закончил повесть сильного человека поэт умирающей культуры. Тех людей, которые шли бодро вперед, он обвеял тем же меланхолическим осенним дыханием, как и прежних героев, и не бодрым гимном будущему, а тоскливым бессилием лишнего человека прозвучали последние слова умирающего Базарова: «не нужен». И мертвым бессилием кладбища веет и от этого произведения. Щемящей тоской проникает в сердце заключительная картина: «Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный... Овцы безвозбранно бродят по могилам. Но между ними есть одна, до которой не касается человек, которую не топчет животное; одни птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее окружает; две молодые елки посажены по обоим ее концам: Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней из недалекой деревушки часто приходят два уже дряхлых старичка—муж с женою... Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна?»—Таков итог романа. Тургенев кончил его порывом старого идеалиста. Он не осудил того, чье «бунтующее

сердце скрылось в этой могиле», но душою он был не с ним, а с теми, кто пользовался в борьбе с жизнью старым оружием—молитвой и слезами.

V.

Новые течения среди русской интеллигенции и молодежи, возникшие с началом реакции. — Отношение к ним Тургенева. — Реакционная Россия и интеллигенция в «Дыме».—Правильно ли изобразил их Тургенев.—Положительные идеалы и отрицание Потугина.—Изображение революционных кружков в романе «Новь». — Нежданов. — Соломин. — Женщины у Тургенева: Лиза, Наталья, Елена, Марианна.—«Стихотворения в прозе» как самое яркое выражение настроений Тургенева.

В «Отцах и детях» Тургенев сделал попытку заглянуть во внутренний мир новых людей. Он не понял их, и это непонимание углублялось по мере того, как Тургенев старался охватить общественные и умственные течения, развивавшиеся в чуждых ему сферах. В 1867 году появляется «Дым». За несколько лет, отделяющих это произведение от «Отцов и детей», произошло много важных событий. За это время революционная организация «Молодая Россия» выпустила свою боевую прокламацию, призывавшую к цареубийству и напугавшую всех благонамеренных людей, произошли знаменитые петербургские пожары, вспыхнуло польское восстание, наконец, раздался выстрел Каракозова, который был поворотным моментом в политике правительства. Императорский рескрипт объявлял задачей правительства охрану вековых устоев общества, религии и священного права собственности. Началась решительная реакция, репрессии против печати. Реакционная партия, которая исказила дело реформ, мешала их осуществлению в полной мере и этим в значительной степени подготовила их неуспех, теперь торжествовала, старалась урезать компетенцию уже созданных учреждений, издевалась над либералами и радикалами, осмеивала революционное движение. Напротив того, оппозиционная часть общества, раньше находившая себе выход в деятельности по осуществлению реформ, теперь в значительной мере ушла в подполье, организовывала революционные тайные общества. Здесь, в этой подпольной России, продолжала зреть идея о необходимости дальнейшей борьбы с самодержавием.

В «Дыме» Тургенев изобразил это новое направление общественной мысли. Он представил нам и типы, порожденные сплотившейся реакцией, и новых людей, выдвинутых новыми формами освободительного движения. Мог ли понять идеолог отодвинутого историей мыслящего дворянства эти новые формы? Пессимизм, который проникает все произведения Тургенева, в «Дыме» проявляется еще с большей силой. Автор не верит в новых людей. Он даже глумится над ними,—глумится более жестоко, чем над сановными представителями реакции. И в нарисованной им пессимистической картине только образы, сотканные из любви и поэзии, эти старые излюбленные образы его творчества озарены прежним ярким светом.

Тут была почти fine fleur нашего общества, «вся знать и моды образцы»,—так начинает Тургенев характеристику сановной и аристократической России, представители которой съехались в Баден. Несколькими злыми штрихами очерчена каждая фигура: граф X, несравненный дилетант, который так божественно «сказывает» романсы, а в сущности двух нот разобрать не может, не тыкая вкривь и вкось указательным пальцем по клавишам, и поет нето как плохой цыган, нето как парижский коафер; восхитительный барон Z, мастер на все руки,—и литератор, и администратор, и оратор, и шулер; князь Y, друг религии и народа, составивший себе во время оно, в блаженную эпоху откупа, громадное состояние продажей сивухи, подмешанной дурманом; блестящий генерал О.О., который что-то покорил, кого-то усмирил; государственные люди, дипломаты, тузы с европейскими именами, мужи совета и разума, воображающие, что золотая булла издана папой, и что английский «poortax» есть налог на бедных. Это люди, которые проклинают новые, либеральные течения, обличительную печать, отмену крепостного права. «Журналы!—восклицает один из них.—Обличение! Если бы от меня зависело, я бы в этих ваших журналах только и позволил печатать, что таксы на мясо или на хлеб да объявления о продаже шуб да сапогов». Они жалуются на разорение дворянства; имения продаются с аукциона, никто не хочет их покупать. Они требуют возврата к прошлому. «Мы разорены... мы унижены... Мы должны предостерегать, мы должны говорить с почтительной твердостью: воротитесь, во-

ротитесь назад!.. Надо переделать все сделанное... и девятнадцатое февраля, насколько возможно». Здесь с презрением и ненавистью говорят о новых людях, об образовании. «Я не враг так называемого прогресса, — замечает «снисходительный генерал»,—но все эти университеты да семинарии там да народные училища, эти студенты, поповичи, разночинцы, вся эта мелюзга... вот где нужно остановиться... Не позволяйте умничать черни, а вверьтесь аристократии, в которой одной и есть сила».

Но вот перед нами другая Россия, и сатирическая злоба автора развертывается еще шире. Можно подумать, что мы находимся среди подонков общества, и русские эмигранты состояли из сброда негодяев и шарлатанов. Главой кружка интеллигентов, выведенных автором, является Губарев. Кружок напоминает тех людей, которыми восхищался Репетилов, и выражение: «Шумим, братец, шумим», вполне определяет характер деятельности кружка. Здесь легко возводят в гении, делают «события» из ничтожных фактов, занимаются сплетнями, воюют на почве маленьких оскорбленных самолюбий. Автор не уловил даже намека на широкие задачи, на способность к жертве, на горячее чувство любви к народу. Влияние Губарева автор устами Потугина объясняет тем, что русский человек требует над собой господина, ему нужен барин. «Губарев захотел быть начальником, все его начальником и признали... Он и славянофил, и демократ, и социалист, и все, что угодно, а имением его управлял и теперь еще управляет брат, хозяин в старом вкусе, из тех, что дантистами величали... А ведь только за ним и есть, что он умные книжки читает, да все в глубину устремляется». Ни дара слова, ни настоящей глубины и программы у Губарева нет. С таинственным видом передают эти люди о скрытых замыслах Губарева, и только в конце романа раскрывается весь безнадежный взгляд автора на вождей интеллигентских кружков, когда он заставляет Литвинова встретиться с Губаревым на почтовой станции в глуши Рооссии... «Па-адлецы, па-адлецы!—кричал вождь революционного кружка.—Мужичье поганое! Бить их надо, вот что; по мордам бить, вот им какую свободу в зубы!»

И не только генералы, аристократы и эмигранты, разночинцы и революционеры дают пищу пессимизму Тургенева.

Устами Потугина он выражает свой безнадежный взгляд на русский народ и интеллигенцию, на все стороны русской действительности. Слушая речи Потугина, иногда кажется, будто перед нами старик с обычным старческим брюжжанием на молодое поколение. Революционные кружки в глазах Потугина бесплодны. В них говорят о значении, о будущности России, но всегда в общих чертах, бездоказательно, безвыходно: «жуют, жуют они этот несчастный вопрос, словно дети кусок гумиластика; ни соку, ни толку». О русских людях, русском национальном характере и направлениях мысли он самого низкого мнения. «Нам во всем и всюду нужен барин; барином этим бывает большей частью живой субъект, иногда какое-нибудь так называемое направление над нами власть возымеет... теперь, напр., мы все к естественным наукам в кабалу записались... Чисто холопы! И гордость холопская, и холопское унижение. Новый барин народился—старого долой! То был Яков, а теперь Сидор; в ухо Якова, в ноги Сидору! Вспомните, какие в этом роде происходили у нас проделки! Мы толкуем об отрицании, как об отличительном нашем свойстве; но и отрицаем-то мы не так, как свободный человек, разящий шпагой, а как лакей, лупящий кулаком, да еще, пожалуй, лупит он по господскому приказу». Мало удовлетворяют Потугина славянофилы: «прекраснейшие люди, а та же смесь отчаянья и задора, тоже живут буквой «буки». Все, мол, будет, будет, В народности ничего нет, и Русь в целые десять веков ничего своего не выработала ни в управлении, ни в суде, ни в науке, ни в искусстве, ни даже в ремесле... Но постойте, потерпите: все будет. А почему будет, позвольте полюбопытствовать? А потому, что мы, мол, образованные люди—дрянь; но народ... о, это великий народ! Видите этот армяк? Вот откуда все пойдет. Все другие идолы разрушены, будемте же верить в армяк». Уничтожив все, Потугин только в редких случаях пытается указать ту положительную программу действий, которую он противопоставляет различным группам русской интеллигенции. Прощаясь с Литвиновым, уезжающим в Россию, он дает ему такой напутственный совет: «Всякий раз, когда вам придется приниматься за дело, спросите себя: служите ли вы цивилизации—в точном и строгом смысле слова,—проводите ли одну из ее идей, имеет ли

ваш труд тот педагогический европейский характер, который единственно плодороден в наше время у нас? Если так—идите смело вперед: вы на хорошем пути, и дело ваше—благое! Слава богу! Вы не один теперь. Вы не будете «сеятелем пустыни»; завелись уже и у нас труженики... пионеры». В этих словах сказался Тургенев, убежденный западник, идеалист сороковых годов, взгляды которого кристаллизовались в предшествующую эпоху. Неопределенная вера в «цивилизацию», отсутствие определенной практической программы, неспособность применять эту веру к практическим задачам, выдвинутым русской жизнью,—все это осталось и в «Дыме»—в романе, который должен был отразить стремление новых людей.

Осталась не только эта отчужденность от русской внеусадебной жизни, сохранился и тот интерес к личному чувству, которое составляло всегда главную тему тургеневских романов и которое так гармонировало с общим настроением идеалистической эпохи. Разговоры на политические темы, составляющие главную тему в начале романа, мало-по-малу уступают место новому сюжету—любви Литвинова к Ирине. Прежний Тургенев, меланхолический певец девушек, взращенных усадебной культурой, поэт Лизы и Елены, воскресает перед нами, когда мы читаем трогательные страницы, посвященные горю Тани, покинутой Литвиновым для Ирины. Все, вплоть до доброй старушки в лице Капитолины Марковны, весь мир старого барства с его религиозными, кроткими девушками, не имеющими своих задач в жизни, поджидающими своих суженых,—этот мир снова обрисован автором нежными любовными красками, и этот мир, точно укоряющий призрак, выходит в последний раз из могилы, словно для того, чтобы показать обществу, сколько красоты и поэзии, сколько мира, уюта и тишины утратило оно, покинув старые дворянские гнезда и окунувшись в сутолоку новой, шумной, городской жизни. Сцена примирения Литвинова с Таней—почти символ. Мятущемуся духу русского интеллигента негде найти убежища, кроме домика на холме с его острым мезонином и рядом окошек, ярко рдеющих на вечернем солнце, того домика, за стенами которого патриархальное счастье и тихая идиллия. Из бурь жизни, из власти нервной, истерической женщины Литвинов, едва не погибший

в пучине страстей, едва спасшийся из мира борьбы, политических столкновений и корыстных вожделений, нашел истинное счастье здесь, среди этого сада, в тиши деревни, в уютном домике, подле кроткой любящей девушки. «Дым, дым!»—этим словом определяет он новый мир, и его устами говорит сам автор, не умевший разобраться в непонятных явлениях этого нового мира и в минуту тоски и отчаяния с любовью уносившийся в запущенную усадьбу, где так уютно жилось старому барству, еще не выбитому из колеи неумолимым ходом истории.

Еще в большей степени отчужденность Тургенева от новых течений русской жизни обнаруживается в романе «Новь». Долгое пребывание за границей, неспособность отрешиться от той культуры и того мировоззрения, которых Тургенев был самым ярким представителем в художественной литературе, обусловили его отношение к революционному движению 70-х годов и к тому явлению, за которым утвердилось характерное название: «хождение в народ». «Кто помнит,—говорит проф. Овсянико-Куликовский,—70-е годы, тот хорошо знает, что в известном движении того времени принимали участие не только зеленые и легковерные юноши или тупицы вроде Остродумова, но и люди зрелые, умные, даровитые, разделявшие, однако, общую иллюзию о высоких душевных качествах русского народа, делающих будто бы возможною и плодотворною известную деятельность для него и среди него. Идеализация народа, доверие к нему в его современном состоянии,—это была общая черта и глупых и умных, и юных, и зрелых, и даровитых и бездарных. Во всем можно было сомневаться, все подвергать критике,—одна лишь святыня народной идеи была неприкосновенна. И между теми, кто служил этой идее, были люди куда умнее и образованнее не только Маркелова, но и Нежданова». Не так отнесся к революционерам Тургенев. Он превратил их в людей невежественных и ограниченных, даже пошлых и жалких. В лучшем случае он видел в них незрелых искателей истины, «лишних людей», не находящих выхода своим активным силам. Он написал в «Нови» жестокую сатиру на этих людей, так же как в «Дыме» беспощадно и несправедливо осмеял русскую интеллигенцию и эмигрантов. Перед нами целый ряд фигур. Капитан Галушкин, сын

разбогатевшего торговца из староверов, производил впечатление дурковатого парня, с большим самолюбием. Это—революционер из купцов, протежирующий каскадных актрис и напоминающий скорее самодуров Островского, чем героев и мучеников революции. Его главной страстью была жажда популярности: «греми, мол, Голушкин, по всему свету». Он самодовольно заявлял, что бросился в оппозицию; он был до того невежествен, что вначале путал это слово с «позицией». В действительности же его привлекла к революционерам та же жажда популярности. Она заставляла его, человека скупого, бросать деньги, устраивать попойки, говорить о необходимости пропаганды (слово, которое он выговаривал с трудом) и вообще стараться о том, чтобы не ударить лицом в грязь. Рядом с Голушкиным—Паклин, такая же карикатурная фигура. Паклин труслив и жалок. Он играет жалкую роль перед величественным барином, к которому забежал вперед с искренним намерением в минуту опасности, и который насмеялся над ним, извлекши из него все, что нужно было для обнаружения дела. Третья фигура—Маркелов, не лишенный благородства, грубый с аристократами и обходительный с мужиком, но человек ограниченный и бездарный. Автор постарался и этому герою, возбуждающему некоторое сочувствие, приписать черточки пошлости. Он полюбил девушку, но она изменила ему самым бесцеремонным образом и вышла замуж за адъютанта. С тех пор Маркелов ко всем предметам своей ненависти присоединил и адъютантов. Далее, Машурина и Остродумов, более мелкие деятели революции, изображены людьми недалекими. По поводу Машуриной Тургенев делает вылазку против девушек, участвовавших в революционном движении,—вылазку, в которой сказалось оскорбительное предубеждение известных слоев общества, упрекавших революционные кружки в распущенности и цинизме. И у Достоевского в его «Бесах», и у Гончарова в изображении Марка Волохова, и особенно в «Панурговом стаде» Крестовского мы встретим отражение этого предрассудка. Тургенев отдал дань этим предрассудкам в язвительном и злобном замечании. Сообщив, что Машурина добилась «неустанным трудом» аттестата и была «очень целомудренная девица», Тургенев сопровождает это сообщение следующим замечанием:

«Дело неудивительное!—скажет иной скептик, вспомнив то, что было сказано о ее наружности. Дело удивительное и редкое!—скажем мы».

Но, может быть, ни в чем так ярко не сказалось отрицательное отношение к революционному движению, как в выведенной автором фигуре Нежданова. Эта фигура обличает в авторе снова великого художника, который умеет быть правдивым, как только берется за понятные и родственные ему по духу натуры. В образе Нежданова представлен «кающийся дворянин», «лишний человек» в новой обстановке, в революционных кружках. Тоска и муки Нежданова понятны Тургеневу. Он тщетно пытается уйти из мира поэзии и любви и броситься в сферу великого, грубого и жестокого дела. Тщетно старается он отрешиться от своих эстетических привычек, от своего отвращения ко всему, на чем нет отпечатка изящества и благородства. Тщетно старается он пить водку, пользоваться развязным жаргоном революционеров, слиться с народом. Ему противны грязные мужики, ему непонятен и недоступен этот мир, из которого его постоянно влечет в мир поэзии и любви, в мир мысли и личных чувств. Нежданов родился от князя Г., богача, генерал-адъютанта, и от гувернантки его дочерей, хорошенькой институтки. Генерал пустил его по «эстетике», т. е. по историко-филологическому факультету, и после смерти оставил на его долю небольшой капитал, проценты с которого выдавались Нежданову в виде пенсии его братьями, князьями Г. Нежданов имел аристократическую внешность. Нежданов—лишний человек в новой обстановке. Та тоска, которую переживало кающееся дворянство, не находившее применения своим силам, здесь приобретает особенно жгучую силу. Здесь отпрыск старого барства устремляется в ту сферу деятельности, которая была ему особенно враждебна. Нежданов прежде всего барин, и притом просвещенный барин, с типичными чертами идеалиста сороковых годов, с его метафизическим и эстетическим складом ума. «О, как я проклинаю эту нервность, чуткость, впечатлительность, брезгливость, все это наследие моего аристократического отца». Что до того, что он незаконный сын аристократа и добывает себе хлеб своим трудом,—по воспитанию и вкусам он типичное дитя барской культуры. Его философствующий на манер

Рудина ум, его эстетические вкусы и бессилие перед грубой действительностью ранят его больнее потому, что он живет и действует позднее их, когда жизнь предъявляла иные требования. Рудины и Лаврецкие не так ясно чувствуют причину своих страданий. Нежданов отдает себе ясный отчет. Он понимает, что та культура и те вкусы, которые веками прививались дворянской среде, оказались бесплодными теперь, когда потребовалось новое дело. «Какое право,—говорит Нежданов про своего отца,—имел он втолкнуть меня в жизнь, снабдив меня органами, которые несвойственны среде, в которой я должен вращаться? Создал птицу—да и пихнул ее в воду?—Эстетика—да в грязь!» Неудивительно, что из агитаторских попыток Нежданова ничего не выходит. «Сам чувствую, что не гожусь. Точно скверный актер в чужой роли». И он кончает тем же, чем кончили все «лишние люди»,—умирают бесцельно, нелепо, и перед самоубийством в последнем письме он делает то же признание, которое до него сделали и Рудин, и Лаврецкий, и Базаров. Он объявляет ненужной свою жизнь, видит, что делал ненастоящее дело. «Настоящим» для Нежданова была только его любовь к Марианне, стихи, которые он писал, его гамлетовские сомнения,—словом, все то, чем жили люди 40-х годов и что совершенно напрасно Тургенев бросил в среду молодежи 70-х годов,—молодежи, не знавшей сомнений, твердо шедший по тому пути, который она считала истинным.

В «Нови» Тургенев как будто обрел, наконец, настоящего человека,—человека дела, а не слова, человека, который знал, что делает и куда идет. Соломин, повидимому, тот образец, который Тургенев хотел противопоставить незрелой революционной молодежи. Соломин—разночинец, сын дьячка. Он—механик, учился в Англии и управляет фабрикой. Он даже английского мануфактуриста поразил своими знаниями и постановкой дела. Автор несколько раз подчеркивает, что Соломин—тот идеал, который он обрел в конце концов. На фабрике его любили, рабочие относились к нему с доверием и глубоким уважением. Устами Паклина автор так определяет Соломина: «Такие, как он—они-то вот и суть настоящие. Их сразу не раскусишь, а они—настоящие, поверьте; и будущее им принадлежит. Это не герои; это даже не те «герои труда», о которых какой-то чудак—американец или

англичанин— написал книгу для назидания нас убогих; это крепкие; серые, одноцветные, народные люди. Теперь только таких и нужно!» Посмотрим, что же представляет собою этот человек, который должен был указать настоящий путь русскому обществу. О его положительных качествах мы знаем по рассказам окружающих или должны верить на слово автору. В этом отношении Соломин—скорее отвлеченная схема, чем живой образ. Он—программа, а не конкретная фигура. Мы почти не видим его на фабрике, не видим, как и чем добился он доверия со стороны рабочих, в чем проявились его воля и деловитость. Мы имеем об этой стороне его деятельности, в сущности, не больше сведений, чем о деревенской деятельности Лаврецкого, которого тоже не видим за работой. Соломин—искусственный образ, поскольку автор хотел нарисовать в нем человека дела, не знающего сомнений, идущего вперед по раз намеченному пути. Едва ли в 70-е годы среди революционеров мог отыскать автор этого уравновешенного человека, освободившегося от сомнений и внутреннего разлада благодаря деятельности на фабрике, довольствующегося своим делом. Во всяком случае, автор не выяснил, почему ищущая дела и тоскующая русская интеллигенция просмотрела путь, по которому шел Соломин и в котором можно было найти удовлетворение.

Если в жизни и попадались подобные люди, то они были скорее ловкими дельцами, вроде Штольца, чем друзьями революционеров. Соломин—проповедник малых дел, постепеновщины. Ему чужды широкие идеалы русской интеллигенции. «Вы сегодня какую-нибудь Лукерью чему нибудь доброму научите... а недели через две или три вы с другой Лукерьей помучитесь; а пока—ребеночка вы помоете, или азбуку покажете, или больному лекарства дадите... вот вам и начало... Вы будете чумичкой, горшки мыть, щипать кур... А там, кто знает, может быть, спасете отечество». Тяжелый путь разочарований и внутренних колебаний нужно было пройти Тургеневу для того, чтобы отыскать в конце концов спасение родины в этом сомнительном идеале. И трудно поверить, что носителя этого идеала полюбила такая девушка, как Марианна. Да и вообще отношение революционеров к Соломину и его отношение к ним представляет трудно разре-

шимую загадку. Нелегко понять, почему Соломин пользовался у них авторитетом. В революцию он не верил, спорить не любил, и автор не раз дает понять, что Соломин в душе считал своих друзей детьми. Что же побуждало Соломина сближаться с ними? Автор только мимоходом указывает причину этого сближения: «Он хорошо знал петербургских революционеров и до некоторой степени сочувствовал им, ибо был сам из народа; но он понимал невольное отсутствие этого самого народа, без которого «ничего ты не поделаешь» и которого долго готовить надо—да не так и не тому, как те». Таким образом, превосходство Соломина заключалось только в том, что он отрицательно относился к революционной деятельности своих друзей. Казалось бы, при таком ясном уме, при таком трезвом понимании событий Соломин должен был доказать друзьям несостоятельность их стремлений, предостеречь их от гибельного пути. Трудно понять, каким образом мог этот человек спокойно смотреть, как катились в бездну те, кого он называл своими друзьями. Правда, он замечает, что «других путей нет». Но тем более странной, чтобы не сказать некрасивой, является его роль среди революционеров. Он ничего не сделал для того, чтобы направить их на правильный путь, чтобы провести свои взгляды. Он ничем не пожертвовал в то время как другие шли на каторгу и на виселицу. Соломин занял сомнительную позицию по отношению к революции. Он не хотел уйти от тех, помимо которых «все-таки не было другого пути». Но он оставался среди них, не разделяя их риска, и даже не хотел тратить слов для споров с ними. «Он,—говорит автор,—и держался в стороне не как хитрец и виляга, а как малый со смыслом, который не хочет даром губить ни себя, ни других. А послушать... отчего не послушать—даже поучиться, если так придется». Позиция выгодная. Но едва ли кто-нибудь согласится с Тургеневым, что для человека, занявшего эту позицию, больше подходит определение «малого со смыслом», чем «хитреца и виляги». После разгрома революционного движения один Соломин благополучно выплыл на поверхность среди тонувших. «Этот молодцом,—рассказывает о нем в конце романа Паклин,—вывернулся отлично. Прежнюю-то фабрику бросил и лучших людей с собой увел... Теперь, говорят, свой завод имеет—

небольшой,—где-то там в Перми на каких-то артельных началах. Этот дела своего не оставит! Он продолбит! Клюв у него тонкий—да и крепкий зато. Он молодец! А главное: он не внезапный исцелитель общественных ран». Таков итог поисков Тургенева. «Настоящий» человек, обретенный им в последнем из его крупных романов, оказался предпринимателем, про которого все-таки можно сказать: «себе на уме». Тургенев в лице Соломина, так же, как и Гончаров в лице Штольца, уловил новую восходящую силу—буржуа-предпринимателя. После падения крепостного права обнаружилось в известной части дворянства тяготение к предпринимательской деятельности. Сановный дворянин Сипягин ухаживает за Соломиным, желая переманить его на свою фабрику. Но Соломин вскрывает несостоятельность этих новых попыток дворян: все их фабрики в конце концов «попадают в руки купцов», потому что они, по выражению Соломина, «чужаки» и чиновники. У дворян нет «коммерческого расчета» и «выдержки», они неспособны к «правильным промышленным предприятиям», к «настоящему финансовому делу». Соломин, как и вся просвещенная часть тогдашнего купечества и промышленного мира, верил, что в создании могущественного капиталистического класса заключается спасение России, и отождествлял свое обогащение с обогащением народа,—гордая и ошибочная вера всей европейской буржуазии, выдвинувшей свое господство на развалинах дворянского мира.

Певец умирающей усадебной культуры, Тургенев создал бессмертные женские образы, родившиеся в этом догорающем мире. Его женщины не поборницы женского равноправия в том смысле, в каком мы понимаем теперь это слово. Они сотканы из любви и жертвы. Красота и сила наиболее активных женских характеров проявляются только в борьбе за своих избранников. Вне мужчин эти активные натуры не знают своих самостоятельных задач. Лучшие из них умеют растворять свою личность в стремлениях этих избранников. Они развертывают свои силы только тогда, когда отстаивают свое право любить того, кого избрало сердце, но перед лицом любимого человека они отказываются от своей личности, от своей независимости, от активного проявления своей воли—точь-в-точь героини жорж-сандов-

ских романов, поднявшие революцию против мужского господства, но только в области сердечных отношений. Куда ушли богатые силы, которыми наделила природа Лизу, Наталью, Елену, Марианну? Каждая беззаветно отдавала их любимому человеку, и если те или иные причины разлучали ее с ним, она или уходила в монастырь, или выходила замуж без энтузиазма и страсти, или пропадала без цели на чужой стороне. Тургеневские женщины—продукт усадебной культуры. Им неведомы мечты о равных с мужчиной правах на образование и общественную деятельность. До Октября традиция литературная видела в них идеал женской красоты и силы. Отдаваясь беззаветно любимому человеку, растворяя в его стремлениях весь богатый мир своей души, тургеневская женщина взамен того предъявляет ему высокие требования. Она не легко удовлетворяется. Ее идеал слишком возвышен. Она больше мужчины полна предчувствием нового человека, ее сердце ждет того, «настоящего», которого не мог найти Тургенев в тогдашнем обществе. В своем страстном стремлении отыскать его она часто принимает свою грезу за действительность. Ее греза предупреждает действительность. Не только у Тургенева, но и у Гончарова и у Островского мы находим этот тип девушки с пламенной жаждой идеала, с неопределенной потребностью жертвы. Не знает, чего хочет, Ольга, но она чувствует, что в Обломове она любила свою собственную грезу, что не удовлетворит ее и Штольц, что не было еще в жизни того, чего неясно ждала ее душа. Томилась и погибла в «Грозе» Катерина, так и не выяснив порывов своего духа, стремившегося на широкий, вольный простор. Добролюбов считал появление такого типа залогом светлого будущего России. Тургенев увековечил эти образы, в наши дни для многих утратившие свое обаяние: далеко уже вперед ушла русская женщина и применяет свои силы на арене борьбы за свои и общие человеческие права, а не растрачивает их больше на то, чтобы итти за Рудиными и Инсаровыми или отмаливать грехи человечества. Но для своего времени Натальи и Елены были великой культурной силой. Пред их ясным умом обнажалось бессилие Рудиных и отвлеченный склад души Берсеневых. Их суда боялись мыслящие люди эпохи. С неподражаемой силой изобразил Тургенев это могучее

влияние женщины в лице Елены. Она—высшая судебная инстанция. С трепетом ждут ее решения и откровенно выдающий себя легкомысленный Шубин и скрытный Берсенев. Ее приговору незримо подчиняются все окружающие, и ценность каждого из них определяется степенью ее внимания и симпатии.

История девушки, рожденной в усадебной обстановке, изображена в «Дворянском гнезде». Родители мало входили во внутренний мир богатой души ребенка. Отданная на попечение гувернантки, ничтожного существа, Лиза нашла себе друга в лице няни, Агафьи Власьевны, воплотившей идею религиозного смирения, которое пустило такие глубокие корни в крепостническом быту и так идеализировалось писателями-дворянами. Агафья Власьевна поселила в душе Лизы то мистическое настроение, те религиозные и аскетические представления, которые царили в ее собственной душе. Она сообщала ей не сказки. «Мерным и ровным голосом рассказывает она житие пречистой девы, житие отшельников, угодников божиих, святых мучениц; говорит она Лизе, как жили святые в пустынях, как спасались, голод терпели и нужду,—и царей не боялись, Христа исповедывали; как им птицы небесные корм носили, и звери их слушались; как на тех местах, где кровь их падала, цветы вырастали». Холод и полусвет утра, свежесть и пустота церкви, в которую няня часто уводила ее, разбудив на заре, «самая таинственность этих неожиданных отлучек, осторожное возвращение в дом, в постельку,—вся эта смесь запрещенного, странного, святого потрясала девочку, проникала в глубь ее существа». Результат этого воспитания нетрудно было предвидеть. Лиза научилась жить внутренней жизнью, внешний мир занимал ее меньше, чем ее собственные мечты. В ее уме создалась та философия, которую подслушал раньше Тургенев у Лукерьи, Касьяна и Калиныча. Она верила, что составляет лишь частицу мироздания, что ее жизнь должна раствориться в мировой жизни, а ее счастье и радости должны быть принесены в жертву высшим целям божества. «Образ вездесущего, всезнающего бога с какой-то сладкой силой втеснялся в ее душу, наполнял ее чистым, благоговейным страхом, а Христос становился ей чем-то близким, знакомым, чуть ли не родным». Ее идеал—идеал чистого

аскетизма. Она бежит земных радостей и жажду счастья считает греховным стремлением, которое необходимо заглушить в себе. Она не дает человеку права судить человека, так как все мы ходим в грехе. «Вы должны простить, если хотите, чтобы вас простили»,—говорит она Лаврецкому по поводу его разрыва с женой. Ее страх перед земным счастьем, как перед чем-то греховным и преступным, обрисовывается в сцене ее объяснения с Лаврецким. Она боится отдаться счастью, которое улыбнулось ей на мгновенье, и тихо произносит: «Это все в божьей власти». И когда обнаруживается, что жена Лаврецкого жива, Лиза видит в этом подтверждение своей веры. Они должны искупить свой минутный порыв к счастью. «Теперь вы сами видите, что счастье зависит не от нас, а от бога». И Лиза требует, чтобы Лаврецкий «исполнил свой долг» и примирился с женой. «А в чем же ваш долг состоит?»—спрашивает, Лаврецкий. Пострижение Лизы в монастырь служит ответом на этот вопрос. «Счастье ко мне не шло; даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю, и свои грехи и чужие, и как папенька богатство нажил: я все знаю. Все это отмолить, отмолить надо... Отзывает меня что-то; тошно мне, хочется мне запереться навек». Старые аскетические идеалы средневековья звучат в этих словах. Мир погряз в грехе, и только мимо жизни, вне ее можно обрести спасение; к небу, а не к земле должен быть обращен взор человека; не в устроении земного личного счастья, а в жертве во имя высшей цели—долг человека. В этом непринятии жизни, в этом неумении и нежелании слиться с новыми задачами коренилось одно из самых своеобразных направлений мысли, возникших в эпоху ликвидации дворянской культуры,—то направление, которое нашло своего глубочайшего идеолога в лице Л. Н. Толстого. Его учение, стоящее в стороне от большой дороги жизни, его проповедь, проникнутая мыслью о примате мирового начала над личным и с пренебрежением отвращающаяся от суетной злобы дня,—это учение выросло из той же почвы, которая взрастила смирение Лукерьи, мечтательность Калиныча и мистическую веру Лизы.

Как ни далеко стоят от Лизы другие женские образы, созданные Тургеневым, но у них есть общая черта. Анализ,

внутренняя работа духа больше свойственны им, чем активная деятельность. Все они обладают силой и часто непоколебимой волей, но эта воля не направлена на активное вмешательство в жизнь, не претворяется в стремление пересоздать жизнь согласно своим идеалам. Эта воля у Лизы выражается в могучем усилии отречься от жизни. У Натальи она проявляется в беззаветной любви, в уменьи отречься от своей личности во имя любимого человека. Она так же, как и Лиза, любит мысль больше слова, свою мечту—больше действительности. «Она говорила мало, слушала и глядела внимательно, почти пристально,—точно она во всем хотела дать себе отчет. Она часто оставалась неподвижной, опускала руки и задумывалась; на лице ее выражалась тогда внутренняя работа мысли... Она чувствовала глубоко и сильно, но и тайно; она и в детстве редко плакала, а теперь даже вздыхала редко, и только бледнела слегка, когда что-нибудь ее огорчало». Для мечты и «внутренней работы мысли» нет надобности в другой обстановке, кроме барской усадьбы. Наталья так же сроднилась с ней и так же любила ее, как и Лиза. «Как можно скучать в деревне?—говорит она Рудину.—Я очень рада, что мы здесь. Я здесь очень счастлива». Ее любовь к Рудину—скорее жажда любви, чем любовь, скорее порыв к созданной ею мечте, чем сознательное влечение к правильно понятому человеку. Она с самого начала видит внутреннюю фальшь, скрывающуюся в словах Рудина. Она разоблачает ее на каждом шагу: и тогда, когда выражает свое удивление по поводу его замечания о желании отдохнуть, и тогда, когда на его слова о средствах восклицает: «Как вам не найти средства». Каждое слово Рудина говорит ей о том, что она ошиблась в нем. Последнее объяснение с ним окончательно раскрывает ей глаза: «Вы ли это, вы ли это, Рудин?» Она выше его своей силой, своей решительностью и уменьем бороться за свое счастье. Тогда как он умел только «покоряться» при столкновении с препятствиями, она умела ответить матери, что скорее умрет, чем выйдет за другого. Когда она шла на последнее свидание с Рудиным, она мысленно прощалась со своим домом и со всем прошедшим, которое было ей так дорого. Она не задумываясь последовала бы за ним. И все эти богатые душевные силы, вся эта могучая воля способны развернуться только

в одной сфере—в сфере любви. После отъезда Рудина для Натальи не существовало больше цели. «Ей так горько, и противно, и пошло казалось жить; так стыдно ей стало самой себя, своей любви, своей печали, что в это мгновенье она бы, вероятно, согласилась умереть». И Наталья кончила тем, что вышла замуж за Волынцева, который меньше всего мог удовлетворить ее требованиям. Автор не рассказывает подробностей об ее семейной жизни и ограничивается только коротким сообщением, которое вкладывает в уста Басистова: «Она спокойна, как всегда, но кажется довольна». Да еще в эпилоге Лежнев на вопрос Рудина, счастлива ли Наталья, отвечает утвердительно. Автору нечего сказать о своей героине. Ее сила, ее обаяние не находили себе больше простора с тех пор как она утратила любимого человека. И если дорог нам до сих пор этот поэтический женский образ, то потому, что любовь Натальи и ее слезы были первым симптомом пробуждения русской женщины, таким же пламенным и бесплодным порывом к жертве и идеалу, каким горела прогрессивная дворянская интеллигенция той эпохи. Когда Рудин пробудил в ней чувство любви, она «долго сидела в недоумении на своей кроватке» и «вдруг сжала руки и горько заплакала». «О чем она плакала—бог ведает!»—прибавляет автор. Но эти слезы, это томление были символом. Жизнь не могла развернуться еще в своем реальном значении перед всеми этими пробудившимися силами, но их пробуждение служило симптомом недалекой уже смерти отживающего строя.

То, на что была готова и способна Наталья, совершила Елена. Она сумела порвать с прошлым, со всей обстановкой, с которой она сроднилась, она, избалованная с детства, сумела пойти на лишения, бросилась в неведомое будущее, не побоялась превратностей изменчивой военной жизни. В ней больше порывистости, чем в Наталье. В ней больше жажды активного дела. «Чтение одно ее не удовлетворяло: она с детства жаждала деятельности, деятельного добра; нищие, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили; она видела их во сне, расспрашивала о них своих знакомых». Ее покровительством пользовались все притесняемые, вплоть до насекомых и гадов. Она рано завоевала себе независимость в доме. Но и благотворительность, и все то, в чем

находили себе применение ее силы, было только преддверием к настоящему проявлению этой активной силы, которая развернулась во всей своей красоте и обаянии только в чувстве любви. Всю жизнь до встречи с Инсаровым она искала дела и не знала, в чем оно. Она болела одной тоской со всей тогдашней интеллигенцией. Она чувствовала, что мало одного энтузиазма, мало одних высоких качеств, нужно применение их. «Быть доброй—этого мало; делать добро... да, это главное в жизни,—пишет она в своем дневнике. Но как это делать? «О, если бы кто-нибудь мне сказал: вот что ты должна делать»... Конечно, она не могла заглянуть в другие, недворянские слои русского общества, где уже начинали находить себе «дело» русские люди. Ее происхождение и окружающая среда скрыли от нее эти сферы. Ее богатые силы ушли на чужое дело, растворились в стремлении чужого человека. «Отчего он не русский?» И какие силы! «Нам придется терпеть унижения, опасности»...—говорил он. «Я люблю тебя»,—отвечала она. «Тебе придется отстать от всех твоих привычек... одна между чужими ты будешь работать».—«Я люблю тебя». И когда он умер, она писала родителям: «...Мне нет другой родины, кроме родины Димитрия... Я не знаю, что со мною будет, но я и после смерти Д. останусь верна его памяти, делу всей его жизни».

Из тургеневских героинь Марианна, на первый взгляд, ближе всех подходит под понятие передовой женщины в позднейшем смысле этого слова. Ее страдания и ее думы переходят далеко за пределы личного чувства. «Мне кажется иногда, что я страдаю за всех притесненных, бедных, жалких на Руси... Нет, не страдаю, а негодую за них, возмущаюсь... что я за них готова... голову сложить». Она рвалась в Сибирь, потому что ей «хотелось изведать самой, посмотреть собственными глазами, как живут ссыльные... загнанные». Она негодовала на себя «и на всех этих спокойных, зажиточных, сытых». При той общей тенденции, которую проводил Тургенев в «Нови», он, конечно, не мог отнестись сочувственно к ее революционной деятельности. Когда Нежданов рассказал ей о своих планах, «благодарность, гордость, преданность, решимость—вот чем переполнялась ее душа». Охваченная энтузиазмом, она, не задумываясь, представляет себя в распоряжение революционеров, готова служить об-

щему делу, «сделать все, что будет нужно, пойти, куда прикажут». Она отдавалась делу, которое в таком карикатурном виде изображено Тургеневым. Она не поняла, что слова Нежданова вовсе не были для нее указанием настоящего дела. Она бросилась на это дело только потому, что искала применения своим силам. «Жажда деятельности, жертвы, жертвы немедленной—вот чем томилась она». Она не понимала, что сочувствовала Нежданову не за то дело, которому он служил: она сочувствовала «той нравственной болезни, которой он страдал и которая не была чужда ей». Елену не занимала сама по себе Болгария, она отдалась этому чуждому ей делу только ради любимого человека. Так и Марианна шла за любимым человеком, а его дело оставалось ей чуждым, как оставалось оно, впрочем, чуждым и ему самому. Ее душе стал чужд Нежданов, когда она встретила более сильного человека—Соломина. Как не понял Тургенев революционеров, так не мог он изобразить и той женщины, которую искал,—женщины-деятельницы, умеющей ставить себе общественные задачи помимо мужчины, дающей исход своим идеальным порывам не только в отречении и любви.

Перед нами прошла вереница образов, нарисованных рукой великого художника. Этими образами поэт хотел поведать русскому обществу свои думы, указать пути. Где же настоящий Тургенев? Нашел ли он свой идеал, нашел ли «настоящего» человека, и действительно ли успокоилось его сердце, бившееся чувством пламенной любви к родной стране, когда он нашел Соломиных и им подобных? Было бы глубокой ошибкой ответить утвердительно на этот вопрос. Поэт-дворянин не мог найти в своей среде тех, кто повел бы Россию вперед. И итоги его дум получились грустные. Если бы оставалось какое-нибудь сомнение относительно общего миросозерцания Тургенева, то его «Стихотворения в прозе» совершенно рассеивают их. По проникающему их безнадежному пессимизму они могут сравниться только с «Диалогами» Леопарди, этим поэтическим памятником, возникшим в эпоху ликвидации дворянско-католического строя на Западе [1]).

Что такое толпа, что такое человечество, и как относится

---

[1]) См. мои «Очерки по ист. зап.-европ. лит.», т. II.

оно к своим друзьям, к тем, кто во имя его гибли в тюрьмах и на эшафотах; к тем, кто рассыпали перед ним сокровища своего духа, своего ума и таланта? Толпа встречает свистками и хохотом гениев и рукоплещет шарлатанам и подражателям («Два четверостишья»). Народ не понимает мучеников идеи, и когда слышит о том, что один из его защитников взошел на виселицу, каждый старается только о том, чтобы добыть веревку, которая удушит героя, потому что, по народному поверью, она принесет счастье («Чернорабочий и белоручка»). Автор не видит в мире ничего светлого. Люди насмеялись над самыми святыми чувствами, над благодарностью, дружбой, любовью. Верховное существо подводит друг к другу («Пир у верховного существа») двух прекрасных дам. Имя одной было «благодетельность», имя другой—«благодарность». Дамы несказанно удивились: с тех пор, как стоял свет, они встретились в первый раз. В мире торжествуют только клевета и глупость. Для человека не существует высшего удовольствия, как оклеветать своего ближнего («Довольный человек»). Безмозглый пошляк может прослыть за умника, если станет беззастенчиво ругать все и всех, потому что все боятся критики, потому что «житье дуракам между трусами» («Дурак»). К успеху в жизни кривые пути ведут вернее, чем прямые. Ни ум, ни богатство не обеспечивают так надежно карьеры юноши, как способность «нравиться старым женщинам» («Восточная легенда»). Только изредка взор поэта отдыхает на картинах любви и самоотвержения, на подвигах сострадания и жертвы. Он благоговеет перед маленькой героической птичкой, сумевшей грудью защитить своего птенчика перед грозной пастью рассвирепевшего животного, и думает о том, что «любовь сильнее смерти и страха смерти», что только «ею, только любовью держится и движется жизнь» («Воробей»). Он пишет восторженный гимн женщине, которая ушла от блеска великосветской жизни, от зависти дам и поклонения мужчин и умерла от тифа в походном госпитале, в болгарской деревушке, отдав все свои силы, все «заветные клады» своей души помощи ближним («Памяти Ю. П. Вревской»). Он преклоняется перед мужиком, который принял сироту в свой разоренный домишко, отказавшись для этого от последней роскоши: соли к похлебке («Два богача»). Но даже и эти

светлые картины, изредка мелькающие на сером фоне пошлости, корыстолюбия и эгоизма, не изменяют общего грустного настроения «стихотворений», и Тургенев создает своеобразную философию, которая не только по основным идеям, но даже по форме и сюжетам напоминает философию Infelicitá, развитую Леопарди в его «Диалогах». И у Тургенева, так же, как и итальянского пессимиста, человечество оказывается игрушкой в руках высших, издевающихся над ним сил. Род людской жалок и ничтожен перед лицом этих сил. Люди со своими страстями, желаниями и борьбою, мнящие себя царями природы,—еле видимые козявки перед вечностью. Как и Леопарди, Тургенев выводит гигантов, чтобы ярче оттенить ничтожество человеческого рода. В стихотворении «Разговор» беседуют две горы, Юнгфрау и Финстерааргорн, на которых еще не бывало человеческой ноги. От вопроса до ответа проходят тысячелетия—одна минута для обоих великанов. «Что там внизу?»—«Воды синеют; чернеют леса; сереют груды скученных камней; около них все еще копошатся козявки, знаешь, те двуножки, что еще ни разу не могли осквернить ни тебя, ни меня». Эти козявки—люди. Еще тысячелетия—одна минута для гигантов,—и воды сузились, реже стали леса, меньше стало «козявок», холод одевает землю. Еще минута—и вблизи «все прочистилось», только «вдали по долинам есть еще пятна, и шевелится что-то». Наконец, еще один последний взгляд—«опрятно стало везде, бело совсем, куда ни глянь... Везде наш снег, ровный снег, и лед, застыло все, хорошо теперь, спокойно». Так кончился разговор двух великанов. Они уснули. Спит зеленое светлое небо над навсегда замолкшей землей. Тысячелетия жизни человеческого рода, океаны слез и крови, заливавшие землю, радости, страдания, гений и творчество—все это перед лицом вечности—мимолетное явление, история которого исчерпывается двумя-тремя краткими фразами. Та же мысль о жестокости человеческого жребия и холодном равнодушии природы высказана в другом диалоге, «Природа», напоминающем леопардиевский диалог «Природа и исландец». «О чем твоя дума?—спрашивает человек Природу.—Не о будущих ли судьбах человечества размышляешь ты? Не о том ли, как ему дойти до возможного совершенства и счастья?» И каким сарказмом звучит ответ При-

роды, занимавшейся в это время вопросом об увеличении силы мышц блохи. «Разве мы, люди, не любимые дети твои?»—в изумлении восклицает человек. Он лепечет самые заповедные слова: «добро, разум, справедливость». Но Природа смеется над самонадеянным человеком. Все твари—ее дети. Она одинаково обо всех заботится и одинаково всех истребляет. Разум, справедливость, добро—эти слова, выдуманные человеком, для нее не закон. Она дала жизнь человеку, она отнимет ее и даст другим, червям или людям—ей все равно.

В этой грустной философии сверкают все те идеи, которые посещают человеческий ум всегда в эпохи кризиса. В них слышится отчаяние великого ума, не умеющего справиться с новыми задачами, выдвинутыми жизнью. И взор его уходит от земли, стремится проникнуть за пределы здешнего мира, там, в неведомых высотах, отыскать высшую силу, управляющую миром, поселившую слезы и отчаяние на земле. Пессимизм Тургенева—такое же бегство от большой дороги жизни, как сектантство графа Толстого, как эстетизм Тютчева и представителей чистого искусства, как вся эта дворянская литература, ушедшая от реального движения жизни, от естественно развивавшегося социального процесса.

VI.

Л. Н. Толстой и общество. — Великое недоразумение между ними. — Толстой и усадебная культура. — Вопрос о «перевороте» в миросозерцании Толстого. — Биография и история душевного развития Толстого. — «Детство, отрочество и юность».—Общий характер повести.—Николенька Иртеньев.— Черты светского человека в нем. — Его характер, наблюдательность, совестливость, самолюбие, застенчивость, воображение, склонность к анализу. — Типы из народа. — «Утро помещика». — Нехлюдов. — «Казаки». — Оленин.

«Весь» образованный мир преклоняется в настоящее время перед «великим писателем земли русской». Принято говорить, что Толстой стал совестью нового человечества, которое чтит в нем недосягаемую нравственную силу, неизмеримо высоко поднявшуюся над волнующимся житейским морем. Все великие русские художники, талант которых развивался в той же среде и в ту же эпоху, что и гений Толстого, подобно ему, не пошли за шумным течением жиз-

ни. Но никто из них не может сравниться с Толстым по силе нравственного влияния, которым он пользуется среди русского общества. Подобно многим своим сверстникам, он погрузился в глубины своего собственного духа, но в то время как одни кончили меланхолической мечтой о природе и человечестве, другие ушли в мир фантазии и красоты,— Толстой нашел исход своим деятельным силам в великой работе над нравственным усовершенствованием своей личности. Он не принес этих сил в жертву политической и общественной борьбе. Он ушел от нее, ушел от той арены, на которой разыгрывается скорбная драма нашего временного бытия, отдался своей вере с упрямством сектанта и в глубине своего собственного духа старался отыскать те вечные основы морали, которые одни, по его мнению, выведут человечество на путь истинной жизни. Общественное развитие и Толстой шли обособленными путями и никогда не сойдутся друг с другом. Поглощенные печалями и радостями минуты, идя к осуществлению материальных задач тернистым путем политической борьбы, тяжелыми жертвами завоевывая каждый шаг на пути к осуществлению социальной справедливости, люди не могут подняться на те высоты, откуда звучит пророческая проповедь мудрого старца о христианской любви и свободе. Жизнь не ждет. Измученные голодом, тупея от непосильного труда, загнанные в тьму невежественного и бессмысленного существования, угнетенные и эксплоатируемые не верят больше в силу проповеди и молитвы, не слушают больше призывов к смирению и терпению, не хотят думать о той высшей цели, которая так ясно видна счастливому и бесстрастному аристократическому духу Толстого. И, однако, слово Толстого, идущее из великого и искреннего сердца, направленное против всех форм насилия, против всех форм корысти и эксплоатации, с особенной силой чаще поражало сильных и корыстных своего времени. Великий проповедник, зовущий к смирению и отречению, к миру и братству, против воли своей сеял мятеж и разжигал злобу. Его слово, которое, по мысли его, должно поселить любовь и покой в сердцах людей, не раз гремело мятежным набатом, отдавалось раскатами революционной трубы по всему миру. Общество всегда пользовалось идеями великих умов для своих временных целей. Оно прочло

в «Ревизоре» смертный приговор старой крепостнической и бюрократической России, услышало призыв к борьбе против насилия и гнета. А творец «Ревизора» приглашал людей заглянуть в темный город их собственного духа, вспомнить о том высшем ревизоре, который рано или поздно предстанет перед ними в лице их совести. Толстой говорит о непротивлении злу, о том, что, поднявший меч от меча погибнет. Он имеет в виду одинаково и угнетателей и тех угнетенных, которые при помощи меча хотят избавиться от угнетателей. Но общество сроднилось с мыслью, что меч находится в руках только угнетателя, оно не видит меча в руках того, кто пользуется им против сильных в защиту слабых. И слово, направленное против всякой вражды и злобы, общество воспринимает посвоему и кует из него новое оружие против угнетателей и эксплоататоров. Вот почему так трепещут этого могучего слова властные и сильные и так чтят его угнетенные и эксплоатируемые, хотя оно часто направляется против тех и других одинаково, против всех злобствующих и враждующих. Вечное недоразумение между проповедником, чей взор смотрит в вечность, и страдающим человечеством, чье усилие направлено на исцеление невыносимых общественных недугов. Он требует реформы собственной личности, общество—реформы учреждений. Люди требуют ломки сковывающих их внешних условий, он приглашает их произвести ломку внутри их собственного духа. Они хотят политической революции, он зовет к революции сознания. Он говорит: уничтожьте в себе все суетное и ненужное, сохраните только истинно-человеческое и вечное, и тогда сами собой рушатся тюрьмы и распадутся цепи. Общество говорит: уничтожьте сначала тюрьмы и цепи, и тогда можно будет думать об истинно-человеческом и вечном. Мир всегда будет воспринимать его идеи только в тех практических целях, которые определяются интересами минуты, и Толстой до конца жизни оставался свидетелем того, что жизнь продолжает нестись мимо него неудержимым потоком, и не остановит этого потока его могучее слово, а, напротив, оно будет унесено его бурным стремлением; из этого слова удержится лишь то, что найдет себе место в общем движении, и человечество возьмет себе из сокровищницы этого богатого духа только то, что выдержит испытание

перед самым неумолимым судьею—историей, ход которой определяется меняющимися потребностями и интересами масс.

Усадебная культура, определившая общий тон литературной деятельности Толстого, повлияла не только в том отношении, что он до старости остался вне большой дороги жизни, остался «лишним человеком» в широком смысле этого слова, в том высшем моральном значении, которое всегда принадлежало мудрецам и «пророкам». Происхождение, воспитание и окружающая обстановка навсегда прикрепили мысль Толстого к деревне. Он не любит города. Подобно Тургеневу, Герцену и другим представителям просвещенного и гуманного барства, там, в глубине русской деревни, ищет невольно Толстой свои идеалы. Это влечение к деревне проникало творчество и Тургенева и Герцена, несмотря на их западничество, на их искания истины среди бурь и революций... Толстой только субъективнее и своеобразнее их. Он не заглушал голоса, идущего из глубины его собственного духа, звуками, доносящимися из чуждой обстановки, шумом цивилизации и сутолокой города. Толстой просто отверг эту цивилизацию. Если Тургенев уже нашел то слово—«дым», которым в уме мыслящего барства определялись стремления разных слоев русского общества, то в глазах Толстого тот путь, по которому идет оно, всегда будет путем греха и безумия. Толстой довел до логического конца то отрицательное отношение к новой русской действительности, которое было одним из главных элементов в творчестве Тургенева. В усадьбе и деревне, в их строе, в понятиях и вкусах, созданных здесь, ищет он той исходной точки, от которой может произойти истинная жизнь. Незаметно для самого автора его творения являются эпопеей дворянского хозяйства в эпоху крепостничества, картиной неурядиц и психологической смуты, возникших в деревне после освобождения. Незаметно для автора великий нравственный идеал, поставленный им перед человечеством, сложился из тех характерных черт русского крестьянина, которые были облюбованы гуманным русским барством и наличность которых превращала крепостнический строй в патриархально-идиллическое существование. Тургеневские Касьяны и Лукерьи—прототипы Платона Каратаева и работника. Позднейшая религиозная и моральная проповедь Толстого, его учение о

высшем существе и его целях, о непротивлении злу, об отречении, о долге и смирении,—все это мы уже слышали из уст Сучка, Лукерьи и Калиныча. Великие художники умеют свои личные впечатления превращать в глубокую оригинальную философию, при свете которой жизнь получает новые, раньше неизвестные цвета и формы. Свою болезнь и свою тоску Леопарди разлил по всему миру, и печальным стал мир, и эта болезнь и эта тоска, которая была бы личным незамеченным горем в лице простого человека, стала в душе гения новой философской возможностью, новой точкой зрения, с которой иной, еще неведомой, представились и жизнь, и история, и природа. Толстой—гениальнейший выразитель тех новых философских возможностей, которые возникли на почве великого экономического процесса. Его совесть—это жажда пробудившегося передового барства, которое почувствовало потребность заплатить свой долг за вековую эксплоатацию крестьянства, за целые столетия командования и праздного существования. Это пробуждение совести, наступающее всегда в эпоху потрясения господства известной группы Толстой как великий художник сумел превратить в факт мирового значения. Тоской этой совести он наполнил мир, великим заблуждением и наивной самонадеянностью объявил он желание одних людей устраивать судьбу других, стремление командовать и насаждать на земле счастье, дерзкую попытку человека брать на себя «дело бога». Великим преступлением провозгласил он эксплоатацию и праздность и всю искусственную цивилизацию с ее ненужной роскошью, извращенными вкусами, и противопоставил ей безыскусственную жизнь, ограниченные, простые потребности и несложные воззрения, которые он подсмотрел и подслушал на поле, на земле—единственном источнике, дающем питание человеку.

Философское учение Толстого возникло позднее и не принадлежит к занимающей нас эпохе. Но необходимо было забежать несколько вперед для того, чтобы убедиться, что грань, отделяющая его художественную деятельность от философской и публицистической, не так уже резка, и что позднейшие идеи Толстого не были неожиданностью, а развивались вполне естественно с самого начала его литературной деятельности. В своей «Исповеди» Толстой сам рассказывает историю этого «переворота», происшедшего в нем в 70-х го-

дах: «На меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать». Он увидал, что впереди «ничего нет, кроме погибели», он всеми силами «стремился прочь от жизни». Он боялся, что покончит жизнь самоубийством. Знакомая тоска—тоска Герцена и Тургенева. Вера в Россию спасла Герцена. «Общение с народом» спасло Толстого. Два года такого общения произвели «переворот». Ему опротивела жизнь его круга, который он определяет словами «богатые, ученые». В новом значении предстали перед ним «все наши действия, рассужденя, наука, искусство». Он понял, что все это—«баловство» и «искать смысла в этом нельзя». Был ли это «переворот»? Не был ли здесь скорее остественный ход развития, стремление «богатого, ученого» уйти к тем, трудами которых созидалась взрастившая его культура. Мережковский прав, когда замечает по поводу этого «переворота», засвидетельствованного самим Толстым и его близкими: «Трудно было бы усомниться в столь сильных и достоверных свидетельствах, если бы у нас не было источника еще более достоверного—собственных художественных произведений Толстого, которые, в сущности, от первого до последнего не что иное, как один пятидесятилетний дневник, одна бесконечно-подробная исповедь».

Детство графа Толстого, по тем впечатлениям, которые оно должно было заронить в душу ребенка, в существенных чертах напоминает уже известные нам детские годы Тургенева и Герцена. Та же уютная обстановка усадебного барства, те же теплые воспоминания о преданных дворовых, вводящих ребенка в духовный мир народа, гувернер, гувернантка соседей, наконец, тяжелые картины крепостного быта, изредка диссонансом врывающиеся в этот мир праздности и покоя,—таковы обычные впечатления, из которых складывалось это детство. Обстановка, окружавшая Толстого, быть может, только тем отличалась от обстановки, где рождались Лаврецкие и Рудины, что он принадлежал к высшему кругу, к высшим слоям русского дворянства, куда общественная и философская мысль проникала с большим трудом, чем в круги среднего дворянства, где мыслящий ум и чуткая совесть отдельных единиц особенно резко чувствовали бессодержательность и ненужность развертывавшегося перед ними

существования. Отец Толстого принадлежал к старинному знатному роду. Он был сыном казанского губернатора, которому пришлось взять место, так как он сильно пошатнул свое состояние пиршествами, балами и театрами, которые он устраивал в своем имении. После его смерти и женитьбы своего сына на Волконской, бабушка Л. Н. с его отцом поселилась в Ясной Поляне, родовом имении князей Волконских. Род князей Волконских, из которого происходила мать Толстого, принадлежит к числу старинных и знатнейших дворянских фамилий. Ее отец был генерал-аншефом при Екатерине II. Толстой родился 28 августа 1828 года в Ясной Поляне. Его мать умерла, когда ему было полтора года, но он сохранил о ней самое светлое воспоминание, хотя знал ее только по рассказам окружающих. «Она,—рассказывает Толстой,—представлялась мне таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эта молитва всегда помогала много». Отец Толстого проводил время преимущественно в занятиях по хозяйству. Он принадлежал к числу тех дворян эпохи наполеновских войн, которые несколько фрондировали николаевское правительство и не считали возможным служить. Отец остался в памяти Толстого в качестве независимого, ласкового и учтивого человека. Он долго помнил блестящие выезды отца на охоту, вечера, проведенные вместе с бабушкой, отцом и тетушками, раскладыванье пасьянсов,—словом, всю обычную обстановку барского быта. Ужасы крепостного права прошли мимо ребенка. Уже только после смерти отца Толстой узнал, что телесные наказания производились в их доме. Однажды он встретил кривого Кузьму, помощника кучера, «человека женатого и уже немолодого», поразившего детей «печальным видом». Оказалось, что Кузьму вели на гумно «наказывать». Мальчик испытывал «ужасное чувство», и когда рассказывал об этом тетушке, она упрекнула детей за то, что они не остановили возмутительного дела. «Ее слова,—рассказывает Толстой,—еще больше огорчили меня... Я никак не думал, чтобы мы могли вмешиваться в такое дело, а между тем оказывалось, что мы могли. Но уже было поздно, и ужасное дело было совершено». В общем, повидимому, Толстому не пришлось часто

переживать «ужасного чувства» при виде безобразных сцен, возникавших на почве крепостных отношений, и усадебно-крепостнический строй рисовался ему в виде светлой идиллии. «Не только моя мать, но и все окружавшие мое детство лица, от отца до кучеров, представляются мне исключительно хорошими людьми. Вероятно, мое чистое, любовное чувство, как яркий луч, открывало мне в людях (они всегда есть) лучшие их свойства, и то, что все люди эти казались мне исключительно хорошими, было гораздо ближе к правде, чем то, когда я видел одни их недостатки». Огромное влияние на Толстого имела его тетя Татьяна Александровна Ергольская, к которой он по временам испытывал «вспышки восторженно-умиленной любви». Это была прекрасно воспитанная женщина, заменившая ему мать и своей любовью к детям усилившая общее настроение любви и мира, складывавшееся в душе Толстого в Ясной Поляне. Она научила его «духовному наслаждению любви»: «она не словами, а всем своим существом заражала меня любовью». Далее, учитель-немец Федор Иванович Рессель, увековеченный в «Детстве» в лице Карла Ивановича, фигуры из народа, дворовые и юродивые, особенно полудурачок Аким, помощник садовника, навеявший в «Детстве» страницы, посвященные юродивому Грише, экономка Прасковья Исаевна, с которой списана в «Детстве» Наталья Саввишна,—таков был мир, окружавший ранние годы будущего писателя.

Толстому было девять лет, когда умер его отец, и его опекуншей сделалась его тетя, графиня Остен-Сакен. По смерти ее он перешел к другой тете, Юшковой, которая увезла его в Казань и вместе с его братьями отдала в университет. Толстому было 13 лет, когда его перевезли в Казань. Только после продолжительной предварительной подготовки он поступил в 1844 году на факультет восточных языков. Но ученье шло плохо. Толстой отдавал в это время дань молодости. В качестве родовитого молодого человека, с богатыми связями, он всюду был желанным гостем. Его видели на всех балах, великосветских собраниях и любительских спектаклях. Рассеянная светская жизнь мешала занятиям. Невысокое состояние тогдашней университетской науки тоже не могло содействовать возбуждению интереса к университетским занятиям, и Толстой покинул университет, не окончив его и

получив свидетельство, из которого следовало, что «в преимуществах по чинопроизводству» он сравнивается только «с лицами, получившими образование в средних учебных заведениях, и принадлежит ко второму разряду гражданских чиновников». В 1847 году Толстой поселился в Ясной Поляне с целью помогать своим крестьянам, пережив, повидимому, то душевное состояние, которое он изобразил в «Утре помещика». Подобно Нехлюдову, он убедился в бесплодности своих попыток, хотя мы и здесь не имеем свидетельства того, что Толстой понял главную причину всех неудач просвещенного и гуманного барства, главную помеху, препятствовавшую осуществлению его благих начинаний— именно самый факт существования крепостного права. Далее следует тот период жизни Толстого, о котором он сам писал в своей «Исповеди»: «Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей на войне, вызывал на дуэль, чтобы убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяние всех родов, пьянство, насилие, убийство... Не было преступления, которого бы я не совершал, и за все это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком. Так жил я десять лет!» В этой тираде подведен итог жизни и деятельности человека, принадлежавшего к высшим слоям дворянства. Это—самообличение, покаяние эксплоататора и тунеядца, нашедшего в себе достаточно мужества и благородства, чтобы назвать вещи своими именами, чтобы выставить в истинном свете жизнь, ужасы которой раскрылись перед проснувшейся совестью великого человека. Внешние факты в этот период его жизни несложны. После неудачной попытки устроить своих крестьян, он уезжает в Петербург, пытается то снова отдаться университетским занятиям, то хочет поступить на военную службу, то бросается в азартную карточную игру и предается такому разгулу, что несколько раз оказывается на краю гибели. Временами им овладевало мрачное отчаяние, он готов был на самые безумные поступки. Его спасла поездка на Кавказ, куда он уехал в 1851 году и где участвовал в войне с горцами, нередко подвергая свою жизнь смертельной опасности. Здесь, среди роскошной кавказской природы, сыгравшей такую великую

роль в развитии наших гениальнейших поэтов, среди полудиких, но цельных натур, в лице терских казаков, Толстой впервые ясно почувствовал свое призвание. Здесь была написана его первая повесть «История моего детства», напечатанная в 1852 году в «Современнике». С Кавказа он переводится в действующую против Турции армию и попадает затем в Севастополь во время осады, где снова его жизнь подвергается не раз серьезной опасности. На Кавказе ярко обнаружились те настроения, которые впоследствии станут главными настроениями Толстого: отрицательное отношение к культурной жизни и любовь к безыскусственному, простому существованию, близкому к природе. «Как вы мне все гадки и жалки!—пишет он своим знакомым.—Вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь! Надо раз испытать жизнь во всей ее безыскусственной красоте. Надо видеть и понимать, что я каждый день вижу перед собою: вечные неприступные снега гор и величавую женщину, в той первобытной красоте, в которой должна была выйти первая женщина из рук своего творца, и тогда ясно станет, кто себя губит, кто живет в правде или во лжи: вы или я. Коли б вы знали, как мне мерзки и жалки вы в вашем обольщении! Как только представятся мне, вместо моей хаты, моего леса и моей любви, эти гостиные, эти женщины с припомаженными волосами над подсунутыми чужими буклями, эти неестественно шевелящиеся губки, эти спрятанные и изуродованные слабые члены и этот лепет гостиных, обязанный быть разговором и не имеющий никаких прав на это,—мне становится невыносимо гадко... Поймите одно и поверьте одному. Надо видеть и понять, что такое правда и красота, и в прах разлетится все, что вы говорите и думаете, все ваши желания счастья и за меня и за себя».

После сдачи Севастополя в 1855 году Толстой приехал в Петербург, и как человек, уже успевший заявить себя даровитым писателем, был принят с распростертыми объятиями в кружке литераторов, группировавшихся около «Современника». В состав этих литераторов входили: Панаев, Некрасов, Тургенев, Островский, Гончаров, Григорович, Фет и другие. Но добрые отношения Толстого с петербургскими литераторами сохранялись недолго. Своеобразная натура Толстого, независимость его характера, не

позволявшие ему подчиняться всему, что носило хотя бы слабый отпечаток группы или кружковщины, скоро поставили его во враждебные отношения ко многим членам кружка. Аристократической натуре Толстого было чуждо и даже враждебно разночинское направление, преобладавшее среди тогдашних литераторов. Наконец, он не мог не видеть их недостатков, а между тем, искание нравственно совершенной личности среди всех колебаний и уклонений всегда оставалось внутренней потребностью Толстого. Впоследствии в своей «Исповеди» он писал, что взгляды этих писателей «под распущенность его жизни подставили теорию, которая ее оправдывала». Он убедился, что взгляды, усвоенные им вместе с ними, совершенно изгладили в нем «все его прежние попытки сделаться лучше». Они показались ему много ниже тех людей, которых он встречал в своей военной жизни, самоуверенными жрецами «веры писательской». «Люди эти мне опротивели, и сам себе я опротивел, и я понял, что вера эта—обман». И здесь Толстой почувствовал себя «лишним человеком». И здесь обнаружилась его основная черта (а вместе с ним черта всего передового гуманного барства этой эпохи)—неспособность к коллективной медленной работе, которая диктовалась ходом истории, отрицательное отношение к тем людям, среди которых намечались элементы ближайшего будущего, и одинокое стремление отыскать истину среди тех понятий и вкусов, с которыми с детства сроднилась его душа. Порвав с петербургскими литераторами и лишившись поддержки критики, которая стала замалчивать теперь его произведения, Толстой занял с этого момента совершенно особое место в русской литературе, вне всяких направлений и школ. Это место постепенно было признано за ним, и до конца жизни он сохранил его, не считаясь ни с чем, идя своей особой дорогой, часто поражая самые чтимые традиции и верования русского общества. Его жизнь после разрыва с петербургскими литераторами долго еще отмечается сомнениями и колебаниями. Он бросается в разные сферы деятельности. Он ищет применения своим силам, и долго на его деятельности отражаются типичные черты лишних людей. Он часто разочаровывается, переходит от одного дела к другому. Он возобновляет основанную им в Ясной Поляне школу, с изумительным

усердием изучает педагогическое дело. В 1861 году он принимает на себя обязанности мирового посредника, но вскоре покидает их, видя, что не в силах бороться с дворянами, противником которых он не раз выступал, защищая интересы крестьян. Его идеалы и стремления приобретают постепенно все более и более характер великих, но отвлеченных идеалов, неосуществимых в рамках реальной действительности, практически бесплодных для несовершенного человеческого общества. Он создает анархическую школу без малейшего намека на дисциплину, восстает против педагогических и научных традиций, требует полной свободы для народа в выборе нужных и полезных ему знаний, отрицает за интеллигентами право навязывать народу традиционные знания и чуждые ему убеждения. К педагогическому делу он возвращается несколько раз, пишет «Азбуку» для крестьянских детей, пропагандирует свои методы, вызывая подозрение правительства и раскол среди педагогов. В 1862 году Толстой женился, и с этого момента наступил тот период его жизни, о котором он сам написал следующее: «В эти 18 лет я жил правильной, честной семейной жизнью, не предаваясь никаким осуждаемым общественным мнением порокам, но все интересы мои ограничивались эгоистическими заботами о семье, об увеличении состояния, о приобретении литературного успеха и всякого рода удовольствиями». Из этих слов видно, что и мирная семейная жизнь Толстого не могла утолить его стремления к высшей, лучшей жизни, что и семья не заглушила голоса, ставившего в душе его немолчно вопрос о том, в чем заключается истинная жизнь и истинное дело человека,—вопрос, который был поставлен историей перед мыслящей частью дворянства и который Толстой разрешил в конце концов обращением к религии, свободной от мистицизма, суммирующей практические нравственные идеалы, обеспечивающие разумную и добрую жизнь на земле. Написанный втечение 60-х годов роман «Война и мир», а затем в 70-е годы—роман «Анна Каренина» свидетельствуют о том, как упорно его гениальный ум продолжал искать смысла жизни.

Семейное счастье не оказалось тем идеалом, который мог удовлетворить Толстого, и после 18 лет покоя и счастья он снова стал мучиться сомнениями и очутился лицом к лицу

с тем вопросом, который не переставал занимать его с первых лет его сознательной жизни. «Подобно тому, как на тлеющий костер,—говорит Бирюков,—наваливают кучу хвороста и он как будто тухнет, так и на Л. Н. во время его приближения к решению этого мирового вопроса навалилась куча земных благ: семейное счастье, слава, богатство, общественная деятельность, куча горючего материала, который должно было прожечь тлеющее под ним пламя. И, подобно Соломону на вершине славы своей, подобно царевичу Сиддарте, окруженному всеми благами и соблазнами мира, он прожег весь этот материал своим сознанием и сказал: все суета. Он снова остался перед вечным вопросом: зачем он живет и какой смысл жизни мира и его самого? Жизнь его остановилась, и он стал мучительно искать выхода из этого ужасного, безнадежного положения». Он нашел этот исход в вере, причем обратился к первоисточнику христианской религии—к Евангелию. Со своей обычной искренностью принялся он за изучение его текста, и на основании его создает свое толкование христианства, идущее вразрез с церковной традицией. Он пишет свои знаменитые книги «В чем моя вера» и «Царство божие внутри нас», в которых христианство трактуется не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание. Официальная церковь изгоняет его из своей среды, но учение его находит многочисленных сторонников во всех концах мира, и он приобретает беспримерный в истории нравственный авторитет среди читающего человечества.

Жизнь Толстого была беспрерывным исканием правды. Его творения были отражением этих исканий. В его первом произведении «Детство» изображено состояние его собственной души в детские годы. Биографы Толстого (особенно Левенфельд и Бирюков) достаточно выяснили, какие живые лица послужили оригиналами для фигур, выведенных в первой повести Толстого. Некоторые из них являются собирательными образами, в которых соединились типичные черты нескольких окружавших его лиц. В отце главного героя повести, Николеньки, Толстой изобразил Исленева, соседа по имению и приятеля своего действительного отца. Под именем Мими описана гувернантка соседей, под именем Катеньки—воспитанница, жившая в семье Л. Н., Дунечка Те-

мяшева. В лице Натальи Саввишны изображена Прасковья Исаевна, служившая экономкой в доме графов Толстых. Образ юродивого Гриши навеян фигурой полудурочка Акима, помощника садовника, и т. д. Но для нас важны не эти детали, важно не то, с какого живого лица списана та или другая черта художественного образа. Гамлет Шекспира тоже списан с современников (и критика даже отыскала его оригинал), но Гамлет стал, тем не менее, воплощением мук и сомнений своей эпохи и отражением меланхолии нового человечества. Первая повесть Толстого дорога нам прежде всего как поэтическая картина усадебного мира, которая вместе с «Сном Обломова» и главами, изображающими воспитание Лаврецкого, является великим культурным памятником. Дорога фигура главного героя, потому что его история—это первые шаги самого Толстого, это—картина условий, определивших один из путей, по которым развивалась мысль пробудившегося барства, та ветвь этого пути, которая не освещена у Герцена, Тургенева и других художников дореформенного дворянства. Без Николеньки Иртеньева мы не имели бы картины зарождения одного из самых крупных течений в истории этого дворянства, того течения, из которого в итоге получился сам Толстой и его последователи. Вспомните общее настроение тургеневских романов. Их герои росли в обстановке, где все удаляло от реальной действительности, где все подготовляло к бессилию перед жизнью, воспитывало будущих пессимистов и мечтателей. Григорович воплотил другую струю в развитии психики кающегося дворянства—его сантиментальные слезы перед страданиями крестьянина, его искусственную барскую скорбь по поводу этих страданий. У Тютчева, Фета и поэтов чистого искусства мы найдем то же удаление от жизни. Они воплотили третье течение, родственное тургеневскому, приведшее к культу фантазии и искусства, к гимнам во славу интенсивной жизни души. Толстого роднит с его собратьями общий признак—удаление от жизни, перемещение центра тяжести во внутреннюю жизнь души. Но он является выразителем нового течения в истории кающегося дворянства. Он не пошел ни по одному из указанных только что путей, хотя у него можно отметить черты каждого из них. С первых шагов своей сознательной жизни он начал интенсивно рабо-

тать над своим нравственным миром, и его первая повесть была отражением ранней стадии этой работы. При всем несходстве талантов Тургенева и Толстого они оба сходились в стремлении комментировать свои собственные произведения и выводимые ими образы—в стремлении не только изобразить развертывающуюся перед ними жизнь, но и отнести ее к общим началам, отчетливо подчеркнуть свое отношение к ней. Эта особенность вытекала из той задачи, которая стояла перед мыслящим дворянством накануне реформ. Уже первые критики Толстого указали на это сходство. П. Анненков в «Современнике» в 1855 году отметил тот любопытный факт, что и Тургенев и Толстой в своих первых произведениях избрали форму рассказа от собственного лица. «С нее начал Тургенев и на ней еще стоит гр. Л. Н. Т., два повествователя, весьма различные по качествам своим и по направлению, но сходные тем, что у обоих чувствуется присутствие мысли в рассказах»...

«Я убежден в том, что, ежели мне суждено прожить до глубокой старости, и рассказ мой догонит мой возраст, я стариком семидесяти лет буду точно так же невозможно-ребячески мечтать... Я убежден, что нет человеческого существа и возраста, лишенного этой благодетельной, утешительной способности мечтания». Эти слова из «Юности» являются программой жизни не только Толстого, но и всех писателей, выросших с ним в одну эпоху и в одинаковой атмосфере, вплоть до Тургенева и Фета. Непринятие жизни, мечта, противопоставленная ее грубому ходу,—такова общая основа их творчества.

В самом деле, что такое представляет собой трилогия Толстого, как не эпопею бесплодных попыток искреннего и совестливого ума примкнуть к той или иной стороне жизни. История Николеньки Иртеньева—это первое отрицание всех форм жизни, которое разовьется впоследствии в сложное учение, это первый могучий протест против призраков, за которыми гонится человечество, и призыв к внутренней нравственной работе, как к единственному исходу для мыслящего ума и чуткой совести. Николенька не живет, а анализирует. Он—раб своей среды и в то же время ее палач. Он одержим всеми ее предрассудками, он старается пройти весь путь, предназначенный великосветскому ребенку, а по-

том юноше, наслаждаться его удовольствиями, презирать его презрением, ненавидеть его ненавистью и любить его любовью. И этот путь не дается ему. Вступая на него, он разрушает его, потому что анализирующий ум и искреннее сердце видят фальшь и искусственный характер этого пути. Что было самым жестоким ударом для Николеньки, что особенно глубоко захватывало его в изображенные три периода его жизни? Все то, что задевало его как барина, как будущего светского человека, как существо, призванное блистать в обществе и наслаждаться балами, охотой и всякими барскими удовольствиями. Ребенком он не знает большего горя, как свое некрасивое лицо. Он молит бога «сделать чудо»—превратить его в красавца. Он готов за красивое лицо отдать «все, что имел в настоящем, все, что мог иметь в будущем». На него находят минуты отчаяния, он воображает, что «нет счастья на земле для человека с таким широким носом, толстыми губами и маленькими серыми глазами». Неудачное па во время мазурки приводит его в ужас. «Все презирают меня и всегда будут презирать. Мне закрыта дорога ко всему: к дружбе, любви, почестям... все пропало!» Вместе со своими высокорожденными товарищами он презирает Илиньку Грапа, «сына бедного иностранца», казавшегося ему «таким презренным существом, о котором не стоит ни жалеть, ни думать». Новый костюм, первый выезд на лошади, первый бал, нелепая подделка под светский разговор со своей маленькой дамой по кадрили—все это крупнейшие события в жизни Николеньки. Пройдут года, детство сменится юностью, но Николенька останется сыном своей среды. Во время университетского экзамена он будет чувствовать ненависть к профессору, несправедливо обидевшему его, притом чувство обиды усилится презрением к профессору за то, что, по его понятиям, он не был из людей comme il faut, в чем убедили Николеньку «его короткие, крепкие и круглые ногти». Став студентом, он думает «только о мундире, треугольной шляпе, собственных дрожках, собственной комнате и, главное, о собственной свободе». Он прежде всего отправится в модный магазин купить ненужные и непривлекающие его вещи, захочет порисоваться перед товарищем дрожками и своим костюмом, купит табаку и будет курить с отвращением до головокружения и обмо-

рока, лишь бы быть таким, как полагается быть в его кругу, пройти по шаблону тот этап, который проходят все.

Эфемерные светские удовольствия были той пристанью, куда прежде всего устремились деятельные духовные силы богато одаренного ребенка. Толстому нужно было показать крушение этих стремлений, показать, что для пробудившегося ума не могло быть удовлетворения в служении призрачным идеалам светского общества. Николенька обладает такими качествами, которые не дают ему погрязнуть в суетной светской жизни. Он одарен тонкой наблюдательностью, которая позволяет ему легко улавливать фальшь этой жизни. Его взор следит за каждым движением старших. Он видит, что крепостной Яков, усердный и преданный приказчик, фактически распоряжается его отцом. Он улавливает фальшивый тон в словах гостьи-княгини, которая старается непринужденно уверить его своенравную бабушку, что князь никак не мог приехать поздравить ее, «несмотря на сильнейшее желание» и т. д. Далее, он одарен чуткой совестью. Он чувствует неопределенные укоры ее всякий раз, когда «падает», т. е. всякий раз, когда под влиянием укоренившихся в нем светских воззрений делает дурной поступок. Тайная тоска грызет его после того как он с товарищами насмеялся над Илинькой Грапом. Он «не совсем был убежден, что все это так смешно и весело». Он не понимал, как он не подошел, не защитил, не утешил оскорбленного мальчика. И этот эпизод оставил «единственные темные пятна на страницах его детских воспоминаний». Эта чуткая совесть подсказала ему, что тот круг интересов, в котором он живет, представляет собою узкую эгоистическую сферу. В первый раз он ясно сознал это, когда Катенька сказала ему, что рано или поздно им придется расстаться: «Вы богаты—у вас есть Петровское, а мы бедные—у маменьки ничего нет». Тысячи «новых неясных мыслей» зароились в голове Николеньки, и ему «стало совестно» за свое богатство и за бедность своих друзей. «Что же такое, что мы богаты, а они бедны?—думал я,—и каким образом из этого вытекает необходимость разлуки. Отчего же нам не разделить поровну того, что мы имеем?» И в то же время «какой-то практический инстинкт» уже говорил ему, что Катенька права и что было бы неуместно объяснить ей свою мысль.

Пробудилась совесть, но не пробудилось сознание, как направить жизнь согласно ее указаниям. Николенька одарен не только наблюдательностью и чуткой совестью. В нем непомерно развито самолюбие, и в его груди бьется доброе сердце. Он болезненно страдает, когда старшие мальчики относятся к нему несколько свысока, как к младшему. Он любит Карла Ивановича и всех окружающих и плачет искренними слезами над каждым их горем. Это самолюбие порождает другое чувство—застенчивость. Его мысль все время работает над вопросом о том, как относятся к нему окружающие. Он запутался в этой работе. Она сковывает его движения и действия. Он боится сделать поступок, который может вызвать критическое отношение с их стороны. Не находя исхода в жизни, его деятельные духовные силы находят себе пищу в работе воображения. И в итоге в лице Николеньки в другой форме развивается уже известный нам тип «лишнего человека» с его основными признаками: бессилием перед практическими вопросами жизни, богатой внутренней жизнью, интенсивной работой ума, разъедающим мучительным анализом.

Николенька—будущий Толстой. Его первые шаги подготовляют основы того мировоззрения, которое разовьет автор «Войны и мира» в конце своей жизни. В светской жизни, в ее интересах, в ее суетных, пустых стремлениях он не нашел и не мог найти удовлетворения. Он не принял этой жизни. Он всеми силами старался пойти по проторенному веками пути, но он оказался выше его благодаря своему уму и чуткой совести. В чем же могли найти исход этот ум и эта совесть? Николенька мог последовать Тургеневу. Он мог дать себе «аннибалову клятву». Он мог хотя бы и детским умом понять, что ложь и бессодержательность той жизни, в которой он тщетно пытался найти удовлетворение, имеют свои причины. Он мог, подобно Тургеневу, почувствовать в себе тот общественный пыл, который подвинул многих его сверстников на подвиг общественной борьбы. Тем более, что ему не были чужды мысли, которые могли навести его на этот путь. Уже разговор с Катенькой заставил его призадуматься о судьбе людей, стоявших вне его круга. «Путешествие», с которого он считал начало своего отрочества, навело его на дальнейшие размышления в этом

направлении. «Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль, что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании». Эта мысль росла и ширилась по мере того как мчалась мимо него бесконечная колея русской жизни, которую он видел пока только из брички, увозившей его в Москву. «Когда я глядел на деревни и города, которые мы проезжали, в которых в каждом доме жило, по крайней мере, такое же семейство, как наше, на женщин, детей, которые с минутным любопытством смотрели на экипаж и навсегда исчезали из глаз, на лавочников, мужиков, которые не только не кланялись нам, как я привык видеть это в Петровском, но не удостаивали нас даже взглядом,— мне в первый раз пришел в голову вопрос, что же их может занимать, ежели они нисколько не заботятся о нас? И из этого вопроса возникли другие: как и чем они живут? как воспитывают своих детей? учат ли их? пускают ли играть? как наказывают? и т. д.». Вопрос был поставлен правильно. Именно в этом направлении работала мысль русской интеллигенции, не только возникающей разночинской, но и той дворянской, которая способна была совершить переход от традиций своего класса к новым задачам. Казалось бы, программа деятельности, вытекавшая из этих вопросов, была ясна. Исследовать русскую действительность, изучать практически жизнь народа, выяснять причины, обусловившие отрицательные стороны этой жизни, и отдать свои силы на борьбу с этими причинами, на служение народу—таково было логическое следствие, вытекавшее из поставленных юным умом вопросов. И мы знаем, что сверстники Николеньки старались разобраться в этих вопросах. Но в той среде, в которой вырос Николенька, мысль не могла направиться в сторону такого реалистического отношения к действительности. Достаточно вспомнить, какими красками изображена в повести Толстого история Натальи Саввишны, чтобы убедиться, что эти люди слишком свыклись со своими привилегиями, что они органически сроднились с мыслью о том, что массы крепостных людей должны растворять свою личность в их интересах и даже капризах, что у этих крепостных беско-

рыстие, добродетель, самоотвержение, все лучшие качества души могут расточаться только в ограниченной сфере рабского служения господам. Наталья Саввишна, заслужившая похвалы и награды господ за свою кротость и преданность в должности горничной и няни, осмелилась полюбить официанта Фоку и дерзнула попросить дедушку о разрешении выйти замуж. В наказание «за неблагодарность» несчастная была сослана на скотный двор в степную деревню. Даже того заглушенного протеста, который вызывали подобные возмутительные факты у Тургенева, мы не находим у Толстого. Детский ум Николеньки не был потрясен этой историей. Напротив, с трогательным сочувствием передает он дальнейшую историю Натальи Саввишны,—историю, которая является как бы многолетним искуплением греха молодости. Через шесть месяцев ее возвратили на прежнюю должность, «так как никто не мог заменить ее», и жестокий наивный эгоизм деспотов-бар не только не поселил в ее душе чувства возмущения; напротив, она упала в ноги дедушке, просила возвратить ей милость и ласку и «забыть ту дурь, которая на нее нашла было и которая, она клялась, уже более не возвратится». И дальше следует целая эпопея подвигов любви и самоотверженной преданности, история души, отрекшейся от счастья и собственной жизни и растворившей себя в чужих интересах и желаниях. Она расплакалась, когда ей за ее двадцатилетние труды предложили вольную и ежегодную пенсию. «Должно быть, я вам чем-нибудь противна, что вы меня со двора гоните». Рабы теряют все, даже желание разбить свои цепи,—такими словами заключил бы, может быть, враг крепостного права эту повесть о трогательном поступке Натальи Саввишны. Но ум барчонка не мог понять трагизма, таившегося в этом факте. Вот те слова, которыми сопровождает Иртеньев свой рассказ: «Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе: вся ее жизнь была любовью и самопожертвованием. Я так привык к ее бескорыстной, нежной любви к нам, что и не воображал, чтобы это могло быть иначе, нисколько не был ей благодарен и никогда не задавал себе вопроса: а что, счастлива ли она? довольна ли?»

Мы отметили те черты, из которых складывалось мировоззрение Иртеньева—Толстого. Это было, вопервых, бес-

плодное стремление погрузиться в суетную светскую жизнь и полное крушение этой попытки,—словом, непринятие жизни высших слоев народа, в которые впоследствии Толстой включил не одно только светское общество и которые объединил под названием «мы, люди ученые, богатые». Во-вторых, это было непонимание тех путей, которые вели к борьбе с этой ложной жизнью «людей ученых, богатых», чуждое, если не враждебное отношение к ломке внешних отношений, полное непонимание роли и значения крепостного права, говоря короче, это было непринятие общественного усилия. Наконец, втретьих, это было пробуждение ума и совести, стремление во что бы то ни стало найти выход. На этой последней черте и необходимо остановиться подробнее, чтобы понять, что первая повесть Толстого обнаруживает будущего мыслителя не только в отрицательной, но и в положительной части его учения.

В чем же заключается эта положительная сторона, поскольку она обнаружилась в первой повести? Это прежде всего преклонение перед народной верой и народной правдой. Свое нравственное учение Толстой подслушал у простых людей. Нетрудно уловить тот тайный оттенок иронии, то скрытое отрицание, которые сквозят в изображении высшего круга. Вся повесть, даже в эту раннюю пору жизни Толстого, ведется в таком тоне, точно что-то ненужное, что-то «ненастоящее» скрывается в жизни высшего круга и в хозяйственных распоряжениях отца, и в церемонии поздравления бабушки, и в забавах гостей, и в охоте, и в строгом этикете, царившем за столом, и в первых самостоятельных шагах, в первых молодеческих выходках мальчиков, ставших взрослыми. Но что-то глубокое и «настоящее» таится в жизни простых людей. Здесь Толстой не иронизирует, здесь серьезное выражение приобретает его лицо. Эти люди и живут и чувствуют понастоящему. В их жизни нет фальши. Особенно ярко эта идея проглядывает в описании скорби, которой была встречена в доме смерть матери. В проявлении горя у культурных людей всегда есть примесь чего-то искусственного, своего рода тщеславие. «Тщеславие в горести выражается желанием казаться или огорченными, или несчастными, или твердыми; и эти низкие желания, в которых мы не признаемся, но которые почти никогда—даже в

самой сильной печали—не оставляют нас, лишают ее силы, достоинства и искренности». Наталья Саввишна, которая была больше всех потрясена кончиной своей барыни, набросилась на Фоку, когда он потребовал восемь фунтов пшена, кричала, что не даст потачки за барское добро. Ум ребенка был поражен этим переходом от трогательного чувства к мелочным расчетам. Но впоследствии он понял, что в этой именно способности заниматься своим обычным делом заключалось отсутствие всякой фальши: «Горе так сильно подействовало на нее, что она не находила нужным скрывать, что может заниматься посторонними предметами». Вообще Наталья Саввишна оставила неизгладимый след в душе Иртеньева—Толстого. Она—прототип Платона Каратаева. В ней он нашел черты, из которых был создан впоследствии его идеал праведной жизни. Вся ее жизнь была любовь и самопожертвование. Вся ее жизнь была труд; она всегда была чем-нибудь занята: или вязала чулок, или рылась в сундуках, или считала белье. Вся ее жизнь была служением долгу; причем этот долг она понимала так, как будут понимать его впоследствии все толстовские праведники: без анализа, протеста и критики благоговейно склонялась перед волей высшего существа, пославшего ее в мир выполнять свое назначение на том месте, на котором она застала себя. Ей поручено хранить барское добро и служить господам. И она выполняет то и другое безраздумно и просто. Ей в голову не придет спросить себя, почему она должна была принести им в жертву себя, за что любила и благословляла тех людей, которые, в сущности, жестоко эксплоатировали ее. Смирение, отречение от личного счастья и страстей, отказ от самонадеянного вмешательства в предначертания божества, от гордого стремления перестраивать жизнь людей—таковы те элементы, которые лягут впоследствии в основу толстовского учения и которые впервые он уловил в русском народе. Типы из народа, выведенные в первой повести Толстого, уже говорят о направлении его исканий, о будущей проповеди опрощения. Насмешливый, когда речь идет о гостях, он с чувством почтительной робости склоняется перед верой народной; затаив дыхание, почти с мистическим страхом следит он за молитвой юродивого Гриши, и на всю жизнь остается в его памяти эта молитва. «Много

воды утекло с тех пор, много воспоминаний о былом потеряли для меня значение и стали смутными местами, даже и странник Гриша давно окончил свое последнее странствование, но впечатление, которое он произвел на меня, и чувство, которое возбудил, никогда не умрут в моей памяти. О, великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость бога; твоя любовь так велика, что слова сами собой лились из уст твоих,—ты их не поверял рассудком»...

Какой же вывод сложился в душе Иртеньева из разнородных детских впечатлений? Он нашел в юности своего друга в лице Дмитрия Нехлюдова, как нашел Герцен Огарева. Они тоже почти мальчиками дали друг другу клятву, как дали ее на Воробьевых горах Герцен и Огарев, как дал себе «аннибалову клятву» Тургенев, как давали ее тысячи других восторженных юношей дворянского круга, искавшие и не умевшие найти исхода своему благородному пылу, своей жажде подвига и жертвы, своему стремлению послужить народу. «Дадим себе слово признаваться во всем друг другу,—говорит Нехлюдов Иртеньеву.—Мы будем знать друг друга, и нам не будет совестно». Взаимная нравственная поддержка—вот в чем клялись друг другу два мальчика у Толстого. «Дружба с Дмитрием открыла мне новый взгляд на жизнь, ее цель и отношения. Сущность этого взгляда состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному усовершенствованию, и что усовершенствование это легко, возможно и вечно». Таков был вывод, который один оставался ясным и непреложным среди смуты, царившей в уме Иртеньева. Он, выше всего ценивший людей comme il faut, чувствовавший отвращение к тем, кто не удовлетворял этому требованию,—он в глубине души своей уже восставал против ложной жизни,—и первая повесть Толстого есть, в сущности, изображение первого шага на том пути, который рано или поздно должен привести человека к освобождению от сети лжи, опутавшей его душу. Это—первый протест против миросозерцания comme il faut, первая попытка поставить его перед судом народной правды.

«Утро помещика»—второй этап на этом пути. Если психология Иртеньева, по справедливому замечанию проф.

Овсянико-Куликовского, была не психологией обобщенного, общечеловеческого ребенка, а психологией русской великосветской помещичьей среды, прослеженной в трех возрастах, то в истории князя Нехлюдова мы находим продолжение личной душевной драмы Толстого в молодости. Не случайно этот «отрывок» появился между «Дневником лишнего человека» и «Рудиным». Герой «отрывка» князь Нехлюдов—тот же «лишний человек», тот же мученик совести, попавший со своим стремлением делать дело в безнадежно унылую полосу русской жизни, в эпоху безвременья, мрачные 50-е годы. Общее настроение «отрывка»—то же, что и в трилогии. Перед нами душевный мир великосветского барина с мыслящим умом и чуткой совестью. Перед нами не столько правдивая эпопея деревенского хозяйства, могущая вскрыть действие основного недуга тогдашней действительности—крепостного права, сколько картина чувств и настроений, царивших в душе бар в эпоху потрясения старых форм хозяйственной жизни. Внутренняя работа, совершавшаяся в душе Николеньки,—главный сюжет трилогии. Все действующие лица, все события не имеют самостоятельного значения. Они—фон, на котором автор ярко оттеняет единственно интересующий его вопрос—процесс нравственного развития своей души. «Утро помещика» преследует те же задачи. Было бы глубокой ошибкой думать, что Толстой имел в виду хотя бы даже те цели, которые преследовал Тургенев своими «Записками охотника», т. е. изображение тяжелого положения крепостного крестьянства. Мог ли Нехлюдов улучшить положение своих крестьян теми средствами, которыми он пользовался, или нужны были другие средства,—эта социальная сторона изображенного в «отрывке» исторического момента мало занимает Толстого. Центральная фигура—барин, а не крестьяне. Не *их*, а *его* муки занимают автора. Не подъем их экономического, нравственного и умственного состояния интересует его, а душевная драма пробудившегося барства. И новый акт этой драмы является новым торжеством излюбленных идей Толстого.

Князю Нехлюдову было 19 лет, когда он, прервав свой университетский курс, решил посвятить свою жизнь счастью своих крестьян, приехал в свою деревню и занялся делами своего расстроенного имения. Он убедился, что «главное

зло заключается в самом жалком бедственном положении мужиков, и зло такое, которое можно только исправить трудом и терпением». Он чувствовал в себе способность «быть хорошим хозяином». Он писал своей тетушке: «Зачем искать в другой сфере случаев быть полезным и делать добро, когда мне открывается такая благородная, ближайшая и блестящая обязанность». Он постиг, что единственное счастье, не зависящее от случая, счастье, принадлежащее человеку вполне, это—любовь и самопожертвование. Не прошло и года, и от его благородной мечты не осталось ничего. «Я недоволен, потому что я здесь не знаю счастья,—думал он через год,—а желаю, страстно желаю счастья. Я, не испытав наслаждений, уже отрезал от себя все, что дает их. Зачем? За что? Кому от этого стало легче? Правду писала тетка, что легче самому найти счастье, чем дать его другим. Разве богаче стали мои мужики? Образовались или развились нравственно? Нисколько. Им стало не легче, а мне с каждом днем становится тяжелее».

В чем же заключалась причина неудач Нехлюдова? Напомним главные эпизоды «отрывка». Когда крестьянин Чурис попросил у него «сошек», чтобы подпереть сараи, Нехлюдов, убедившись, что заплаты не помогут, что изба и сараи почти развалились и грозят гибелью семье Чуриса, предлагает мужику переселиться в одну из новых каменных изб, построенных на новом хуторе. Нехлюдов не мог подавить при этом самодовольной улыбки при мысли о благодеянии, которое он оказывает мужику. Чурис ответил на предложение барина плохо скрытой насмешкой и решительным отказом. Что заставило Чуриса отвергнуть благодеяние барина? Новые избы, которыми так гордился Нехлюдов, нисколько не привлекли крестьян. «Мудреные избы!—говорил Чурис.—Ребята смеялись, что не магазеи ли будут, от крыс хлеб засыпать. Избы важные!» Чурис слишком свыкся со своим полуразрушенным обиталищем, чтобы предпочесть ему те удобства, которые так ценил барский вкус Нехлюдова. Правда, недавно накатина с потолка разбила его бабу, и не сегодня-завтра обвалившаяся изба раздавит его самого. Но эта опасность, эти радости и печали—его родные радости и печали. Он не хочет избавиться от них ценою коренной ломки всех своих привычек и всего, что веками укреплялось

в душе крестьянина. Чтобы понять и полюбить преимущества новых изб, выстроенных Нехлюдовым, нужно было обладать барской, а не крестьянской психикой. Нехлюдов не спрашивал крестьян, когда строил новые избы. Он не понимал, что те удобства, которые ценил он, что те блага, которые бесспорны в глазах культурного общества, не являются удобствами и благами в глазах миллионов людей, вскормленных другими условиями, выросших в других понятиях. Он явился в деревню не помогать людям жить, а самонадеянным повелителем, который задумал перевернуть вверх дном вековые устои сложившегося порядка жизни. За его кротостью, за его любовью скрывается самодовольство капризного деспота. Правда, он не сечет своих крестьян за то, что они не желают быть счастливыми по его указке. Правда, он не переселит Чуриса насильно в новую избу, хотя мог бы это сделать. Но он едва сдерживает в себе чувство возмущения и злобы, когда эти люди проявляют полное равнодушие к привезенному из столицы счастью, и в конце концов между Нехлюдовым и теми господами, которые учили крестьян розгами усваивать «человеческие» понятия, разница не так уж велика. Само собой разумеется, что понятия Нехлюдова имеют больше права на имя общечеловеческих, чем понятия Чуриса. Но что мог бы возразить Нехлюдов на эту реплику своего мужика: «Здесь на миру место, место веселое, обычное: и дорога, и пруд тебе, белье, что ли, бабе стирать, скотину ли поить, и все наше заведение мужицкое, тут искони заведенное, и гумно, и огородишко, и ветлы—вот что мои родители садили, и батюшки наши здесь богу душу отдали, и мне только бы век тут свой кончить, ваше сиятельство, больше ничего не прошу. Буде милость твоя избу поправить, много довольны вашей милостью останемся; а нет, так и в старенькой свой век как-нибудь доживем. Заставь век бога молить, не сгоняй ты нас с гнезда насиженного». И повсюду, куда ни появлялся Нехлюдов со своими непрошенными благодеяниями, он наталкивался на стену идей, вкусов и понятий, чуждых и непонятных его барскому уму. Вековая гора, выросшая между народом и культурными классами общества, оставалась непроходимой, и тщетно гуманный и образованный барин одним ударом надеялся срыть то, что нарастало

втечение столетий. Нужды и страдания народа в его уме принимали не те формы, в которые облекал их ум самого народа. Вековое недоверие эксплоатируемых масс к их эксплоататорам давало себя чувствовать на каждом шагу. Ирония и скрытность—вот чем отвечали мужики Нехлюдову, который шел к ним с открытым сердцем. Повсюду он встречал это чуждое, непонятное, которое принимало вид чего-то страшного, неодолимого. Что должен был почувствовать Нехлюдов у другого мужика, лентяя Давыдки Белого, к которому он явился с проповедью труда, в тот момент, когда мать его грохнулась в ноги барину и обратилась к нему со своей просьбой, дико прозвучавшей в ушах Нехлюдова. Она умоляла его, чтобы он заставил силой девку Васютку выйти замуж за ее сына. Каким ужасным должно было показаться это средство гуманному сердцу культурного барина! А между тем в глазах крестьянки оно было единственным простым и естественным средством спасения гибнущей семьи. Но особенно ярко полная несостоятельность Нехлюдова обнаруживается в его предложении богатому мужику Дутлову. Дутлов занимался извозом и принадлежал к числу богатых мужиков. Нехлюдову показалось, что он может лучше устроить жизнь Дутлова и его семьи. Он хотел дать движение капиталу богатого мужика, лежавшему без движения. Нехлюдов предложил ему купить пополам рощу в казенном лесу и основать крупное хозяйственное предприятие. Но едва он заикнулся об этом, Дутлов пришел в сильное волнение и стал клятвенно уверять барина, что у него нет денег. Вековое недоверие к господам заговорило в его душе, ужас при одной мысли, что чуждая ему барская рука вмешается в его жизнь и захочет перекраивать ее посвоему,—все это превратило богатого мужика сразу в непроницаемую тайну, и Нехлюдов ушел от него с тем же чувством тайного стыда и недовольства.

И не разрешил своей задачи Нехлюдов. Почему? Его приказчик дал бы ясный ответ на этот вопрос. Он смеялся в душе над ненужными затеями и относился с снисходительной насмешкой к чудаку-барину. Он увидал бы причину его неудачи в том, что барин не умел выдавать насильно замуж крестьянских дочерей, не прибегал при случае к розгам и т. д.,—словом, не пользовался всем тем, что выте-

кает как неизбежное логическое следствие из самого факта существования рабства. Враги крепостного права нашли бы иной, но тоже ясный ответ. Они сказали бы, что Нехлюдов взялся за дело не с той стороны,—ему нужно было отпустить на волю своих крестьян, посвятить свои силы борьбе со страшным врагом, стоящим на пути к прогрессу и развитию России. Они сказали бы, что подачками нельзя искупить векового греха дворянства перед народом, что нельзя, с одной стороны, проповедывать уважение к труду и человеческому достоинству, а с другой—поддерживать строй, основанный на тунеядстве и попрании человеческого достоинства, что невозможно, с одной стороны, вносить в жизнь известной среды культурные понятия, прививать ей культурные потребности и формы существования, а с другой—держать ее в состоянии, враждебном всякой культуре. Хотел ли Толстой дать один из этих двух ответов, которые предложила бы крепостническая и передовая Россия, между которыми не было ничего общего, кроме того, что та и другая одинаково понимали значение борьбы, та и другая делали центром внимания жизнь и учреждения? Толстой стал вне этих борющихся сил. Он хотел сказать своей повестью совсем другое. Идея его повести выясняется в тех грезах, которые овладевают Нехлюдовым после горьких разочарований. В этих грезах светлой и красивой рисуется ему та самая жизнь, которую он хотел изменить. Ему чудятся добрые голубые глаза Чуриса, с нежностью глядящие на сынишку, в котором он видит не только сына, но и спасителя и помощника. «Вот это любовь»,—шепчет Нехлюдов. Вспоминается ему мать Юханки с выражением терпения и всепрощения в старческом лице. Чудится ему сын Дутлова Илья, которого он хотел удалить от его лошадей, прикрепив к задуманному им хозяйственному предприятию. Ясно представил он себе тройку потных лошадей и красивую сильную фигуру Илюшки с светлыми кудрями, весело блестящими узкими голубыми глазами, свежим румянцем и светлым пухом, только что начинающим покрывать его губу и подбородок. Простором и волей дышит жизнь ямщика. Тройки, несущиеся мимо с грохотом колес, звоном колокольчиков и криком, постоялые дворы с белолицыми широкогрудыми хозяйками, поэзия ночлегов под открытым небом,—вот что

хотел отнять он у Илюшки во имя чуждых ему предприятий, рожденных в культурном уме барина. «Славно!»—шепчет себе Нехлюдов, и мысль зачем он не Илюшка, тоже приходит ему. «Зачем он не Илюшка?» В этих словах итог, к которому пришел гуманный и просвещенный представитель поколебленного барства. Не учить народ, не переделывать его жизнь на свой культурный лад, а учиться у него, смириться перед его великой правдой—вот что рекомендует Толстой людям своего круга. «Отрешитесь от самонадеянной и гордой веры в свое право устраивать счастье чужих людей, не берите на себя дела бога, учитесь у простых, близких к природе людей их довольству и смирению пред высшей волей»,—слышим мы из каждой строки повести, в которой чувствуется будущий проповедник смирения и опрощения.

И та же идея, то же противопоставление фальши, проникающей жизнь культурного общества, и великой правды, сокрытой в безыскусственном, близком к природе существовании простых людей, составляет нерв одной из лучших повестей Толстого «Казаки». Эта повесть—продолжение автобиографии Толстого. Ее герой, Оленин,—следующая стадия в истории его развития. Оленин и казаки—два мира, столь же чуждые друг другу, как Нехлюдов и его крестьяне. Кавказ, его природа, являющаяся как бы могучей преградой, за которую не может проникнуть искусственная жизнь культурного общества, его обитатели с их ясными, простыми воззрениями на жизнь произвели умиротворяющее действие на душу Толстого, бежавшего сюда от бурь и потрясений столичной жизни. И этот момент своей внутренней истории он воплотил в лице Оленина. Герой повести—типичный светский человек, замиравший в присутствии всякой молодой красивой женщины, чувствовавший невольное удовольствие, когда ему оказывал на балу внимание такой знатный человек, как князь Сергей, отдавшийся и светской жизни, и карьере, и любви, и хозяйству. И, тем не менее, он не был удовлетворен. Он давно знал, что любви нет, что почести и звание—вздор. Он переживал тот же порыв к высшей жизни, что и Иртеньев и Нехлюдов. «Он раздумывал над тем, куда положить всю эту силу молодости, только раз в жизни бывающую в человеке,—на искусство ли, на науку ли, на любовь ли к женщине, или на практиче-

скую деятельность,—не силу ума, сердца, образования, а тот неповторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть сделать из себя все, что он хочет и как ему кажется, и из всего мира все, что ему хочется». Убегая от суетности и пустоты светской жизни, от ресторанного чада, карт и женщин, Оленин зачисляется юнкером в один из кавказских полков. На Кавказе он находит ту жизнь, которая предстала ему живым укором его прежней ложной жизни. «Никаких здесь нет бурок, стремнин, Амалат-беков, героев и злодеев,—думал он,—люди живут, как живет природа: умирают, родятся, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них нет». Здесь он познакомился с дядей Ерошкой, с сильным казаком огромного роста, с седою, как лунь, бородою. Ерошка был полон здоровым чувством жизни. Он верил, что «бог все сделал на радость человеку», что «ни в чем греха нет». Ему нет дела до национальной вражды и злобы. Он равнодушен к тому, что одни называют других гяурами, что татары ненавидят армян, армяне—татар. Всякий свой закон держит. Он любит всякого—«только бы пьяница был». Здесь, в тенистых зеленых садах, среди моря виноградника, со всех сторон слышались смех, песни, веселье, женские голоса и мелькали яркие цветные одежды женщин. Здесь он встретил и полюбил Марьянку, гордую красавицу-казачку, истинное дитя природы. Ее красота, ее женственная прелесть и сила заключались в могучем инстинкте жизни, в здоровьи и силе, в ее близости к природе. «Тяжелая непрестанная работа занимала всю жизнь молодой девки». Ранним утром, на заре она вскакивала, обмывала лицо холодной водой, укутывалась платком и босиком бежала к скотине.

Этот мир, в который окунулся Оленин, болезненное дитя светской культуры, произвел на него освежающее действие. Он пережил все то, что знакомо нам уже из душевной драмы Нехлюдова. Прежде всего он возненавидел светское общество, ложь и фальш его жизни. Он испытывал тяжелое, неприятное чувство, когда на Кавказ приехал его столичный знакомый князь Белецкий и привез с собою циничные разговоры о женщинах, французские фразы, мечты о чинах,

и на Оленина «пахнуло снова всей той гадостью, от которой он отрекся». Он написал уже известное нам письмо, звучавшее восторженным гимном в честь безыскусственной жизни и протестом против культурной лжи в стиле «Новой Элоизы»: «Как вы мне гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь» и т. д.

Другое чувство, овладевшее Олениным и тоже знакомое нам уже по трилогии и «отрывку», заключалось в сознании, что истинное счастье состоит в любви и жертве. Он понял, что счастье состоит в том, чтобы жить для других. «В человека вложена потребность счастья; стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, т. е. отыскивая для себя богатства, славы, удобств жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желаниям. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение». Наконец, еще одно чувство, которое наполнило душу Оленина,—это страстное стремление стать таким, какими были эти простые люди, и сознание бесплодности этих стремлений. Он полюбил Марьянку, но знал, что жениться на ней и перенести ее в ту среду, где царила ложь, было немыслимо. Не ей нужно было дойти до него и его круга, а ему следовало подняться до ее правды. Он с отчаянием спрашивал себя, как поступить. Сделать ее своей любовницей было бы убийством, сделать барыней, «женой Дмитрия Андреевича»—было бы еще хуже. И мучительный крик вырывается из его груди. «Ах зачем я не Илюшка?»—думал Нехлюдов. «Вот ежели бы я мог сделаться казаком, Лукашкой,—думает Оленин,—красть табуны, напиваться чихирю, заливаться песнями, убивать людей и пьяным влезать к ней в окно на ночку, без мысли о том, кто я и зачем я,—тогда бы другое дело, тогда бы мы могли понять друг друга, тогда бы я мог быть счастлив». И он пробовал отдаваться этой жизни, но чувствовал «свою слабость, свою изломанность». Он не мог забыть своего «сложного, уродливого, негармонического прошедшего».

Таков был Толстой в 50-е годы, в печальную полосу русской истории, в эпоху, когда не один он метался в бессильных поисках счастья и истинного дела, когда не один

мыслящий дворянин искал исхода своим благородным порывам, своей жажде добра и жертвы. Уже в первых повестях обозначился тот путь, по которому направлялась эта гениальная натура. Втечение следующего десятилетия, в эпоху 60-х годов, он создает великую эпопею, окрашивающую широкий поток жизни тем же основным настроением.

VII.

«Война и мир» как глубочайшее выражение нравственных воззрений Толстого.—Наполеон.—Кутузов.—Платон Каратаев.—История душевного развития князя Андрея Болконского и Пьера Безухова.—Изображение высшего дворянства в «Анне Карениной». — Его упадок. — Каренин.— Облонский.— Граф Вронский.— Левин как выразитель идеалов Толстого.— Идеал женщины у Толстого.—Заключение.

«Война и мир»—величайшее из произведений Толстого. Это не только грандиозная картина русской жизни в одну из знаменитейших эпох нашей истории, не только богатая галлерея национальных типов и неиссякаемый источник для понимания внутреннего мира человека. Это—наиболее глубокое выражение философских и нравственных идеалов Толстого. Столкновение двух народов или, вернее, Наполеона и России послужило для нашего писателя фоном, на котором он изобразил конфликт двух нравственных начал—борьбу гордой личности, дерзающей вершить судьбы человечества, и покорного смирения перед целями высшей силы. Победа России над Наполеоном в величественной эпопее Толстого является не только реальной победой одного народа над другим. Это—торжество той нравственной идеи, носителем которой Толстой считает русский народ. Эта идея сказывается и в солдатских сценах, в серьезном и смиренном отношении к долгу простых людей, и в распоряжениях Кутузова, и в глубокой нравственной работе, которая совершается в душе Пьера и в душе Андрея, и в преклонении перед простой правдой Платона Каратаева. Все части картины расположены так, что образуют гармоническое целое, и временами кажется, что все герои и движущиеся друг против друга массы—только проявления высшей силы, раскрывающейся в них, и роман Толстого представляется не реальным творением, а символической картиной, полной таинственного смысла. «Глубокое и верное духу народа

чутье,—говорит Мережковский,—указало Толстому на изображение борьбы России с Наполеоном как на самую высшую задачу для современного художника. Трудность ее соответствовала величию главным образом потому, что трудность эта была двойная—требовала взаимодействия двух равных и противоположных сил, из которых каждая в отдельности встречается редко, двух направлений философского и художественного созерцания: предстояло изобразить не только океан стихии народной во всей широте его, до последних горизонтов, но и самую уединенную, обособленную вершину, острие человеческой личности, сознание и волю героя, во всей высоте их, до последней высшей точки, до обожествленного я, ибо в изображенной трагедии было два главных действующих лица, два борющихся противника—Россия и Наполеон. И только из совершенного созерцания этих обоих действующих лиц могло проистекать совершенное созерцание самого практического действия, только по силе удара можно было судить о силе сопротивления, по размаху молота, уже занесенного, чтобы «раздавить Россию»,—о твердости камня, о который страшный молот разбился вдребезги, по величию Наполеона—о величии России. Одного нельзя было понять, одного нельзя было изобразить без другого».

Величие Наполеона и его поражение представляют собою картину, полную не только драматического интереса, но и глубокого нравственного смысла. Мастерскими штрихами обрисовал Толстой фигуру самонадеянного властителя Франции, упоенного успехом, ослепленного славой и приписывающего своей личности движение исторических событий. Даже в незаметных сценах, в малейших жестах чувствуется безумная гордость ничтожества, самомнение человека, привыкшего верить, что каждое движение его руки рассыпает счастье или сеет горе среди тысяч людей. Небрежной рукой прикрепляет он орден Почетного Легиона к груди храбрейшего из русских солдат после Тильзита. «Как будто бы Наполеон знал, что для того, чтобы навсегда этот солдат был счастлив, награжден и отличен от всех в мире, нужно было только, чтобы его, наполеонова рука удостоила дотронуться до груди солдата. Наполеон только приложил крест к груди Лазарева и, опустив руку, обратился к Александру, как

будто он знал, что крест должен прилипнуть к груди Лазарева». И крест действительно прилип, потому что русские и французские услужливые руки, мгновенно подхватив крест, прицепили его к мундиру. Раболепие окружающих вознесло «маленького человека» на такую высь, что он действительно верил в свою способность изменять ход истории и влиять на судьбы народов. Он привык, что «присутствие его на всех концах мира от Африки до степей Московии одинаково поражает и повергает людей в безумие самозабвения». Это бездушное величие, не сознающее своего ничтожества, особенно ярко проявляется во время свидания Наполеона с Балашовым перед началом войны двенадцатого года. Он встретил обычным приветствием посла императора Александра, но он говорил с ним как «человек, дорожащий всякой минутой своего времени и не снисходящий до того, чтобы приготавливать свои речи, а уверенный в том, что он всегда скажет хорошо и что нужно сказать». Во время разговора он смотрел мимо Балашова. Было очевидно, что личность этого последнего нисколько не интересовала Наполеона. «Видно было, что только то, что происходило в его душе, имело интерес для него. Все, что было вне его, не имело для него значения, потому что все в мире, как ему казалось, зависело только от его воли». Наполеон был до того влюблен в себя, что в разговоре с Балашовым держал себя так, словно перед ним стоял человек, который сочувствовал ему во всем, радовался его торжеству и оскорблениям, расточаемым им по адресу императора Александра. В минуту гнева он вышел из себя, говорил вещи, за которые, по мнению Балашова, он должен был устыдиться впоследствии. Но при новой встрече с послом Наполеон не только не чувствовал никакой неловкости, а, напротив, старался ободрить Балашова. Видно было, что он давно уже не верил в возможность ошибок с своей стороны: «в его понятии все, что он делал, было хорошо не потому, что оно сходилось с представлением того, что хорошо и дурно, но потому, что он делал это». На почтительные попытки возразить Наполеон обращался к Балашову с таким видом, словно хотел сказать: «Знаю, так говорить ваша обязанность, но вы сами в это не верите, вы убеждены мною». Слово «я» — любимое слово Наполеона. Указывая Балашову на те выгоды,

которые Россия могла извлечь из дружбы с ним, он не замечает даже, какое оскорбление наносит императору Александру фразами вроде следующих: «Я дал бы вашему государю эти провинции (Молдавию и Валахию) так же, как я дал ему Финляндию», или: «Всем этим он был бы обязан моей дружбе. О, какое прекрасное было царствование»! И на поле битвы и в те моменты, когда он обдумывает диспозицию будущего сражения, Наполеон чувствует себя творцом событий, центром мира, предметом общего внимания.

Этому гордому самомнению, этой ослепленной личности, скользящей над бездной, противопоставлена другая сила в лице вождя русской армии. Кутузов—антипод Наполеона. Он—национальный герой не только в историческом значении этого слова, но и в высшем, символическом смысле. Он—не только победитель Наполеона на поле битвы. Он—победитель его на том высшем поле, где происходит борьба вечных нравственных начал. Он—носитель той идеи, которую Толстой считал выражением народной правды. В противоположность Наполеону, «в этом старике» не было ничего личного. «У него не будет ничего своего,—думал про него князь Андрей.—Он ничего не придумает, ничего не предпримет, но он все выслушает, все запомнит, все поставит на свое место, ничему полезному не помешает и ничего вредного не позволит. Он понимает, что есть что-то сильнее и значительнее его воли,—это неизбежный ход событий; и он умеет видеть, умеет понимать их значение и, ввиду этого значения, умеет отрекаться от участия в этих событиях, от своей личной воли, направленной на другое. А главное, почему веришь ему—это то, что он русский»... В этой характеристике национального героя Толстой снова выступает апологетом нравственного принципа, господствующего в его повестях. Личное должно отступить на задний план перед тем, что «сильнее и значительнее» его воли. Победа Кутузова, это—победа Христа над Антихристом, отречения и смирения—над гордой, мятежной личностью. Долголетним военным опытом Кутузов знал и старческим умом понимал, что руководить сотнями тысяч человек, борющихся со смертью, нельзя одному человеку, и знал, что решают участь сражения не распоряжения главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а неуло-

вимая сила, называемая духом войска, и он следил за этой силой и руководил ею, насколько это было в его власти. И этим чувством смирения перед высшей силой, этим «отсутствием личного» велики все действующие лица разыгрывающейся трагедии, от главнокомандующего до последнего солдата. Только некоторые офицеры, адъютанты и приближенные Кутузова своими честолюбивыми планами, своими мечтами о карьере составляют исключение. Настоящие победители—это герои вроде Тушина, просто исполняющего свой долг, растворяющего свою личность в общем деле. Тушин совершенно забывает о своем *я*. Он—частица великого целого. Не рассуждая, не мечтая об отличии, он ежеминутно рискует жизнью, и, только очутившись перед лицом своего начальника, приходит в себя и начинает чувствовать себя личностью, воля которой могла оказать то или другое влияние на ход событий.

Но лучшим выражением идеалов Толстого является фигура Платона Каратаева. Один из критиков назвал Кутузова Каратаевым в фельдмаршальском мундире. И действительно, Каратаев был таким же проявлением народного духа, как Кутузов—выразителем народной воли. Оба—орудия стихийного, неотразимого—народной массы, жизни миллионов. Каратаев—крестьянин, и его миросозерцание сложилось на основах крестьянского или, как он выговаривал, «хрестианского» быта. Какие же идеи заключает в себе миросозерцание Каратаева? Прежде всего—идею счастья, для которого создан человек, того счастья, которое заключается в нем самом, в удовлетворении естественных человеческих потребностей. Каратаев счастлив. Никто в мире не в состоянии нарушить его счастье, потому что несчастье проистекает от излишеств, чуждых Каратаеву. Те потребности, удовлетворение которых необходимо для существования человека, Каратаев всегда может удовлетворить сам. Он всегда за делом. Он занят тем нормальным трудом, который обеспечивает человеку жизнь и здоровье. Он пек, варил, шил, строгал, тачал сапоги. Он никогда никого не утруждал, так как эти разнообразные житейские знания позволяли ему добывать все необходимое. Эта простота потребностей и привычка к полезному труду давали ему независимость, обеспечивали счастье и здоровье; несмотря на то, что ему было за пятьдесят лет, он не знал

утомления и шутя переносил лишения в плену. И этому счастью позавидовал Пьер, как позавидовал Нехлюдов Илье и Оленин—казакам. Тоскующий барин, не находивший себе места, не умевший найти исхода своим силам, увидел что-то глубокое и серьезное в этой простой и ясной жизни крестьянина. «Пьеру чувствовалось что-то приятное, успокоительное и круглое в этих скорых движениях, в этом благоустроенном в углу его хозяйстве, в запахе даже этого человека»... Этот «эпикуреизм» Каратаева, это довольство и личное счастье не только не противоречат идее жертвы и отречения от своей личности, но, напротив, гармонически сливаются с нею. «Не нашим умом, а божьим судом»—девиз Каратаева. Все моменты его жизни не были его творением. Его судьбу решили другие. Вместо брата взяли его в солдаты. В минуту усталости застрелили его французские солдаты. Каратаев не роптал. Он верил, что где-то в высшем мире ход жизни определялся в целях высшей справедливости, верил, что «рок головы ищет», и с умилением рассказывает историю о купце, который за преступление другого человека умер на каторге, не дождавшись освобождения и награды, назначенной ему после обнаружения его невинности. «А его уж бог простил—помер»,—закончил Каратаев свой рассказ о купце. Это смирение перед высшим законом жизни, перед божьей правдой, дает Каратаеву великую силу любви ко всему живущему. Он одинаково ласков и с Пьером и с собачкой, он любит все, в чем слышится трепет жизни, подобно Касьяну и Лукерье. И любовь его и ласковость особенные. В этой любви тоже отсутствовала примесь личного. Он любил в каждой личности проявление высшего начала и потому не привязывался ни к кому особенно. Привязанностей, дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не имел никаких; но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком,—не с известным каким-нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера, который был его соседом в плену. И в то же время Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю ласковую нежность к нему, ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним. Несмотря на то, что потребности Каратаева ограничены

самым необходимым, не следует думать, что жизнь его сводится к примитивным, почти животным интересам. Каратаев живет не только глубокой нравственной, но и эстетической жизнью. Он любит песни. Но эстетическая жизнь его души носит тоже своеобразный отпечаток, чуждый искусственному творчеству культурного общества. Его песня свободна от сложных требований техники, от мысли о постороннем слушателе. Она—естественная потребность здоровой натуры после нормального утомления от трудов. Он поет только по ночам, после работы. Он пел песни не так, как поют песенники, знающие, что их слушают, но пел так, как поют птицы, очевидно, потому, что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться или расходиться; и звуки эти всегда бывали тонкие, нежные, почти женские, заунывные, и лицо его приэтом бывало очень серьезно. Каратаев—носитель идеалов Толстого. Он—живое воплощение его будущей религиозно-нравственной системы, его философских и эстетических идей. Он—носитель того миросозерцания, которое отыскал Толстой в крестьянской жизни, которое спасло его от отчаяния, как спасло прикосновение к народу многих бар той эпохи, как спасло оно Пьера, познавшего истину после знакомства с Каратаевым. Это—учение о любви и жертве, об отречении, но отречении не от естественной потребности счастья, а от излишеств и вкусов, привитых господствующим классам, как думает Толстой, ложной цивилизацией. Проповедь Толстого не является проповедью чистого буддизма или аскетизма, так же, как эпикуреизма. Его учение, по верному замечанию одного критика (Л. Е. Оболенского), есть «слитие воедино этих обоих полюсов человеческой морали», в ней примиряется и то, что наша жизнь имеет смысл только в связи с бесконечным (буддизм), и то, что о ней следует заботиться... в том смысле, чтобы, эта жизнь выполняла божественный закон, т. е. развивала те блага, которые сообразны этому закону, и устраняла те, которые ему противоречат... тогда она станет не только временной и земной, но и божественной, вечной в смысле вечности божественного закона».

Каратаев, Кутузов, Тушин, солдаты, наконец, вся стихийная борьба русского народа против Наполеона являются, таким образом, только частями общей символической карти-

ны, изображающей торжество народной правды над идеалами ложной культуры. В этой картине недоставало бы самого главного эпизода, если бы Толстой не показал, как к этой правде приводится душа интеллигента, и даже не интеллигента вообще, а интеллигента-барина, представителя великосветского общества. История духовного развития двух главных героев романа, князя Андрея Болконского и Пьера Безухова,—это история Иртеньева и Нехлюдова, только более глубоко и детально разработанная. Это в новой форме знакомая нам история души пробудившегося барства в эпоху ликвидации старого хозяйственного уклада жизни.

Князь Андрей от идеала гордой, самонадеянной личности в начале романа через путь страданий и житейского опыта приходит к идеалу христианской любви и смирения перед высшей правдой в конце своей жизни. В первый раз мы видим его блестящим офицером. Он отправляется на войну. Наполеон—предмет его зависти. Он сгорает от честолюбия. Он одержим той сатанинской гордостью, которая толкает человека на вмешательство в жизнь, заражает его, по мнению Толстого, безумной мыслью, будто личность может изменить ход того неотвратимого, что зовется жизнью. Андрей мечтает один перевернуть судьбы народов, своими силами повернуть колесо истории. Накануне Аустерлицкой битвы он мечтает о своем «Тулоне», о том счастливом случае, который выдвинет его в первые ряды людей, вершащих судьбы России. Ему чудится опасный момент сражения. Все растерялись. Он один указывает выход, один оказывается в состоянии выполнить его, ему предоставляют полную власть, он спасает армию, он герой, следующую битву уже выигрывает один. «Ну, а потом?»—шепчет ему тайный голос. И он не находит ответа. Он не ищет его. Величайшее, по мнению Толстого, заблуждение человеческого ума—вера в способность личности влиять на судьбу людей—находит в князе Андрее свое высшее выражение. «Я не знаю, что будет потом, не хочу и не могу знать, но ежели хочу этого, хочу славы, хочу быть известным людям, хочу быть любимым ими, то ведь я не виноват, что я хочу этого, что одного этого я хочу, для одного этого я живу. Да, для одного этого!» Он ничего не любит, «как только славу и любовь людскую». Как ни дороги ему близкие люди—отец, сестра, жена,

но он отдал бы их всех за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых он не знает и не будет знать. И роман Толстого должен был показать, как пришел Андрей к сознанию нелепости подобного мировоззрения. Именно на поле битвы, при виде потоков крови и страданий, при виде сражений, ход которых определялся не усилиями личности, а какой-то неведомой волей, стал исцеляться Андрей от своих индивидуалистических воззрений. Слушая приказания Багратиона, он, «к удивлению, замечал, что приказаний никаких отдаваемо не было», и князь Багратион только делал вид, что все, совершавшееся помимо его воли, согласовалось с его намерениями. Следя за ходом битвы, князь Андрей убеждался, как мало значила предусмотрительность вождей, тщательно обдуманные планы единичных умов, те технические термины, в которые военная наука укладывает различные моменты сражения. Действительность была сильнее всего. Она отливалась в такие неожиданные формы, которые опрокидывали все усилия единичной воли, все измышления отдельного ума. Он видит, что солдаты производят какие-то действия: «Это не может быть атака, потому что они не двигаются, это не может быть карре: они не так стоят». Он слушает доклад полкового командира Багратиону об отбитии атаки французов, но чувствует, что полковой командир «придумал это военное название тому, что происходило в его полку, но он действительно сам не знал, что происходило в эти полчаса во вверенных ему войсках». Он глубоко задумывается после инцидента с Тушиным. Он видит, что истинный героизм прячется в массе и чуждается славы, что официальное признание, которого он так жаждал, и истинный подвиг—совершенно чуждые друг другу начала, и князю Андрею было грустно и тяжело: «все это было так странно, так не похоже на то, на что он надеялся». Полученная им рана оставила в душе Андрея глубокий след. Истекая кровью, он понял, что «ничего не знал до сих пор». Наполеон со своим мелким тщеславием и радостью победы показался ему мелочным, и он думал о ничтожности величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и об еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих». Андрей, благодаря войне и страданию, прошел вто-

рой этап своего развития. Он почувствовал, что первый этап был ложью, что жажда славы была заблуждением. Для него наступил период исканий,—«как хорошо было бы знать, где искать помощи в этой жизни и чего ждать после нее за гробом!» Он убеждается, что ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что ему понятно, и «величия чего-то непонятного, но важнейшего».

Он проходит один за другим ряд этапов. В разговоре с Пьером он резко нападает на усилия последнего поднять благосостояние мужика, нападает на школы и больницы, заведенные Пьером. «Ты хочешь вывести его из его животного состояния и дать ему нравственных потребностей, а мне кажется, что единственно важное счастье есть счастье животное, а ты его-то хочешь лишить его. Я завидую ему, а ты хочешь сделать его мною, не дав ему моих средств». Он смеется над проектом Пьера об освобождении крестьян. Мужику не хуже от того, что его бьют, секут, ссылают в Сибирь. Если и нужно освободить крестьян, то ради самих дворян, которые гибнут нравственно, «наживают себе раскаянье, подавляют это раскаянье и грубеют оттого, что у них есть возможность казнить право и неправо». В сущности, в этой изуверской проповеди выражена озлобленным умом та же идея о бесплодности вмешательства в жизнь, о необходимости оценивать общественные явления только с точки зрения их влияния на нравственную жизнь человека. «Мне жалко человеческого достоинства,—говорит Андрей,—спокойствия совести, чистоты, а не их спин и лбов, которых сколько ни секи, сколько ни брей, все останутся такими же спинами и лбами». На время в душе Андрея снова просыпается жажда деятельности и вера в значение личности при встрече со Сперанским. Он видел в нем разумного, строго мыслящего, огромного ума человека, энергией и упорством достигшего власти и употребляющего ее только для блага России. Князь Андрей восхищался им, как раньше Наполеоном. Но вскоре он убедился, что его участие в государственной законодательной деятельности—такая же праздная работа, как и его деятельность в армии на войне. Ему стало смешно, как он мог ждать чего-то от Сперанского, и когда он вспомнил своих мужиков, то, «приложив к ним права лиц, которые он распределял по параграфам», князь

Андрей удивился, как мог он так долго заниматься этой бесплодной работой. И только лежа на смертном одре после новой раны, князь Андрей понял смысл жизни. Он понял, что «сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам»,—словом, «та любовь, которую проповедывал бог на земле, которой его учила княжна Марья, и которой он не понимал,—вот отчего ему было жалко жизни, вот оно то, что еще оставалось ему, если бы он был жив». Его предсмертные мысли принадлежали любви. «Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть бог, и умереть—значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику».

Еще более сложный путь проходит Пьер. Его история—это история самого Толстого, он тоже бросается от одного занятия к другому, ищет исхода своим деятельным силам, стремится удовлетворить запросы своей совести в тех или других формах служения ближнему. И он, подобно Толстому, находит успокоение, прикоснувшись к народу, приходит к народной правде благодаря Платону Каратаеву. Пьер, подобно Андрею, начал с восхищения Наполеоном, но в другом отношении. В его глазах Наполеон был носителем идей французской революции, которая была «великим делом», потому что она, несмотря на крайности, провозгласила «права человека, эмансипацию от предрассудков и равенство граждан». И в то же время Пьер проводит свою жизнь в кутежах и оргиях. Но его душа не находит успокоения. Демократические идеи, провозглашенные революцией, не захватывают его существа. Он рассуждает о них и одобряет их как передовой человек своего времени. Но не в этих идеях мог он найти то, что дало бы смысл его жизни. Кутежи еще менее могли удовлетворить ищущую душу Пьера. Далее мы видим Пьера богачом и графом Безухим. Новая ложь окружила его, и на время ему показалось, что он нашел удовлетворение и смысл в жизни. Он «почувствовал себя до такой степени окруженным, занятым, что ему только в постели удавалось остаться одному с самим собою». Дела, управляющий, присутственные места, просители—все

это, как показалось, заполнило его жизнь, дало пищу исканиям его духа. Ему «так естественно казалось, что все его любят, так казалось бы неестественно, ежели бы кто-нибудь не полюбил его, что он не мог не верить в искренность людей, окружавших его». Он чувствовал себя «центром какого-то важного общего движения», чувствовал, что «от него что-то постоянно ожидается». Его опутывают той ложью, которой опутана жизнь всякого влиятельного и богатого человека. Эти путы, эта ложь находят свое самое яркое выражение в его женитьбе на Элен. Он чувствовал, что «что-то гадкое, противоестественное, нечестное было в этом браке», что-то гадкое, «запрещенное» было в том чувстве, которое она возбуждала в нем, что она не любила его, что она была глупа и развратна. И, тем не менее, он женился на ней. Об этом позаботились родные Элен, к этому направляли его волю все окружающие, и ложь показалась ему правдой. «Нет, она не глупа, она прекрасная девушка»,—решил он. И ложь этого брака стала ему ясна после дуэли с Долоховым, убийцей которого он считал себя. Он понял, что «женился, не любя», что «обманул и себя и ее». Он краснел при воспоминании о медовом месяце.

От кутежей, от демократических идей, от упоения богатством, светскими удовольствиями и красавицей женой Пьер переходит к новому увлечению. Отвергнув прежние пути, он ищет выхода для своей тоскующей совести в масонстве. Масон, казалось ему, рассказал ему его самого и ярко формулировал муки его совести. «Посмотрите на свою жизнь, государь мой. Как вы ее проводили? В буйных оргиях и разврате. Все получая от общества и ничего не отдавая ему, вы получили богатство. Как вы употребили его? Что вы сделали для ближнего своего? Подумали ли вы о десятках тысяч ваших рабов, помогли ли вы им физически и нравственно? Нет, Вы воспользовались их трудами, чтобы вести распутную жизнь. Вот что вы сделали. Избрали ли вы место служения, где бы приносили пользу своему ближнему? Нет, вы в праздности проводили свою жизнь. Потом вы женились, государь мой, взяли на себя ответственность в руководстве молодой женщины, и что же вы сделали? Вы не помогли ей, государь мой, найти путь истины, а ввергнули ее в пучину лжи и несчастья. Человек оскорбил вас, и вы убили его, и вы говорите, что

вы не знаете бога, и что вы ненавидите свою жизнь». И Толстой продолжает пересмотр всех сторон жизни. Показав устами масона ложь прежней жизни Пьера, он вскрывает ложь самого масонства. Оно тоже не дало Пьеру удовлетворения. Из трех требований масонства он не исполнял того, которое предписывало каждому человеку быть образцом нравственной жизни, и утешал себя тем, что зато исполнял другое назначение—исправление рода человеческого, и гордился своей щедростью. Он видел из-под масонских фартуков и знаков мундиры и кресты, которых добивались в жизни знатные члены лож. И Пьер покинул масонство, убедившись, что в основе деятельности братьев лежала та же ложь и что масонство не указало пути его исканиям. И только в плену, узнав Каратаева и прикоснувшись в лице его и солдат к народу, он обрел «то спокойствие и довольство собой, к которым он тщетно стремился прежде». История Пьера—это история отречения от всех видов лжи, царящей в жизни, это история ложных путей, через которые нужно было пройти для того, чтобы притти к истинному. «Он долго,—говорит автор,—в своей жизни искал с разных сторон этого успокоения, согласия с самим собою, того, что так поразило его в солдатах в Бородинском сражении, он искал этого в филантропии, в масонстве, рассеянии светской жизни, в вине, в геройском подвиге самопожертвования, в романтической любви к Наташе, он искал этого путем мысли,—и все эти искания и попытки, все обманули его. И он, сам не думая о том, получил это успокоение и это согласие с самим собою только через ужас смерти, через лишения и через то, что он понял в Каратаеве».

«Война и мир»—народная эпопея, но в этой эпопее все детали служат фоном, на котором развертывается жизнь души, особенно близкой ее автору. История мыслящего представителя великосветского общества служит центральным сюжетом этой эпопеи. Бессодержательная жизнь великосветской среды, которая в изображении Толстого приобретает, как и в повестях, характер чего-то ненужного, ненастоящего, ужасы войны, Наполеон с его наивным самомнением, Кутузов с его умом и верным пониманием событий, Каратаев и простые люди, Сперанский и бюрократические претензии на устроение счастья миллионов, наконец, равнодушные и ум-

ные карьеристы или пустые эпикурейцы, или просто незатейливые добрые люди, вроде князя Василия Курагина, Николая Ростова,—все это поучительные эпизоды, уроки жизни для Андрея и Пьера. Оба они дополняют друг друга. По справедливому замечанию проф. Овсянико-Куликовского, князь Андрей принадлежит к числу людей «дела», к признанным деятелям на почве общественной или государственной; Пьер, напротив,—натура, не пригодная для практической деятельности. Князь Андрей—лучший представитель аристократии, типичный «человек чести и долга, с призванием к широкой государственной деятельности, деятель оппозиции». Он умирает рано, до декабрьской революции, но он типичен для той среды, из которой вышли ее вожди. Пьер, напротив того,—идеалист, не склонный к практической деятельности. способный к самоуглублению, ищущий осуществления свободы внутри самого человека, а не в преобразовании внешних отношений. Андрей умирает рано, и эта ранняя смерть избавляет автора от трудной необходимости указать тот выход, на котором успокоилась бы в конце концов эта активная натура, жаждущая практического дела. Он умирает случайно, от раны. Его смерть не была необходимостью, логически вытекающей из его жизни. Так умирали и другие «лишние люди», не находившие применения своим активным силам, не исключая даже Лаврецкого, который хотя и дожил до старости, но для жизни умер рано. Толстой как великий художник чувствовал, что для Андрея не было выхода, что такие деятельные натуры не могли найти примирения в тогдашней обстановке русской жизни. Поэтому выход, который указал он обществу, изображен в истории Пьера, натуры созерцательной. Пьер ближе Толстому, и в итоге он и найденный им выход являются новым моментом в автобиографии Толстого,—моментом, логически следующим за историей Иртеньева, Нехлюдова и Оленина.

Если в «Войне и мире» перед нами обрисованы лучшие представители высшего дворянства в эпоху, предшествовавшую декабрьской революции, то в «Анне Карениной» мы видим те пути, по которым направлялись отдельные группы этого класса после падения крепостного права. Та гордость и независимость, которыми отличаются старый князь Болконский и его сын Андрей, уже поколеблены в великосветской

среде. Князья Болконские—не бюрократы. Они усвоили от своих предков привычку к командованию, они умеют не смиряться ни перед кем и удаляются в родовые поместья, когда в высших сферах не мирятся с их независимым характером. Они не боятся разрушить свою военную или чиновничью карьеру, не льстят и не подделываются. Они не нуждаются ни в чинах, ни в казенном жалованьи, потому что они слишком знатны для первых и слишком богаты для второго. В их душе мысль о государственном служении хотя и соединяется с чувством честолюбия, облагораживается, однако, инстинктивной верой в свое прирожденное право управлять народом, каким-то неопределенным сознанием своей ответственности перед историей за судьбы государства. В «Анне Карениной» этот тип независимого и гордого потомка Рюриковичей исчезает. Падение крепостного права потрясло экономическое благосостояние высшего дворянства и вместе с тем отразилось на его психике. Князья и графы обеднели. Они ищут службы для жалованья. Своими старыми связями, именами своих предков они пользуются для получения хороших казенных мест, которые нередко являются главным источником их существования. Они не прочь порою пойти на поклон к дельцам, ростовщикам и крупным представителям торгового и промышленного мира для получения выгодного места. Даже Вронский, несколько напоминающий независимых представителей командующего класса своими богатствами, своим пренебрежением к служебной карьере, своим инстинктивным презрением к людям не своего круга,—даже Вронский не может итти в сравнение с Андреем Болконским.

Толстой вывел представителя высшей бюрократии в лице Каренина. Алексей Александрович отличался упорным честолюбием, сдержанностью, честностью и самоуверенностью. Он—посвоему талантливый бюрократ, человек настоящего дела. Его характерная черта как государственного человека состояла в пренебрежении к официальной переписке, в сокращении ее, в прямом, насколько возможно, отношении к живому делу и в экономности. Он—один из добросовестнейших и энергичных людей, но бюрократ с ног до головы, и его энергия, его могучие силы уходят не на живое, нужное дело. Непосредственные и живые инстинкты, потребности сердца и порывы духа сковываются работой холодного ума, ясным

расчетом трезвой мысли. Он—реалист до мозга костей. В каждом затруднительном случае он быстро рассчитывает преимущества того или другого решения, определяет шансы успеха. И это дает ему возможность сравнительно легко выходить из колебаний и сомнений. Он—человек дела, действия прежде всего. Для него нет неразрешимых задач, которые терзали Рудина и Лаврецкого. Как ни тяжело для него то или иное решение, он все-таки его примет. Остаться на распутьи, не остановиться ни на чем—он не может. Он воспитывался в канцеляриях, где бумажное искусство и чиновничий ум, приучился находить исходы всегда, не исключая и тех случаев, когда исхода не может быть. И Каренин переносит эту фальшь из департамента в область сердечной жизни, в ту область, где теоретические построения еще менее могут исправить и исцелить какие бы то ни было страдания. Он хочет и здесь взять факты такими, как они есть, и, холодно и ясно обсудив их, вывести из них наиболее разумное решение. Узнав об измене жены, он испытал «жестокую боль». Но это длилось недолго. После признания Анны он, «к удивлению своему и радости, почувствовал совершенное освобождение». Его занимало одно—«вопрос о том, как наилучшим, наиприличнейшим, удобнейшим для себя и потому справедливейшим образом отряхнуться от той грязи, которою она забрызгала его в своем падении, и продолжать итти по своему пути деятельной, честной и полезной жизни». Он исходит не от себя, не от своего сердца, не от потребностей своей души, а от сложившихся форм жизни и действий, которые были приняты в его кругу. Он перебирает мысленно «подробности образа действий людей, находившихся в таком же положении, как и он». Он обсуждает дуэль, развод, раздельную жизнь с женой, холодно взвешивает преимущества и неудобства каждого из этих решений, отвергает их все и останавливается на одном—удержать ее при себе, скрыв от света случившееся и употребив все зависящие меры для прекращения связи и, главное, в чем самому себе не признавался,—для наказания ее». Он застыл в формах бюрократического решения вопросов. Он не понял, что ясный и трезвый вывод его ума столкнется с иррациональной жизнью женской души, что все тонкие и верные построения разума будут сметены непосредственным чувством любви и страсти. Трагедия Каренина—

новое художественное воплощение той идеи, которая красной нитью проходит через все творения великого писателя. Через страдание пришел он к тому единственному выводу, который мог дать спокойствие его душе, к мысли, что истинное счастье заключается в любви и отречении от искусственного счастья, от ложных страстей и потребностей, рожденных фальшивой культурой. Тонкие расчеты бюрократического ума оказались несостоятельными перед высшим, таинственным смыслом жизни. Каренин всю свою жизнь был могучим оплотом сложившихся форм общественной жизни, в непогрешимости которых он ни на минуту не сомневался, и вот этот надменный бюрократ оказывается жалким и бессильным существом перед сложной жизнью женской души, которую он пытался уложить в рамки своих схем. Он увидел Анну на одре болезни, исстрадавшуюся, жестоко заплатившую за свою вину, и он простил ее, и «счастье прощения открыло ему его обязанность», он «молил бога о том, чтобы он не отнял у него счастья прощения». Жизнь Каренина была ложью. Его раскаяние, его мистицизм, в который он впадает под конец своей жизни и который отдает его в руки шарлатанов,—печальная кара, из которой великий художник кует новое оружие в защиту своих идей, вскрывает ложь современной жизни, указывает как не следует жить и разоблачает эфемерность фальшивых радостей, влекущих человечество и закрывающих от него истинный смысл жизни.

Еще более ярким свидетельством упадка высшего дворянства является фигура князя Степана Аркадьевича Облонского. Это—эпикуреец, добродушный и беспринципный, утративший совершенно ту гордость, независимость и родовые поместья, которые придавали известное благородство и красоту командующим классам в ту эпоху, когда еще не было потрясено их господство. Своим происхождением и связями он пользуется для того, чтобы обеспечить себе праздное существование хорошо оплачиваемым казенным местом. Половина Москвы и Петербурга были родня и приятели Степана Аркадьевича. Ему бы смешно показалось, если бы ему сказали, что он не получит места с тем жалованием, которое ему нужно. К делу своему он относится с полным равнодушием, вследствие чего он никогда не увлекался и не делал ошибок. По своим воззрениям он—либерал, но не потому, чтобы он находил либе-

ральное направление разумным, но потому, что оно подходило ближе к его образу жизни. Оно давало ему право бранить брак, что вполне гармонировало с его враждебным отношением к семейной жизни. Либеральное направление ему нравилось еще потому, что он не любил молебнов и страшных слов о том свете, что он любил вообще побранить все в России, так как имел долги, и денег ему не хватало. Но этого тунеядца любили и сослуживцы и все окружающие за его добродушие, за отсутствие зависти и честолюбия. Как дворянин и помещик он—живое воплощение экономического и политического падения сословия. Он сбывает за полцены кулаку родовые поместья, прокучивая в короткое время полученные деньги. Он добивается места «члена комиссии от соединенного агентства кредитно-взаимного баланса южных железных дорог». И при всем своем добродушии даже он испытывает чувство неловкости при мысли о том, что он, потомок Рюрика, князь, должен часами дожидаться в приемной влиятельного дельца, какого-то Болгаринова, от которого зависит назначение на это место, что он не следует примеру предков, служивших правительству, и выступает на новое поприще. Та же беспринципность руководит Облонским и в его отношениях к людям и в семейных отношениях. Он неразборчив в знакомствах. Он готов зачислить в число своих приятелей всякого, кто предложит ему «завтрак с лафитом», и возбуждает негодование Левина тем, что ездит к железнодорожному богачу Мальтусу, который бесчестными путями нажил свое состояние. Облонский—символ упадка родовитого дворянства. Свои гербы, родословные дерева, родовые поместья оно разменивает на деньги, доживая в традиционной праздности последние дни и постепенно уступая свое место торжествующим Рябининым, Болгариновым и Мальтусам. «У детей Рябинина будут средства к жизни и образованию, а у твоих, пожалуй, не будет»,—говорит Левин Облонскому, формулируя в этой фразе сущность происходящего экономического переворота, перехода экономического господства из рук землевладельческого дворянства в руки предпринимателей-капиталистов.

Более других походит на тип прежнего независимого аристократа граф Вронский. Он обладает огромным состоянием и не нуждается в казенной службе. Но его независимость

далеко не напоминает независимости Болконских. В нем нет того благородного жара, который делает князя Андрея государственным человеком, заставляет его искать влияния на судьбы государства без примеси посторонних мыслей. Андрей тоже честолюбив, но его честолюбие носит благородный оттенок. В нем течет кровь тех князей-воинов, которые взамен своей власти несли великие обязанности, сражаясь в первых рядах своей дружины. В честолюбии и независимости Вронского нет этой непосредственности. Его коснулась уже бюрократическая муть, в которую окунулось высшее дворянство, выгнанное из своих имений купцами и ростовщиками и устремившееся в погоню за хлебными местами. Первые шаги Вронского в свете и на службе были удачны, но он сделал ошибку, отказавшись от предложенного ему места в надежде, что этот отказ придаст ему большую цену. «Но оказалось, что он был слишком смел, и его оставили, и, волей-неволей сделав себе положение человека независимого, он носил его, весьма тонко и умно держа себя, как будто он ни на кого не сердился, не считал себя никем обиженным». Но в действительности ему было тяжело, и червь честолюбия просыпался в нем всякий раз, когда он слышал о служебных успехах своих товарищей по корпусу. У него был свод правил, который освобождал его от всяких сомнений и колебаний в жизни. Он знал, что нужно заплатить шулеру, а портному не нужно; что лгать не надо мужчинам, но женщинам можно; что обманывать нельзя никого, но мужа можно. Его отношение к людям лучше всего выясняется в небольшом эпизоде. Вронский был прикомандирован к одному иностранному принцу, приехавшему в Петербург. Эта миссия была тяжела Вронскому потому, что в принце он видел отчасти свой портрет. «Это был очень глупый и очень самоуверенный, и очень здоровый, и очень чистоплотный человек, и больше ничего. Он был джентльмен,—это была правда, и Вронский не мог отрицать этого. Он был ровен и не искателен с высшими, был свободен и прост в обращении с равными и был презрительно-добродушен с низшими. Вронский сам был таковым и считал это большим достоинством; но в отношении принца он был низший, и это презрительно-добродушное отношение к нему возмущало его». И весь запас честолюбия Вронского ушел на мелкие победы и ничтожные стремления. Он вел

широкую светскую жизнь, он улаживал «истории», случавшиеся с его товарищами по полку, радовался своему успеху в обществе и у женщин и гордился тем, что был баловнем в полку, где его ценили за богатство, аристократическое происхождение и за то, что он был добрым товарищем. Величайшим горем его жизни была несчастная случайность, лишившая его победы на скачках: «в первый раз в жизни он испытал величайшее несчастье, неисправимое и такое, в котором виною он сам». И в его лице великий враг современной культурной жизни, Толстой, снова произносит осуждающий приговор ложному счастью и призрачным идеалам, в погоне за которыми богатые и культурные люди забывают естественные потребности духа и здоровые, нормальные радости жизни. Вронский, подобно Каренину, бессильно отступает перед высшим, таинственным смыслом жизни, когда она обрушивается на него своею тяжестью. Его роман с Анной, который представлялся таким простым с точки зрения его «кодекса», оказался сложным и непостижимым фактом. Он знал, как держать себя по отношению к ней: она была порядочная женщина, и он уважал ее как законную жену. У него не было сомнений и по отношению к мужу: единственное, на что имел право муж, это—потребовать от него удовлетворения с оружием в руках, и Вронский всегда был готов к дуэли. Но свод его правил оказался слишком узким. Анна страдала, потому что у нее был сын, Каренин не дрался на дуэли, а превратил его жизнь в сплошное страдание тем, что решил поддерживать ложь, сковавшую всех трех героев. И Вронский утратил руководящую нить. Он запутался в сетях той лжи, которую представляет собой искусственная жизнь высшего общества. Для решения загадки жизни не годятся «правила» Вронского, как не подошли «правила» Каренина. Все эти «правила»—продукт извращенной, а не истинной жизни. Уже в первых повестях и в «Войне и мире» беспредельная ширь жизни, обрисованная Толстым, служит только фоном, на котором развертывается история развития его собственной души. И «Анна Каренина» не составляет исключения. В романе выведен герой, который является новым этапом в автобиографии Толстого.

Левин—выразитель идеи романа. Его устами автор высказывает свои воззрения. Он стоит особняком среди других

героев и разоблачает ложь каждого момента несущейся мимо него жизни. Он—живое обличение всех стремлений культурного общества, современного ему воспитания, общественной деятельности, светского кодекса правил. В земской деятельности он разочаровался: с одной стороны—это «игра в парламент», с другой—средство «для уездной coterie наживать деньжонки». В светской жизни и воспитании он чувствовал какую-то ложь, как ни привлекательно и поэтично казалось ему то, что скрывалось в ее изяществе. Он не понимал, для чего в семье Щербацких «трем барышням нужно было говорить через день пофранцузски и поанглийски, для чего они в известные часы играли попеременкам на фортепиано... для чего ездили эти учителя французской литературы, музыки, рисования, танцев; для чего в известные часы все три барышни с m-lle Linon подъезжали в коляске к Тверскому бульвару в своих атласных шубках» и т. д. Непонятны были модные длинные ногти светских франтов ему, жителю деревни, где стараются «привести руки свои в такое положение, чтобы ими удобнее было работать», обстригают для этого ногти, засучивают рукава. Не мог понять обжорства в ресторанах житель деревни, где стараются «скорее наесться, чтобы быть в состоянии делать свое дело». Впечатления Левина в столице—это тот же протест Оленина против лжи, проникающей светскую жизнь, то же бегство Нехлюдова в деревню, те же искания Пьера. И выход из лжи, проникающей жизнь его круга, Левин, подобно другим героям Толстого, находит только при соприкосновении с трудовой естественной жизнью простого народа. Такие разнородные по душевному складу писатели, как Тургенев и Толстой, видели для здоровых элементов усадебного барства один и тот же выход. Лаврецкий собирался пахать землю, и притом пахать ее как можно лучше. Левин осуществляет это намерение на глазах читателя. Он работает вместе с мужиками. Он косит траву, и его охватывает «приятное ощущение холода по жарким вспотевшим плечам». Он чувствует, что у него нет ни мыслей, ни желаний, кроме одного—«чтобы не отстать от мужиков и как можно лучше сработать». Счастливейшими минутами его жизни были те моменты, когда он чувствовал, что сравнялся с крестьянами в быстроте и ловкости, а особенно те, когда, дойдя до реки, он пил из нее

воду, и эта теплая вода с плавающей зеленью казалась ему прекраснейшим напитком в мире. Вскоре совершенно исчезло расстояние, отделявшее барина от крестьян, Левин перестал ездить домой обедать, ел тюрьку со стариком-крестьянином, и она казалась ему более вкусной, чем его домашний обед. Через крестьянина может спастись барин, не трудовая жизнь народа должна итти на выучку к культуре, а, напротив, эта последняя, лживая жизнь высшего общества должна смириться перед простой и великой народной правдой. Характер Левина разработан глубже и шире, чем его предшественников. Идея опрощения в «Анне Карениной» поставлена лицом к лицу со сложными условиями современной действительности. Левин стоит во главе сложного хозяйства. Он не только практик, но и теоретически работает над экономическими вопросами. Ему приходится иметь дело и с дворянством, и с купцами, и с учеными экономистами, и с крестьянами. И он сумел справиться с той задачей, с которой не удалось справиться Нехлюдову. Левин пришел к тому выводу, к которому в свое время пришел Пьер. Когда Пьер сбросил с себя ярмо умствований и принципов, когда он просто отдался непосредственному инстинкту жизни, ему вдруг стало ясно все, что до тех пор составляло для него предмет затруднений. Он знал, кому отказывать и кого удовлетворять. Толстой—враг умствований. Сквозь строки его творений можно прочесть решительную филиппику против тех общих начал, теорий и принципов, к которым развитая культурная мысль стремится отнести частные факты и явления жизни. Творец «Войны и мира» не замечает, что он часто становится проповедником нравственного квиетизма, что его проповедь простоты и безыскусственного отношения к жизни граничит порою с полным отрицанием нравственного усилия, что часто он рекомендует человеку безраздумное признание общепринятых представлений о порядочности, и лучшим выходом из колебаний и сомнений представляется ему просто добросовестное, в общепринятом смысле, исполнение своего долга в том положении, в которое поставила человека судьба. Пьер не задумался передать в полное владение бессердечной женщине тысячи своих рабов, чтобы откупиться от нее. Левин, который, несомненно, противопоставляется праздным аристократам, обрел спокойствие и прочную опору своим действиям в сомнитель-

ном идеале. «Прежде, когда он старался сделать что-нибудь такое, что сделало бы добро для всех, для человечества, для России, для всей деревни, он замечал, что мысли об этом были приятны, но самая действительность всегда была нескладная, не было полной уверенности в том, что дело необходимо нужно». Когда же он просто занялся делом, он получил уверенность, «что дело его необходимо». Хозяйство вместе с охотой «наполняло всю ту жизнь Левина, которая не имела для него никакого смысла, когда он думал». Теперь он твердо знал, что нужно делать, и как делать, и какое дело важнее другого. И следующие строки являются ответом на вопрос что делать?—на тот вопрос, над которым билась и мучилась русская интеллигенция: «Он знал, что нанимать рабочих надо было как можно дешевле; но брать в кабалу их, давая вперед деньги, дешевле, чем они стоят, не надо было, хотя это и было очень выгодно. Продавать в бескормицу мужикам солому можно было, хотя и жалко было их; но постоялый двор и питейный, хотя они и доставляли доход, надо было уничтожить. За порубку лесов надо было взыскивать сколь возможно строже, но за загнанную скотину нельзя было брать штрафов; и хотя это и огорчало караульщиков и уничтожало страх, нельзя было не отпускать загнанную скотину. Петру, платившему ростовщику десять процентов в месяц, нужно было дать взаймы, чтобы выкупить его; но нельзя было спустить и отсрочить оброк мужикам-неплательщикам». Рассуждения приводили его в сомнения и мешали ему видеть, «что должно, и что не должно», но когда он не думал, а жил, он чувствовал в душе своей «присутствие непогрешимого судьи, решавшего, который из двух возможных поступков лучше и который хуже, и как только он поступал не так, как нужно, он тотчас же чувствовал это». Итак, жизнь Левина текла без колебания. Его мучило только отсутствие цели и смысла в ней, и, подобно всем героям Толстого, он открыл эту цель и этот смысл через крестьянина. «Подавальщик» Федор случайно сказал при нем: «Фоканыч—правдивый старик. Он для души живет. Бога помнит». И эти слова произвели в душе Левина «действие электрической искры, вдруг преобразившей и сплотившей в одно целое рой разрозненных, бессильных, отдельных мыслей, никогда не перестававших занимать его». Он понял, что поступал, как ребе-

нок, когда старался разумом отыскать «значение сил природы и смысл жизни человека», что все философские теории, в сущности, только «странным, несвойственным человеку путем» приводят его «к знанию того, что он давно знает, и так верно знает, что без того и жить бы не мог». Словом, Левин «жил для души» и «помнил бога» раньше, чем узнал это. И простой мужик открыл ему смысл его собственной жизни, и он перестал искать этого смысла разумом, который не может открыть этот смысл. Это знание просто дано каждому человеку, и нужно только не заглушать его в себе ложью искусственной культурной жизни. После этого открытия вся жизнь Левина получила смысл. Он знал, что будет попрежнему сердиться на кучера Ивана, спорить, некстати высказывать свои мысли, не понимать разумом, зачем он молится, и все-таки молиться. «Но жизнь моя теперь,—говорит он,—вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мною, каждая минута ее—не только не бессмысленна, как была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее».

Левин обрел свой идеал. Этот идеал—добросовестный помещик, старающийся поменьше эксплоатировать крестьян, покупающий свое благосостояние неустанным трудом. Идеал Толстого не выходит за пределы усадьбы и земли. Для мятущейся души представителя родовитого земледельческого дворянства он не видит другого исхода, как добросовестное служение той миссии, которая возложена на него его происхождением. Он обретает этот идеал в соприкосновении с крестьянством, добрым руководителем которого он должен бы быть по историческому представлению об истинном помещике. Толстой инстинктивно видит идеал в той жизни, в той деятельности, которая некогда создала могущество и богатство высшего дворянства и которая одна могла удержать его от разложения и вырождения.

Этот идеал естественной, простой, трудовой жизни, это восстание против лжи и испорченности светского общества отражается и на женских образах, выведенных Толстым. Между героинями Тургенева и Толстого лежит целая пропасть. Тургенев выводил девушек, полных предчувствием будущего. Они—женщины прежде всего. Их сила, красота и энергия раскрываются только в любви. Но они требова-

тельны к своим избранникам. Они ищут сильных людей, людей дела, они пытаются порою сами проявить свою активную силу не только в сфере любви, но и в общественной деятельности. Не таковы героини у Толстого. У него почти не встретишь девушки, интересы которой переходили бы за пределы суетных светских удовольствий и флирта. Лучшие из его героинь—честные матери и супруги, которым неведомы томительные думы о человечестве, неясные, но широкие, захватывающие порывы тургеневских женщин. В своей среде Толстой не нашел ни Елены, ни Марианны. Вспомним, как начинается любовь тургеневской девушки. В этой любви нет даже оттенка страсти, к ней не примешивается ничто земное. Под непроницаемым покровом скрывает автор греховные чувства. Мы видим только духовную сторону отношений между Натальей и Рудиным, Еленой и Инсаровым, Лизой и Лаврецким. Вспомним теперь, как зарождается любовь в романах Толстого. Пьер влюбился в Элен на вечере. Она была в «открытом по тогдашней моде спереди и сзади платье». Она находилась «в таком близком расстоянии от его глаз, что он своими близорукими глазами невольно различал живую прелесть ее плеч и шеи, и так близко от его губ, что ему стоило немного нагнуться, чтобы прикоснуться до нее», и т. д. Она имела вызывающий вид и точно говорила: «Вы не замечали, что я женщина?»—и Пьер почувствовал, что она «должна быть его женой, что это не могло быть иначе». Такое же возбуждающее действие производит на Вронского Анна. Ревнивым взором следила за ними на балу Китти и видела «знакомую ей самой черту возбуждения от успеха». Она видела, что «Анна пьяна вином возбуждаемого ею восхищения», видела «дрожащий, вспыхивающий блеск в глазах и улыбку счастья и возбуждения, невольно изгибающую губы, и отчетливую грацию, верность и легкость движений». Даже у самых поэтических и чистых героев и героинь Толстого любовь начинается с физического возбуждения, по большей части в чаду бала. Князь Андрей пошел танцовать с Наташей Ростовой только потому, что она «первая из хорошеньких женщин» попала ему на глаза; «но едва он обнял этот тонкий подвижной стан, и она зашевелилась так близко от него и улыбнулась так близко ему, вино ее прелести ударило ему в голову: он почувствовал себя ожившим и помолодевшим,

когда, переведя дыхание и оставив ее, остановился и стал глядеть на танцующих». Толстой никогда не забывает напомнить, что женщина прежде всего самка. Даже Анна Каренина после пережитых ею страданий, несмотря на ее глубокую любовь к Вронскому, кокетничает с Левиным и бессознательно, «как она действовала в отношении ко всем молодым мужчинам», старается возбудить в нем чувство любви к себе.

Княжна Марья составляет, на первый взгляд, исключение среди героинь Толстого. Она напоминает несколько тургеневскую Лизу по своему глубоко-религиозному чувству, по своим аскетическим наклонностям. Она любит размышлять, что так редко бывает с другими девушками у Толстого. Она верит, что «религия, одна только религия, может нас избавить от отчаяния». Она безропотно склоняет голову перед несчастьем и верит, что оно является особой милостью творца, выражением его бесконечной благости, так как все его действия, «хотя мы их большею частью не понимаем, суть только проявления его бесконечной любви к своему творению». Подобно Лизе, она видела свое назначение в отречении и жертве. «Мое призвание—быть счастливой другим счастьем, счастьем любви и самопожертвования». Подобно Лизе, княжна Марья считает греховной и преступной самую мысль о земных радостях, о любви и счастье. Но в изображении греховных отступлений от аскетического идеала Толстой и Тургенев резко расходятся между собой. Лиза только на мгновение поддалась обаянию речей Лаврецкого, допустила мысль о возможности счастья. В изображении ее земного порыва поэт не повел нас за пределы безгрешной мечты, и она не сошла с того пьедестала чистой религиозной жизни, на который возвел ее Тургенев. Совершенно иначе изобразил Толстой греховный порыв княжны Марьи. «Она, бессильно опустив глаза и руки, молча сидела и думала. Ей представлялся муж, мужчина, сильное, преобладающее и непонятно-привлекательное существо, переносящее ее вдруг в свой, совершенно другой счастливый мир. Ребенок свой, такой, какого она видела вчера у дочери кормилицы, представлялся ей у своей собственной груди... В помышлениях о браке княжне Марье мечталось семейное счастье и дети, но главною, сильнейшею и затаенной ее мечтою была любовь земная». И, подобно

тургеневской Лизе, она старается молитвой искупить эту жажду счастья, она спрашивает бога, как подавить в сердце «мысли дьявола», как отказаться «от злых помыслов», чтобы спокойно исполнять его волю. И в то же время греховные мечты не покидают ее.

В русской литературе трудно указать писателя, который бы создал такой ослепительно художественный образ женщины-самки, как Толстой. Великому писателю земли русской почти неизвестен тип жинщины вроде тургеневской Марианны или гончаровской Ольги, мысль которых не удовлетворяется пределами детской и кухни и неопределенно стремится к более широкой сфере. Толстовский идеал женщины— в семье и в домашнем хозяйстве. Душа мятущегося барина находит успокоение на лоне природы, в здоровом, естественном труде, в освобождении от суетности и пустоты светской жизни. Женщина обретает безмятежный мир в уходе за детьми и мужем, целиком растворяя свою личность в интересах семьи. И в «Войне и мире» и в «Анне Карениной» мы находим толстовский идеал семейного счастья. Тургенев любил изображать внутренний мир девушки, ее борьбу за свое счастье, искания ее души, ожидающей своего избранника. Автор «Рудина» задергивает завесу над ее дальнейшей судьбою. Мы не видим Натальи после ее замужества, не знаем, что сталось с Еленой. Еле-еле приподнята пред нами завеса, скрывающая Лизу в монастыре, или Марианну после пережитых ею потрясений. Точно только в преддверии зрелости, в преддверии долгой однообразной жизни раскрывается натура женщины. Иначе относится к женщине Толстой. Для него главное начинается после замужества. Внутренний мир матери есть то настоящее, где определяется характер женщины. Можно почти сказать, что в оценке женщины Толстой пользуется одним критерием—степенью ее близости к идеалу матери и семьянинки. Его отрицание обращается против тех женщин, которые позволили восторжествовать в себе инстинктам, уничтожившим в них матерей и жен. Его идеал— те, кто победил эти инстинкты. Других оценок у Толстого почти нет. Женщина вне семьи, женщина в ее стремлении к общественной деятельности, к участию в умственной и политической жизни страны для Толстого не существует. Китти и Левин, Ростов и Марья, Пьер и Наташа—эти пары, в

лице которых идеализирована старая барская семья,—семья, где муж занят делами по имению, умственной и служебной жизнью, а жена—кухней и детской,—эти пары представляют собою несомненный идеал Толстого. В изображении жизни Пьера и Наташи Толстой сам подвел итоги этому идеалу женщины. В чем же он заключается? Прежде всего—служение семье. «Предмет, в который погрузилась вполне Наташа, была семья, то есть муж, которого нужно было держать так, чтобы он нераздельно принадлежал ей, дому, и дети, которых надо было носить, рожать, кормить и воспитывать». Что касается мужа, то из его жизни Наташа исключила все, что могло бы послужить ущербом для общих интересов семьи, но взамен того она считала своим долгом удовлетворять все его малейшие желания, которые представлялись ей законными. С первых дней супружества она заявила свои требования. Пьер удивился очень этому новому для него воззрению жены, состоявшему в том, что каждая минута его жизни принадлежит ей и семье. Он удивился этим требованиям, но «был польщен» и подчинялся им. «Подвластность Пьера заключалась в том, что он не смел не только ухаживать, но не смел с улыбкой говорить с другой женщиной, не смел ездить в клубы на обеды, так, для того, чтобы провести время, не смел расходовать деньги для прихотей» и т. д. Отлучки из дому допускались только по делам, в которые Наташа включила и занятия науками. «Взамен этого, Пьер имел полное право у себя в доме располагать не только самим собою, как он хотел, но и всей семьей. Наташа у себя в доме ставила себя на ногу рабы мужа, и весь дом ходил на цыпочках, когда Пьер занимался—читал или писал в своем кабинете. Стоило Пьеру показать какое-нибудь пристрастие, чтобы то, что он любил, постоянно исполнялось». Она угадывала его желания, определяла их с намека, и «образ, место жизни, знакомства, связи, занятия Наташи, воспитание детей»—все это делалось согласно воле Пьера, или прямо выраженной или угаданной. Осталось ли что-нибудь в Наташе из того, что некогда составляло ее красоту? Она безжалостно покончила с прошлым. Она «бросила сразу все свои очарования», и в том числе самое сильное—пение. Она не только покинула прежнее кокетство, перестала «взбивать локоны, надевать роброны и петь романсы», она пошла дальше и опустилась до небреж-

ности и неряшества, избегала общества и любила только тех людей, к которым она могла выйти большими шагами, растрепанная, в халате, и которым она могла сообщить последние сведения о состоянии желудка у ребенка. Вопросы отвлеченного характера не занимали ее. «Толки и рассуждения о правах женщин, об отношениях супругов, о свободе и правах их... эти вопросы не только не интересовали Наташу, но она решительно не понимала их». Вопросы эти,—замечает Толстой,—существовали только для тех людей, которые в браке видят одно удовольствие, получаемое супругами друг от друга, то есть одно начало брака, а не все его значение. Наташа просто слишком была занята семьей, чтобы думать об этих вопросах. Ей «нужен был муж». Муж был ей дан; он дал ей семью, и «так как все силы душевные ее были устремлены на то, чтобы служить этому мужу и семье, она и не могла себе представить и не видела никакого интереса в представлении о том, что было бы, если бы было другое».

«Анной Карениной» заканчивается тот период литературной деятельности Толстого, который относится к интересующей нас эпохе. Тургенев изобразил кающееся дворянство и кончил пессимизмом. Толстой увековечил высший слой этого дворянства. Поэтому «ненужность» этого класса, а вместе с ним и той культуры, той жизни, в которой он веками играл роль командующего класса, выступила в творениях Толстого с неотразимой ясностью. Но Толстой не впал в отчаяние, не пошел по пути Тургенева. Он хотел вернуть высший класс общества к его вековой роли—к земле и к мужику, к той серой безыскусственной жизни масс, от которой уходили крупные землевладельцы, гонимые ростовщиками, машинами и собственной распущенностью. И этот могучий порыв совести, проснувшейся от сотрясения старых форм хозяйственной жизни, разрастется впоследствии в душе великого аристократа в беспримерный по своей силе и мощи протест против всякого тунеядства и всякого командования, прозвучит по всему миру призыв к простой и естественной жизни, к освобождению из сетей ложной культуры.

VIII.

Д. В. Григорович.—Впечатления детства: ужасы крепостного права, французские уроки, камердинер. — Литературные знакомства и влияния. — История появления «Деревни» и «Антона Горемыки» и отзыв Белинского об этих повестях. — Фальшивый тон в последующих произведениях Григоровича. — Главные черты, отличающие повести «Деревня» и «Антон Горемыка»: пессимизм и реализм.—Изображение помещиков и семейной жизни крестьянина в «Деревне».—Бесправие и нужды крестьянства в повести «Антон Горемыка».— «Рыбаки».—Заключение.

В декабрьской книжке «Отечественных записок» за 1846 год почти одновременно с «Хорем и Калинычем» (был напечатан в первой книжке «Современника» за 1847 год) появился рассказ Д. В. Григоровича «Деревня». Этот рассказ был таким же крупным событием, как и знаменитый рассказ Тургенева. Григорович может занять почетное место в истории просвещенного кающегося барства, стремившегося уплатить народу вековой долг дворянства. В одном отношении он даже ушел дальше Тургенева и Толстого в этом благородном стремлении: у Григоровича мужик занимает центральное место в его повествовании, а не является фоном, на котором развертывается история душевных мук тоскующего и ищущего дворянства. С горькой иронией говорит он в «Деревне» о помещике, прихоть которого погубила несчастную Акулину: «Хотя рассказчик этой повести чувствует неизъяснимое наслаждение говорить о просвещенных, образованных и принадлежащих к высшему классу людях; хотя он вполне убежден, что сам читатель несравненно более интересуется ими, нежели грубыми, грязными и вдобавок еще глупыми мужиками и бабами, однакож, он перейдет скорее к последним, как лицам, составляющим— увы!—главный предмет его повествования». И в то же время, быть может, никто в такой степени, как Григорович, не доказал бессилия тогдашнего барства овладеть стоявшей перед ним задачей, никто более его не имеет права на имя кающегося дворянина и лишнего человека. Критика давно уже установила недостатки рассказов Григоровича, давно уже признала, что в них звучит какая-то фальшивая или, по меньшей мере, искусственная нота. Эта искусственность заключается в том несколько сантиментальном, барски-жа-

лостливом отношении к страданиям крестьянства, которое отличает автора «Деревни». И этот тон, проникающий его рассказы, свидетельствует о том, что и Григорович сумел заглянуть в душу крестьянина только со стороны, что его рассказы так же, как творения Тургенева и Толстого, были в конце концов скорее изображением тяжелого душевного состояния барства, чем раскрытием души русского народа. Подобно Тургеневу и Толстому, Григорович пишет не для крестьянина, а для барина. Подобно им, он хочет указать путь этому последнему, а не первому. «Нет исхода»,—так можно формулировать итоги, к которым пришел Тургенев. «Вернитесь к земле и живите жизнью мужика»,—таков призыв, с которым обращается Толстой к людям своего круга. «Пожалейте мужика, пролейте слезу над его страданиями»,—таков голос, звучащий в рассказах Григоровича. Ни одному из этих трех представителей передовой дворянской литературы не пришло в голову искать ответа вне своей среды. В самом их смирении перед мужиком, в самой идеализации его слышится голос людей, воспитанных в сознании, что судьбы страны в целом зависят от того, как поведут себя высшие, а не низшие классы. В этой инстинктивной вере и заключается то общее, что роднит этих трех писателей при всем несходстве их талантов и воззрений. Они не видели или, если видели, то плохо понимали начинавшееся в низах брожение, которое одно рано или поздно опрокинет вековые устои насилия и несправедливости. Они остались вне тех путей, которыми должна была пойти Россия по мысли истории, и их положительные идеалы остались навсегда гуманным порывом, лишенным реальной почвы.

Детство Григоровича богато общими для тогдашнего барства, не раз здесь отмеченными впечатлениями. Потрясающий эпизод из картин крепостного права, французский язык, пансионы и даже дворовый человек, обучающий ребенка русскому языку и прививающий ему любовь к родному народу,—все это мы находим в биографии Григоровича.

Он родился в 1822 году в дворянской семье и еще ребенком потерял отца, полтавского помещика и отставного гусара. Мать Григоровича была француженка, дочь роялиста, погибшего жертвой революции. Воспитанием мальчика за-

ведывала бабушка со стороны матери, «шестидесятилетняя старуха, но замечательно сохранившаяся, умная, начитанная, вольтерьянка в душе, насквозь пропитанная понятиями, господствовавшими во Франции в конце XVIII столетия». В своих воспоминаниях Григорович рассказывает потрясающий факт, один из тех эпизодов, который всколыхнул мысль не одного чуткого ребенка, вызвал на уста не одну «аннибалову клятву». Ему врезался в память один из помещичьих домов, где пировали круглый год, «благо крестьяне, помимо других повинностей, обязаны были поставлять к барскому столу яйца, кур, баранов, грибы, ягоды и прочее». Это был дом с многочисленной дворней, шутами, приживальщиками обоего пола. Попав туда с матерью на званый обед, мальчик не мог оторвать взора от маленького столика, за которым сидели шут и шутовка «в желтых халатах и колпаках с нашитыми на них из красного сукна изображениями зверей». Хозяин этого дома был известен во всем околотке своей неукротимой строгостью. Когда он выезжал на улицу деревни, в сопровождении крепостного Грызлова, его экзекутора, или, вернее, домашнего палача, ребятишки стремглав ныряли в подворотни, бабы падали ничком, у мужиков озноб пробегал по телу. Его боялись все домашние, начиная с жены. Побеждая в себе робость, намолившись и накрестившись в образной, жена решалась иногда просить мужа отпустить ее в Москву для свидания с родственниками. Муж иногда соглашался, призывал к себе тогда Грызлова и отдавал ему такое приказание: «Марья Федоровна в Москву собирается; нужны деньги... Проезжая по деревням, я видел много там этой мелкоты, шушеры накопилось,—распорядись!» Это значило, что Грызлову поручалось объехать деревни помещика, забрать по усмотрению лишних детей и девок, продать их, а деньги доставить помещику. Сам Григорович говорит о том, какое сильное впечатление производили на него подобные рассказы о жизни помещиков. Другое яркое воспоминание детства—это уроки французского языка. Особенно тяжело достались будущему писателю глаголы «être» и «avoir», из-за которых он пролил немало слез. До восьми лет мальчик не видел ни одной русской книги и, вероятно, никогда не научился бы родному языку, если бы не простые дворовые люди, не раз игравшие такую огромную

роль в развитии наших великих писателей. Воспоминания Григоровича о камердинере Николае дышат такой любовью, какой проникнуты были стихи Пушкина, посвященные его няне. «Он любил меня, как будто я десять раз был его родным сыном, как будто отец мой, перед памятью которого он благоговел, завещал ему утешать меня, любить и ласкать. О нем можно сказать то же, что Филарет сказал о русском народе: в нем свету мало, но теплоты много. По целым часам караулил он, когда меня пустят гулять, брал на руки, водил по полям и рощам, рассказывал разные приключения и сказки. Не помню, конечно, его рассказов, помню только его ласковое, сердечное обращение; за весь холод и одиночество моей детской жизни я отогревался только, когда был с Николаем. Когда решено было вести меня в Москву, и наступила минута расставания с Николаем, я, как исступленный, с криком бросился ему на шею, истерически рыдал, кричал и так крепко обхватил его руками, что пришлось силой меня оторвать».

За этими впечатлениями детства следует московская гимназия, в которой Григорович пробыл всего два месяца и запомнил только мальчиков, трунивших над ним и кричавших ему над ухом: «Коман ву франсе», и мучительные уроки, на которых он постоянно терял голову, так как плохо читал порусски и притом с иностранным акцентом. Далее, пансион Монигетти, куда перевели мальчика, чуть не заболевшего в гимназии нервной горячкой. У Монигетти Григорович чувствовал себя хорошо, но, по его собственным словам, его «умственные способности не двинулись ни на один градус» за три года пребывания в пансионе. По выходе из пансиона мальчик так же случайно попадает в военное инженерное училище, только потому, что мать его из разговора с другой дамой узнала, что инженерное училище считается военно-учебным заведением в России. Здесь Григорович, между прочим, познакомился с Достоевским, который оказал на будущего писателя большое влияние. «Первые литературные сочинения,—рассказывает Григорович,—читанные мною на русском языке, были мне сообщены Достоевским». Через одного из своих товарищей Григорович познакомился с Некрасовым. Любовь к чтению и пристрастие к живописи, к которой Григорович почувствовал склонность очень рано,

вредно отражались на его занятиях в инженерном училище. В праздничные дни он посещал Академию художеств и брал там уроки живописи и рисования у одного художника. Наконец, счастливый случай избавил Григоровича от инженерного училища. Однажды он не заметил великого князя, проезжавшего мимо него. Великий князь подозвал его, и, под влиянием панического страха, юноша бросился в какой-то картинный магазин, где хозяин, сжалившись над его судьбой, скрыл его у себя в семье. Григорович рассчитывал, что великий князь не заметил его формы. Но по прибытии в училище он узнал, что случай уже стал известен, и «кондуктору» (так называли воспитанников училища) оставалось только сознаться в своем преступлении. Его привели во дворец. Великий князь велел посадить его под арест. Григорович заболел, и перепуганная мать решила его взять из училища. Он поступает в Академию художеств. Его пребывание в Академии ознаменовано первой любовью. Григорович страстно влюбился в воспитанницу театральной школы и был некоторое время в сильном отчаянии, когда мать строго запретила ему жениться на ней. Своего художественного образования Григорович тоже не довел до конца и поступил на службу в канцелярию директора театров Гедеонова. Эта служба дала ему возможность стать ближе к театральным, а впоследствии к литературным кругам. Григорович сам стал писать, но первые его вещи были пустяки, написанные по заказу. Более интереса представляет история очерка «Шарманщики», написанного для затеянного Некрасовым издания «Физиология Петербурга»,—она свидетельствует о том, какой сильный толчок развитию реалистического направления дал Гоголь, в духе которого стала воспитываться литературная молодежь. «Писать наобум, дать волю своей фантазии, сказать себе: «и так сойдет!»—казалось мне равносильным бесчестному поступку; у меня, кроме того, тогда уже пробуждалось влечение к реализму, желание изображать действительность так, как она в самом деле представляется, как описывает ее Гоголь в «Шинели»—повести, которую я с жадностью перечитывал. Я, прежде всего, занялся собиранием материала. Около двух недель бродил я по целым дням в трех Подъяческих улицах, где преимущественно селились тогда шарманщики, вступал с ними в

разговор, заходил во всевозможные трущобы, записывал потом до мелочи все, что видел и о чем слышал». Этот рассказ—яркий момент в истории русской литературы, эпизод, одинаково характерный и для «Записок охотника». Изучение жизни, почти научное исследование ее стало одной из задач литературы, покончившей с романтизмом и вступившей на путь реализма. Писатели, художники бросились во все уголки России, стараясь поскорее собрать материалы для предстоявшей великой работы, и литература становилась союзницей общественной науки и публицистики. Большую пользу принесло Григоровичу знакомство с кружком братьев Бекетовых, молодых естественников, у которых он встречал много выдающихся людей, между прочим, Достоевского и поэта А. Н. Плещеева. Кружок оказал на него большое влияние в том смысле, что заставил его впервые серьезно взглянуть на жизнь и задуматься над целым рядом вопросов. До тех пор, по его собственным словам, Григорович читал много, но без всякого выбора и системы, совершенно не интересовался общественными вопросами. В кружке Бекетовых он впервые услышал «живое слово, отрезвляющее ум от легкомыслия»; его самолюбию стало больно за его отсталость, он понял незначительность и незрелость своих прежних произведений, понял, что «дальше так итти нельзя», чувствовал, что «может что-то сделать», но для этого нужны другие условия и, прежде всего, необходимо «расстаться с праздной жизнью» в Петербурге. В 1846 году он уехал в деревню к матери и здесь набрел, наконец, на случай, который послужил сюжетом для первого крупного произведения.

«К матушке,—рассказывает Григорович,—привезли больную молодую бабу. За обедом матушка рассказала ее историю. Ее против воли выдали замуж за грубого молодого парня, которого тоже приневолили взять ее в жены; он возненавидел ее, чему немало способствовали его сестры; начал ее бить в трезвом и пьяном виде и заколотил почти до смерти; баба была в злейшей чахотке и вряд ли могла пережить весну. Она говорила, что ей легче умереть, чем жить; ее сокрушала только судьба дочки, двухлетней девочки: «он и ее заколотит на смерть»,—говорила она. Рассказ этот произвел на меня сильное впечатление. Сюжет повести был

найден. Я тотчас же принялся его обдумывать и приводить в повествовательную форму». И к этому сюжету Григорович отнесся с такой же добросовестностью, как и к «Шарманщикам». Первые главы повести стоили ему неимоверного труда. Он бился над каждой фразой, так как французский язык давал себя чувствовать. Знакомый с простонародным русским языком только по случайно попадавшимся ему книгам, он принялся усердно изучать его практически, проводил часы на мельнице, пользовался всяким случаем, чтобы побеседовать с крестьянами, прислушивался к ладу их речи, записывал выражения, казавшиеся ему особенно живописными и характерными. После четырех месяцев усидчивой работы повесть была готова, и Григорович, полный самых радужных надежд, повез ее в Петербург. Но Некрасов, заваленный делами, продержав ее несколько месяцев, вдруг возвратил ее автору, заявив, что не находит удобным печатать ее в «Современнике». Григорович вынес убеждение, что Некрасов не читал ее и просто хотел отделаться. Благодаря встрече у Бекетовых с известным критиком Валерианом Майковым Григоровичу удалось напечатать ее в декабрьской книжке «Отечественных записок». Белинский отозвался с похвалой о «Деревне», и следующая повесть— «Антон Горемыка» была уже напечатана в «Современнике» в 1847 году. История обстоятельств, которыми сопровождалось появление этого рассказа,—новая характерная страница в истории цензуры. Последняя не разрешила печатать «Антона Горемыку» на том основании, что «бедственное состояние крестьянина представлено в слишком мрачных красках». Рассказ этот был спасен благодаря заступничеству цензора Никитенко. Комитет согласился пропустить повесть под условием уничтожения последней главы. «Она,—рассказывает Григорович,—кончалась у меня тем, что крестьяне, доведенные до крайности злоупотреблениями управляющего, зажигают его дом и бросают его в огонь. А. В. Никитенко, не сказав никому ни слова, сочинил конец, в котором управляющий остается неприкосновенным, а возмутившиеся крестьяне перед тем, чтобы быть отправленными на поселение, каются в своих действиях и просят прощения».

Обе повести Григоровича были встречены сочувственным отзывом Белинского. Если разбор «Деревни» отличался сдер-

жанностью (благодаря тому, что повесть была напечатана в «Отечественных записках», а статья Белинского в «Современнике»), то «Антона Горемыку» Белинский встретил восторженно. Белинский правильно угадал главную черту таланта Григоровича. «Что касается собственно до очерков крестьянского быта, это блестящая сторона произведения Григоровича,—писал Белинский по поводу «Деревни».—Он обнаружил тут много наблюдательности и знания дела и умел высказать то и другое в образах простых, истинных, верных, с замечательным талантом. Его «Деревня»—одно из лучших беллетристических произведений прошлого года». Вместе с тем Белинский находил, однако, что у Григоровича нет «ни малейшего таланта в повести», но есть «замечательный талант для тех очерков общественного быта, которые теперь получили в литературе название «физиологических». Фигуру Акулины критик нашел «довольно бесцветной и неопределенной». Но уже восторженно звучит отзыв о второй повести, когда критик не был связан редакционными соображениями. Белинский даже как будто изменяет свой прежний взгляд и замечает: «Деревня» и особенно «Антон Горемыка» идут гораздо дальше физиологических очерков. «Антон Горемыка»—больше, чем повесть: это роман, в котором все верно основной идее, все относится к ней, завязка и развязка свободно выходят из самой сущности дела. Несмотря на то, что внешняя сторона рассказа вся вертится на пропаже мужицкой лошаденки; несмотря на то, что Антон—мужик простой, вовсе не из бойких и хитрых, он—лицо трагическое в полном значении этого слова. Эта повесть трогательная, по прочтении которой в голову теснятся мысли грустные и важные». Белинский в заключение выражает пожелание, чтобы Григорович продолжал итти по этой дороге, на которой от его таланта можно ожидать так много. «И пусть,—заканчивает критик свой отзыв,—он не смущается бранью хулителей: эти господа полезны и необходимы для верного определения объема таланта; чем бо́льшая их стая бежит вслед успеха, тем, значит, успех огромнее». «Деревня» и «Антон Горемыка» принадлежат к числу лучших произведений Григоровича. Быть может, это даже единственные повести, которыми определяется его почетная роль в истории нашей литературы. В них деланный сантиментализм не так чув-

ствуется. Искренний порыв сострадания к угнетенному народу, стремление добросовестно изучить и в художественных образах запечатлеть его быт составляют неотъемлемые достоинства этих двух произведений, которые остались не только славными памятниками в истории передового барства, но даже и теперь не утратили известного обаяния. Но в этих повестях Григорович вылился весь. Ему нечего было больше сказать обществу. Его последующие большие романы—«Рыбаки», «Переселенцы», «Проселочные дороги», появившиеся в 50-х годах, не выделяются художественными достоинствами. Григорович не обладал чувством меры. Он не умел сосредоточить действия около одной основной интриги, и его романы выходили скучными и растянутыми. Так же неудачны были его повести, изображающие быт городских интеллигентов, пустоту светской жизни, внутренний мир петербургских фатов. Некоторые достоинства автора—его наблюдательность, тонкие и меткие отдельные штрихи—не могли искупить отсутствия глубины и уменья широко захватывать изображаемую среду. Правда, в «Рыбаках», «Переселенцах» и других повестях из крестьянской жизни лучшие качества литературного таланта Григоровича продолжают сказываться: он остается в них тонким, наблюдательным, талантливым живописцем, бытописателем, гуманным и просвещенным врагом насилия и рабства. Но в изображении чувств мужика, его любви, в описании его признаний звучат фальшивые ноты, видна рука культурного человека, переносящего барские переживания в душу простого человека. И недаром за этими крестьянами утвердилась репутация «пейзан», списанных у Жорж-Санд. В 1858 году Григорович совершил большое морское путешествие, результатом чего явился «Корабль Ретвизан», описание этого путешествия. В 60-х годах Григорович прекращает надолго свою литературную деятельность и только в 80-х годах возвращается к ней и пишет ряд рассказов. В 1893 году появляются его «Литературные воспоминания», в которых он сообщает немало интересных фактов о своих великих современниках-писателях, хотя не всегда беспристрастно освещает события. Скончался он в декабре 1899 года.

«Деревня» и «Антон Горемыка» проникнуты одним настроением. Безнадежной тоской и безысходным отчаянием

веет от этих рассказов. Изба, жалкая изба горемычного Антона—символ той приниженности, нищеты и горя, которые свили себе гнездо в русской деревне. Эта изба бросалась в глаза своей ветхостью: один бок ее, примыкавший к околице, почти сгнил до-тла, отчего остальная часть здания покачнулась и села на ту сторону. Кровля от тяжести давившей ее когда-то соломы приняла совершенно другое направление: она сползла наперед и грозила ежеминутным падением. Трубы не было, ее заменял глиняный горшок с выбитым для дыму дном. Деревянный петушок, красовавшийся, вероятно, в лучшие времена на макушке крыши, принял также свое направление во время общего обвала и уныло свесился влево. Единственное оконце, заткнутое лохмотьями и обмазанное кругом глиндю, глядело невыразимо кисло. Изба со всех сторон подпиралась сучковатыми плахами, уподоблявшими ее согбенному старику-нищему, наступившему на костыли свои,—словом, все на ней, как говорится, было и валко, и шатко, и на сторону. Невыразимо тяжело и грустно становилось на сердце при взгляде на это жилище.

Или вот другая картина: «Осень. На дворе холодно; частый дождь превратил улицу в грязную лужу; густой туман затянул село, и едва виднеются сквозь минутную сквознину его ветхие лачуги и обнаженные нивы. Резкий ветер раскачивает ворота и мечет по полям с каким-то заунывным, болезненно хватающим за сердце воем груды пожелтевших листьев. Улица пуста,—ни души живой... Все живущее прячется кто куда может, лишь бы укрыться от холода и ненастья»... И только иногда в упоительный летний день слышится ликование во всей природе, во всем мире, «все трепещет жизнью, все проникнуто ею; каждая травка, каждое растение издает какой-то шелест, сливающийся в стройную нежную гармонию; все, на что устремляются взоры, наполняет душу радостным, непостижимо-прекрасным чувством». Но и это ликование природы только ярче оттеняет беспросветную тоску деревни, бездонное море крестьянских слез. Эти грустные картины—лучшие моменты обеих повестей. В них звучит больше участия к меньшему брату, чем в «Записках» или в «Утре помещика». В них нет идиллического благодушия и тоски передового барства. Мрак, беспросветный мрак окутал деревню в изображении Григоро-

вича. Нигде ни одной смягчающей краски. Ни одного светлого явления, на котором мог бы отдохнуть взор читателя. И если мрачные картины рассчитаны на то, чтобы пробудить сострадание в сердцах угнетателей, а не злобу и месть в сердцах угнетенных, то они выполняют эту задачу с успехом. Автор не щадит нервов читателя, он разрывает его сердце потрясающими картинами, и эти картины явились кстати, когда сотрясался уже старый хозяйственный строй. Они были симптомом, показателем и раньше попыток Нехлюдова и тоски Рудина озарили муки проснувшейся дворянской совести.

Мрачное настроение, проникающее обе повести, составляет их основную черту. Но это настроение не превращает автора в тенденциозного писателя, искажающего действительность в угоду идее. Напротив, Григорович был писатель-реалист прежде всего. Он—почти собиратель документов, касающихся народного быта. Он пользуется каждым фактом для того, чтобы сообщить читателю то или другое сведение относительно народных обычаев, и иногда из роли художника переходит в роль этнографа. Этот интерес к народному быту, это стремление к изучению народной жизни, так долго бывшей в пренебрежении у высших классов, является второй характерной чертой творчества Григоровича. Не только славянофилы, обогатившие русскую литературу ценными трудами, касавшимися различных сторон народной жизни,—все бросились изучать ее в эпоху, когда явилась необходимость заплатить свой долг русскому крестьянину. Григорович в этом отношении, быть может, наиболее характерный писатель эпохи. Мы уже видели, как добросовестно он изучил деревню, прежде чем приступил к своей работе. И, действительно, в его повестях немало интересных сведений. Рассказывая о том, как после смерти скотницы ее родственницы решили жребием определить, кому достанется оставшаяся после нее сиротка, автор сообщает, что этот способ решает в деревнях всякого рода недоразумения. У него же мы находим сведения вроде следующего: «Слово авось играет у нас, как известно, и поныне весьма важную роль и прикладывается русским мужиком не только к его собственному житью-бытью, но даже к житью-бытью детей его. Самый нежный отец, самая заботливая мать

с невыразимой беспечностью предоставляют свое дитяще на волю судьбы, нисколько не думая даже о физическом развитии ребенка, которое считается у них главным и в то же время единственным, ибо ни о каком другом и мысль не заходит им в голову. Не успеет еще ребенок освободиться от пелен, как уже поручают его сестре, девочке лет четырех-пяти, которая няньчится с ним посвоему, т. е. мнет и теребит его во сколько хватает силенки, а иногда так пристукнет, что и через двадцать лет отзовется». Эти сведения были открытием для русского общества, которое впервые узнавало о том, что миллионы детей оставались без призора, что дети, отмораживающие себе ноги, забоданные быками, тонущие в ушате или раздавленные крестьянской телегой, представляют обычные явления в крестьянском быту. Эта черта творчества Григоровича была чертой того благородного реализма, который Белинский сумел определить благодаря появлению этой новой литературы после Гоголя. Это был тот реализм, который ставит задачей художественной литературы собирание документов о человеке и обществе. Этот реализм расширил содержание литературы до необъятных пределов, низвел ее из сферы барских чертогов и возвышенных чувств в беспросветный мрак народного невежества и горя. Это был тот реализм, который уничтожил резкую границу, отделяющую науку от литературы, и превратил писателя в ученого исследователя. И именно этот реализм сделал литературную деятельность общественным служением, потому что изображать правдиво быт народа— это значило звать к борьбе: факты сами говорили за себя.

Первая повесть—«Деревня»—раскрывает перед нами главным образом семейную жизнь крепостного крестьянства и наивное бессердечие дореформенного барства. Бесчеловечный поступок помещика производит тем более потрясающее впечатление, что совершивший его не понимал того, что творил. Он не был, в сущности, злым человеком и, быть может, искренно верил, что устраивает настоящую счастливую семью. Случайно барин, проводивший обыкновенно лето за границей или на даче, заглянул в свою деревню, случайно попалась ему на глаза злополучная Акулина, и не в добрый для нее час вздумал кузнец Силантий просить

барина, чтобы пожаловал он ему невесту. И не вздумай барин заехать в свое имение, протекла бы молодость Акулины, протекла бы до конца печальная жизнь ее «тихо, без треволнений и переворотов». Но каприз барина и его молодой супруги с трогательными филантропическими наклонностями превратил жизнь Акулины в ужасную трагедию. Кузнец хотел женить своего сына на девке из соседней деревни, а каприз барина заключался в том, чтобы женить его на девке из своей деревни, а так как он случайно вспомнил об Акулине, то и приказал кузнецу обвенчать своего сына с нею. Автор тонко обрисовал добродушие наивного деспота, обрушившего тяжелый удар на целую семью, превратившего в ад жизнь двух существ. Тщетно старуха Силантия обнимала ноги барина «с плачем и воплем» и умоляла его «не губить парня». Помещик прогнал «глупую бабу». Акулина подстерегала барина, собираясь просить его о пощаде, но каждый раз, как она видела его, решимость покидала ее: «затаив дыхание, дрожа, как осиновый лист, пропускала его мимо, дав себе слово в следующий же раз без обиняков броситься в ноги к нему и прямо рассказать, в чем дело. Но много раз на день являлись такие случаи, и тысячу раз результат выходил один и тот же». Она не смела даже шевельнуться, боясь обратить на себя его внимание. Трагическое впечатление усиливается тем, что помещик был «человек добрый, благонамеренный и отнюдь не давал своим подчиненным повода трепетать в его присутствии». Он шел себе спокойно, «слегка покуривая сигару, беспечно поглядывая на стороны и не подозревая даже, что за соседним плетнем или обвалившейся перегородкой могло происходить что-либо подобное». Барыня, которую едва удалось заманить на лето в деревню, между прочим, соблазном филантропической деятельности среди крестьян, сначала заинтересовалась судьбой Акулины. Но едва началось венчание, она «почувствовала тоску, сильный позыв к зевоте; крестьянская свадьба, заинтересовавшая ее дня три тому назад, казалась ей скучным удовольствием; невеста была глупа и выглядывала настоящим уродом; жених и того хуже». Господа уехали домой, а вскоре навсегда покинули свою деревню, оставив страдать двух чуждых друг другу людей, которых на всю жизнь связала их барская прихоть,

подарив им на прощание беленькую бумажку и заповедав жить «мирно и дружно».

Таковы помещики в изображении Григоровича. Крестьяне вышли не лучше. Отсутствие человеческого достоинства и какого бы то ни было нравственного начала, невежество и пьянство, воровство и зверское бессердечие,—только эти черты подметил автор в крестьянском быту. «Деревня»—печальная картина семейной жизни. Первый день замужества Акулины вполне выразил всю ее жизнь, все, что ожидало ее в будущем. Вернувшись домой пьяным, Григорий схватил ее за волосы и одним движением руки поверг на землю. «Бешенство, казалось, обуяло Григория; тут все разом завозилось в голове его: и неволя, с которою он женился, и посторонние неприятности, и хмель, и происшествие утра,—кровь путала его; сначала долго возил он бедную женщину взад и вперед по избе, сам не замечая, что беспрерывно стукался по углам и прилавкам, и, наконец, потащил ее вон». Акулина—тип забитой русской крестьянки, переходящей из одних рук в другие, тип, точно выхваченный из народной русской песни, поющей о неволе и горькой доле женщины, выданной замуж за нелюбимого человека. И недаром эпиграфы к различным главам автор взял из народных песен:

Ах, раскройся, мать-сыра-земля,
Поглоти меня, несчастную!
Ах, не жаль-то мне роду-племени,
Не жаль-то мне родимой сторонушки;
Мне жаль-то малое дитятко:
Останется дитятко малешенько,
Малешенько дитятко, глупешенько,
Натерпится холода и голода.

Каждая глава—иллюстрация к этим отрывкам. И в результате этой подневольной жизни—живой труп. Через четыре года после замужества трудно было узнать Акулину. «Оставалась только сухая, отцветшая кожа да страшно выглядывавшие кости. Бледное лицо, изнуренное тяжкой жизнью и безвременьем, покрылось морщинами; скулы сильно выступили под мутными впалыми глазами, и вообще по всей физиономии проскальзывала какая-то ноющая, неотразимая грусть, виднелось что-то столь печальное и уны-

лое, что нельзя почти было отыскать в ней и тени былого. Поступь ее стала медленна; идучи, она беспрерывно останавливалась, прикладывала свою тощую руку к груди, и вслед за тем слышался тяжелый, жестокий, долго не прерывавшийся кашель. Она видимо чахла»... И когда умирала Акулина, ее последняя мольба была об ее девочке Дуньке: «не бей ее». Любовь к Дуньке—единственная светлая точка в этой мрачной картине. Повесть заканчивается потрясающей сценой похорон. В страшную вьюгу повез пьяный Григорий убогий гроб на кладбище, и вдруг среди завывания ветра и шума метелицы услышал крики. То бежала за гробом Дунька. «А вьюга становилась все сильнее да сильнее; снежные вихри и ледяной ветер преследовали младенца и забивались ему под худенькую его рубашонку, и обдавали его посиневшие ножки, и повергали его в сугробы... но он все бежал, все бежал... вьюга все усиливалась, вой ветра становился слышнее и слышнее; то взрывал он снежные хребты и яростно крутил их в замутившемся небе, то гнал перед собою необозримые тучи снега и, казалось, силился затопить в нем поля, леса и все Кузьминское со всеми его жителями, амбарами, угодьями и господскими хоромами»....

«Антон Горемыка» служит дополнением этой печальной повести, в которой освещен семейный быт крестьянина и наивная жестокость барства. Во второй повести перед нами раскрывается весь ужас бесправия и произвола, жертвой которого делается обездоленный горемыка. Управляющий Никита Федорович самой внешностью своей производил отвратительное впечатление. На первый взгляд не было ничего отталкивающего в «важности и спокойной гордости», стоявших всегда в чертах этого человека, «сознающего в себе чувство собственного достоинства»; его фигура, напротив того, имела какую-то приятную соразмерность, даже стройность и была чрезвычайно характерна. «Но если всмотреться хорошенько,—говорит автор,—нельзя было не прочесть в этих серых бойких глазах, в этой толстой круглой голове, важно закинутой назад, в этих толстых раздувшихся губах что-то столь наглое, дерзкое и подлое, что невольно напоминало любимца-камердинера, или дворецкого, или вообще члена многочисленной семьи мерзавцев богатой избало-

ванной дворни или аристократической передней». Просить милости у Никиты Федоровича было совершенно напрасным делом. Мужики прекрасно знали это и называли его «колотырником». Дрался управляющий без всякого повода, колотил и баб и мужиков; «просто, здорово живешь, казнит нашего брата»,—рассказывали про него крестьяне. Карьеру свою он сделал нечистыми путями. Старый барин выдал за него свою любовницу. Она и выпросила для своего мужа место управляющего. В бесконтрольное распоряжение этого человека была отдана судьба сотен людей. Тяжелая картина бесправия и насилия раскрывается в рассказе одного из мужиков. После смерти старого барина молодые господа, сын и дочь его, поселились в Петербурге. Они никогда не заглядывали в свою деревню, и смущенный крестьянский ум не винил их; «они рады бы, может, особливо барин, в чем помочь мужикам своим, да, вишь, от них все шито да крыто; им сказывают: то хорошо, другое, хорошо, знать, мол, жить нашим крестьянам, ну и ладно, они тому и верят, а господа хорошие, грех сказать». Они души не чаяли в управляющем. Доведенные до отчаяния, мужики отправили к господам жалобу. Но письмо не дошло по назначению, так как Никита Федорович имел своих друзей при господах. Узнав о жалобе, управляющий созвал мужиков и потребовал назвать виновника. Трепеща от ужаса, мужики почему-то решили сделать козлом отпущения Антона: «маленько мы поплошали тогда, сробели». С тех пор началась казнь Антона. Его брата Ермолая, женатого парня, Никита Федорович «записал в первое рекрутство», а Антона стал тягать на барщину без перерыва. Запустил Антон собственную землю, братнина семья у него же на руках осталась. Далее у Антона отняли его участок земли и дали ему самый плохой во всей вотчине. Стал разоряться некогда зажиточный мужик, стал продавать то лошадку, то корову, то овцу. И продавал за бесценок, так как управляющий не пускал его в город, и приходилось сбывать все в деревне, где неимущие мужики платили гроши. «Так-таки совсем и разорил его,—заканчивает свой рассказ крестьянин,—довел дотолева, что не осталось у него в доме ни полщепочки, живет как бы день к вечеру, и голодную собаку нечем стало из-под лавки выманить». По отношению к господам Никита Федорович держался искусной поли-

тики. Он прекрасно изучил их и знает, как вести себя, чтобы сохранить их безусловное доверие. Собрав оброк, он не посылает денег барину, так как через своего брата, состоящего при барине, знает, что деньги ему теперь не нужны, и что барин «опять стал ездить на игру». «Меня не учить,—говорит Никита Федорович жене,—я ведь знаю, как с ними справляться, с господами-то: «нет у меня денег», написал ему, да и баста! «пар, мол, сударь, не запахан, овсы не засеяны, греча перепрела», вот тебе и все; покричит, покричит, да и перестанет; разве они дело разумеют; им что греча, что овес, что пшеница—все одно, а про чечевицу и не спрашивай... им вот только шуры-муры, рюши да трюши, да знай денежек посылай; на это они лакомки». И, пользуясь этой небрежностью помещиков, Никита Федорович хозяйничает в полуразоренном имении, берет взятки с мельника, которому мирволит, позволяет спаивать народ и всеми способами обогащается на счет своего барина.

Задача повести заключалась в том, чтобы тронуть сердце читателя трагической участью Антона, жертвы бесправия. Управляющий приказал Антону продать последнюю лошадь и внести подушные. Поездка горемыки в город, кража его лошади и беспомощное состояние мужика—лучшие эпизоды повести. Суд, закон, полиция—все, что могло помочь Антону, все, что питалось каторжным трудом его и его собратьев,—все это оказалось чуждым, неприступным, непонятным и далеким в минуту крестьянского горя. «Слушай, Антон, коли так, вот что ты сделай: беги прямо в суд, никого не слушай, ступай как есть в суд». И этот наивный совет мужика и советы других мужиков, называющих наиболее известные притоны конокрадов, звучат насмешкой над бедой Антона. Где-то существовала чиновная и бюрократическая Россия, поглощавшая плоды труда миллионов крестьян, где-то сидели чиновники, скрипели перья, писались бумаги, раздавались чины и награды, и никому не было ведомо, что́ общего между этой командующей канцелярской Россией и той тяжкой повседневностью, которая угнетала стомиллионный народ. Чувствовал ли Григорович, в чем заключалось основное зло? Имел ли он в виду объявить беспощадную войну крепостному праву и бесконтрольной бюрократии и дать выход тому настроению, которое вскоре приобрело

определенную формулировку в умах всех мыслящих людей: «отмена рабства». Стоит прислушаться внимательно к общему тону повестей: мы увидим, что он является не чем иным, как одним из аккордов той общей покаянной песни, которую пели представители передового барства. Вопрос об отмене крепостного права даже не затрогивается в повестях. Если даже принять в расчет цензурные искажения, то и то придется вывести заключение, что «Антон Горемыка» направлен не против помещиков, а против управляющего, что автор имел в виду не столько самый институт крепостничества, сколько злоупотребления, возникавшие на его почве. Можно подумать, что Григорович не сознавал, что самый факт существования рабства влечет за собою в качестве неизбежного следствия и нищету, и побои, и произвол. Повести Григоровича давали богатый материал для выяснения необходимости назревшей реформы, они могли служить могучим орудием в руках противников крепостного права, их революционизирующие влияние не подлежит сомнению. Но едва ли можно спорить о том, что сам автор больше был занят мыслью об исправлении помещиков, о возвращении их к их обязанностям в деревне, чем мыслью об уничтожении власти помещиков над крестьянами. Он писал не для угнетаемых, а для угнетателей. Его «Деревня» преследовала только одну цель. Она должна была сказать помещикам: «Не поступайте так, как поступил Иван Гаврилович, не пропадайте по целым годам вдали от своих деревень, живите здесь, на месте, вдумывайтесь глубже в нужды и интересы крестьян, не относитесь к ним с той барской небрежностью, с какой отнесся к Акулине ее барин,—и ваши имения будут процветать, крестьяне будут благоденствовать, и совесть ваша будет чиста». Какое другое значение могут иметь эти постоянные указания на то, что основной причиной всех несчастий крестьянства является отсутствие помещика, его невнимание к нуждам своих рабов. И в первой и во второй повести к этой первопричине сводится трагедия главных действующих лиц. Плохо приходилось мужику и тогда, когда господа не заглядывали в свои усадьбы по целым годам, и тогда, когда, отвыкнув от них, они являлись неожиданно и своим случайным вмешательством в жизнь деревни,—вмешательством, не основанным на глубоком изучении ее нужд,—

наносили ей удары. Именно эта идея сквозит в тех иронических словах, в которых автор говорит об Иване Гавриловиче: «Ему уже, правда, давно приходила мысль заглянуть туда (в свое имение) хоть раз, посмотреть, все ли шло там должным порядком, да как-то все не удавалось: то как на-зло одолеют ревматизмы, и надо покориться воле врача, предписавшего непременную поездку в Баден или Карлсбад, а оттуда в Париж, где, по словам врача, только и можно было ожидать окончательного выздоровления; то опять являлись какие-нибудь домашние обстоятельства: жена родила, или общество, в котором барин был одним из любезнейших членов, переселялось почти на все лето в Петергоф или на Каменный остров на дачи, или же просто не случилось вдруг ни с того, ни с сего денег у нашего барина». Эта же идея слышится и в словах мужиков, рассуждающих после несчастья, случившегося с Антоном: «Кабы они (т. е. господа) здесь жили или понаведывались, примерно, хоть на время, так иная была бы причина».

Если искать положительного идеала у Григоровича, то мы увидим, что этот идеал (хотя, быть может, не так ясно, как у Толстого) вырисовывается в виде помещика-хозяина вроде Левина,—помещика, умеющего рационально вести свое хозяйство, хранящего в своей душе вековую традицию о долге дворянства как руководящего класса. Как ни различны воззрения Тургенева, Толстого и Григоровича, но в этих воззрениях есть общая основа: все трое ищут исхода в деревне, в сложившихся веками отношениях, все трое враждебны или чужды вновь возникающим формам жизни. У Тургенева крупный предприниматель-буржуа обрисован бледно; фабрику он изредка покажет читателю, но как нечто отдаленное, для него самого еще неясное и неопределившееся; рабочих мы не видим у Тургенева, если не считать двух-трех мимоходом брошенных фраз об их отношении к Соломину. Зато тоску дворянской души, ушедшей от земли, рвущейся к делу, муки дворянина, пытающегося пахать землю, он знает и вскрывает во всех самых скрытых тайниках. Толстому не только чужды, но враждебны и неприятны новые классы общества, которым суждено было историей занять место сходящего со сцены землевладельческого барства. Он тенденциозно изображает Рябининых и Болгариновых в качестве

людей, принесших в мир идею голого «чистогана» на место идеалов труда, на место нравственных исканий, которых носителями у Толстого прежде всего являются представители родовитого и богатого дворянства. Мучительные вопросы, терзавшие русское общество, и Тургенев и Толстой стремились разрешить в деревне, игнорируя или не понимая другие общественные группы. Григорович в этом смысле дополняет круг идей, в котором вращалось передовое дворянство эпохи.

Автор «Деревни» наполняет целые страницы своих романов параллельными характеристиками крестьян и фабричных, причем все его симпатии на стороне прежнего, крепостнического уклада. Характерно, что писатель, создавший «Антона Горемыку», показавший безысходный мрак и безнадежное горе крестьянской жизни, тем не менее, боится расстаться с укладом, создавшим эти ужасы, когда дело доходит до решительного слова. Он с ненавистью рисует разлагающее влияние фабрики на деревню. Казалось бы, после «Деревни» и «Антона Горемыки» можно было бы не жалеть о гибели этого старого мира. Но, изобразив правдиво неприглядную жизнь деревни, Григорович старается удержать этот старый мир, как только столкнулся с новой силой, грозящей ему гибелью. Он пишет большой роман из деревенской жизни—«Рыбаки», где излагает результат своих наблюдений над «мужиком-фабричным, променявшим соху на челнок, ниву на стан, и мужиком-пахарем, который остался верен земле-кормилице». Вот эти результаты: «Первое впечатление при въезде в пахотную деревню будет, если хотите, не совсем выгодно: тут не увидите вы ситцевых рубашек, самоваров, синих кафтанов, не увидите гармоний и смазных сапогов; но все это, в сущности, одна только пустая внешность, которая может обмануть поверхностный, далеко не наблюдательный взгляд. Взамен всего этого пахотная деревушка, подобно плоской однообразной ниве чернозема, засеянной свежим неиспорченным зерном, сохраняет под скромной наружностью самые добрые семена. Тут только найдете вы ту простую, бесхитростную жизнь, тот истинно здравый житейский смысл, который заключается в безусловной покорности и полном примирении с скромной долей, определенной провидением; тут видна до-

машняя, семейная жизнь, которая для всякого человека,— тем более для простолюдина,—служит залогом истинного счастья». Едва ли нужно доказывать, что Григорович идеализирует в подчеркнутых нами словах те же черты, которые увековечил Тургенев в лице Касьяна и Лукерьи, а Толстой—в лице Платона Каратаева. Все три писателя, гуманные противники рабства, искатели правды и поборники счастья народного, не могли выйти из заколдованного круга деревни и, может быть, бессознательно воплощали с особенной любовью тот идеал смирения и покорности, который как раз вырос на почве крепостнического строя. Все трое чувствовали, что где-то создается новый уклад отношений, но, воспитанные в обстановке усадебной культуры, все трое не отнеслись к нему с надлежащим вниманием, не поняли, что именно там куются формы будущей жизни, что там нужно искать разрешения мучительных вопросов. Тургенев не мог понять этого нового мира и кончил пессимизмом. Толстой отверг его, и когда этот мир возник на развалинах старого, прошел мимо него, объявил ложью кипевшую внутри его борьбу, его горе и радости, остался одиноким сектантом, стоящим вне широкой и шумной дороги жизни. Григорович кончил фальшивой идеализацией крестьянства, им же описанного в мрачных, но правдивых красках в его первых произведениях. «Рыбаки»—яркий пример этого сантиментального народничества. Это—обвинительный акт против зачинающейся промышленной жизни и бессильные попытки спасти умирающее. В фабричных деревнях,—говорит автор «Рыбаков»— почти нет семейной жизни: здесь дети восьмилетнего возраста поступают уже на фабрику к какому-нибудь московскому или коломенскому купцу. Дурные примеры губят молодое поколение. Рабочие отвыкают от семьи, разврат свивает себе среди них прочное гнездо. И в то же время автор чувствует, что «развитие промышленности сильнейшим образом способствует развитию материального благосостояния народа».

Этой идеей о разлагающем влиянии фабрики проникнут роман «Рыбаки». Все отрицательные черты рабочего, как они представляются Григоровичу, воплощены в лице Захара, который оказывает гибельное влияние на Гришку, приемыша старого рыбака Глеба. Семья Глеба—образец трудовой нравственной семьи, где все держится прочностью традиции и се-

мейного начала, повиновением главе семьи, Глебу, человеку крутому, но трудолюбивому и сильному. Глеб суров только к праздности и пьянству, но он всегда готов поддержать работающего и полезного человека. И Глеба боятся все. Даже сам Захар, бравирующий перед всеми, робеет перед Глебом. Захар—«питомец фабрики», и его история—это история превращения крестьянского мальчика в негодяя под влиянием условий фабричного труда. С семи лет до восемнадцати он просидел безвыходно за миткалевым станом. Когда дядя, «человек строгий, кредитный», взял его к себе, было уже поздно: Захар был испорчен, волокитство и разные проделки были его любимым занятием. Не помогла и женитьба, при помощи которой дядя думал вернуть парня на истинный путь. После смерти дяди и жены Захар пошел снова по фабрикам и приобрел отвратительные замашки и самомнение. Он занимался своей наружностью, гордился своими «победами над прекрасным полом», научился хвастаться и имел особые, наглые манеры и развязный тон. Он научил Гришку пьянству и разврату, и «польстился—как выразился Глеб—на жену его». И в противоположность Захару, вносящему деморализацию в деревню, Ваня, сын Глеба, должен воплощать ту народную правду, которая хранится только в деревне. Ваня жертвует собою ради Гришки, которому уступает любимую девушку Дуню и за которого идет в солдаты. Когда возмущенный Глеб, уже определивший мысленно в солдаты Гришку, чуть не с кулаками бросается на сына, Ваня говорит: «Выслушай меня, батюшка, слова мои, может статься, батюшка, горькими тебе покажутся... Я, батюшка, во веки веков не посмел бы перед тобою слова сказать такого; да нужда, батюшка, заставила!.. Я, батюшка, пришел переговорить с тобою о Гришке... Батюшка, что ты делаешь? Опомнись... Зачем же ты тогда воспитал его? Затем ли поил, кормил, растил его, чтобы потом за нас, за сыновей твоих, ответ держал... Батюшка, что ты хочешь делать? Опомнись. Ведь это выходит, батюшка, делами добрыми торговать... Не бери, батюшка, тяжкого греха на свою душу!.. Господь благословил нас, берег твой дом, дал тебе достаток... сам ты сколько раз говорил об этом... Господь отступится от нас за такое дело! Достаток твой не будет тогда божьим благословением, все пойдет прахом—все назад возьмет! За то и берег он нас. Сам же ты гове-

ришь, что жили по правде!» И не столько в этой проповеди сына, сколько в действии, произведенном ею на крутого старика, сказываются искуственность и фальшь, столь свойственные Григоровичу в его рассказах после «Деревни» и «Антона Горемыки». Трудно поверить, что суровый Глеб, никогда не изменявший своих решений, под влиянием слов сына сделал ошибку, имевшую гибельные последствия для всей семьи. Заслуга Вани еще увеличивается тем, что он никому не рассказывал о величии своей жертвы. Никто не узнал, что Ваня любил Дуню, что он мог достичь счастья, потому что родители обоих уже решили сосватать их, что он уступил ее Гришке, решив не быть им помехой, и т. д. «Так простой русский человек совершает всегда великодушные поступки!» Этими фальшиво звучащими словами заканчивает автор рассказ о жертве Вани. Нет надобности доказывать, что целые томы подобных восклицаний не могут сравняться с одной фигурой Каратаева в смысле достижения тех целей, которые преследовал автор. Критика давно уже установила, насколько искусственны нежные и добродетельные пейзане Григоровича, и его значение в литературе определяется главным образом «Деревней» и «Антоном Горемыкой», занимающими почетное место среди памятников покаяния и тоски передовой части русского барства.

Тургенев, Толстой и Григорович увековечили важный момент в истории русской общественной мысли. Но характеристика этого момента была бы не полна, если бы мы не остановились на другом крупном течении в русской литературе той эпохи. Мы имеем в виду то эстетическое направление, которое тоже звало в сторону от жизни, звало в мир фантазии, по ту сторону земли. Оно имело своим источником то же недовольство действительностью, и лучшими представителями его также были отпрыски старинных дворянских фамилий.

IX.

Связь между общим настроением сороковых годов и символической поэзией. — Романтический характер этой эпохи и Тютчев. — Биография и личность Тютчева. — Политические статьи и политическая поэзия. — Философская лирика Тютчева.

Характеризуя сороковые годы, стараясь поставить великие художественные дарования, обвеянные их основным настроением, в рамки общего исторического развития, мы на-

талкиваемся на одно крупное литературное явление, которое на первый взгляд представляется как бы стоящим вне колеи. В эпоху, когда формировались наши общественно-литературные направления, когда жил и писал Белинский, родоначальник нашей новейшей общественно-литературной мысли,—в эту эпоху расцвела «чистая поэзия», явились великие поэтические таланты, муза которых пренебрежительно отвернулась от земли, витала в довременном хаосе, звала к слиянию с беспредельным, пела «мир бестелесный, слышный, но незримый» и была музой интимнейших настроений души. Каким образом в медовый месяц союза русской литературы и русской общественной мысли могла явиться поэзия, которую даже наиболее вдумчивые критики-общественники склонны изучать вне исторической преемственности? В эту эпоху пели свои песни Фет и Майков, в эту же эпоху создавал свою философскую лирику поэт, которого можно назвать величайшим из русских символистов. Имя Тютчева стало знаменем для всех сторонников идеи чистой поэзии. Наш модернизм имеет в его лице великого предшественника и учителя. Более чем за полвека до появления первых официальных русских символистов прозвучал тот призыв, к которому в итоге сводятся все разнообразные мотивы романтизма и модернизма. Это—призыв, говоривший о существовании высшего, более значительного мира, того мира, бледным отражением которого служит мир явлений, мир нашей действительности. Это—призыв, говоривший о том, что не разумом, не опытом и наблюдением, не научным объективным исследованием постигается тот самодовлеющий абсолютный мир, а непосредственным созерцанием души. Это—призыв, говоривший о том, что поэзия является посредницей между миром явлений и миром абсолютным, что только она открывает в явлениях присутствие этого высшего вечного начала, приобщает ему человека и становится религиозным культом, разрывая препоны между земным и потусторонним, постигая во временном вечное, в преходящем—бессмертное. Словом, это был призыв к небу, уводивший от земли. И этот призыв звучал именно в 40-е и 60-е годы так торжественно и благоговейно, как никогда после. И звал к этому служению вечности такой глубокий философ-поэт, равного которому не выставляла впоследствии символическая поэзия. Именно в самые зем-

ные», в самые общественные десятилетия XIX века поэтический гений нашел наиболее сжатые и сильные слова для выражения настроений, чуждых земле и враждебных общественному началу, создал образы, едва вмещающие богатство заключенных в них «вечных» идей.

Но это недоразумение только кажущееся. В действительности, быть может, ни один из современников Тютчева не имеет такого неотъемлемого права на имя писателя сороковых годов, как именно он. Никто глубже его не проник в душу современного ему поколения и не выразил так сильно его сокровенную жизнь. Когда сопоставляешь лирику Тютчева с порывами Белинского и Герцена, когда вспоминаешь грустные мысли Рудина и Нехлюдова и мистические порывы славянофилов, тогда все яснее становится, что из одного источника вытекали все эти несходные на первый взгляд и мечты и идеи, и что в поэзии Тютчева они нашли свое высшее объединение. Если не считать Белинского, порою вносившего первые бодрые, жизненные звуки в меланхолические мечты догорающего барства, то мы увидим, что 40-е годы, их идеология имеет и общее происхождение и общий яркий признак. По происхождению все яркие писатели этой эпохи—представители усадебного дворянства. Общий признак, связующий их несходные настроения и идеи, это—тот признак, благодаря которому эта эпоха названа эпохой «лишних людей». И Тютчев не только не исключается из этого общего настроения. Напротив, было бы непонятно, если бы среди путей, по которым устремлялась мысль просвещенного барства в эпоху потрясения усадебного уклада жизни, не было бы пути, нашедшего свое яркое выражение в лирике Тютчева. Теперь на историческом отдалении нам ясно, как много общего было между Аксаковым и Герценом, Тургеневым и Станкевичем, даже между западниками и славянофилами в те времена, когда они еще считали себя непримиримыми врагами. Мы знаем, как тесно были связаны те и другие с духовной культурой русского дворянства. В то время противники не сознавали, что их роднит общий признак, который в глазах следующего поколения будет казаться более значительным, чем все их разногласия. Этот признак—идеализм, теоретический характер их верований, то, что делало их одинаково «лишними людьми». Следующее поколение жесто-

ко посмеялось над этой мечтательностью. Оно поставило эту мечтательность во главу угла при своей оценке «отцов». Это поколение мало интересовалось тем обстоятельством, что одних мечты приводили к восхвалению допетровской Руси, других—к восхвалению Петра. И те и другие были одинаково лишними людьми для нового, бодрого и сильного поколения шестидесятников-разночинцев. Писарев и Добролюбов разрушали идеализм и теорию, водворяли реализм и научное направление в литературе; им не было дела до споров между западниками и славянофилами. Правда, было различие между теми и другими и с точки зрения последующих поколений. В то время как славянофильство умерло естественной смертью, западничество послужило переходом к последующим течениям русской мысли. Расширяя область своих идей, овладев даже наиболее жизнеспособными идеями славянофилов, вобрав в себя новые разночинские элементы, западничество стало тем источником, из которого широкими потоками разлились все прогрессивные течения русской общественной литературной мысли. Но это случилось тогда, когда западничество, и в первый период своей жизни не укладывавшееся в рамки своего узкого названия, перестало быть дворянским направлением, а стало выражением разнообразных стремлений и идей, выдвигавшихся новыми общественными силами.

Если таковы были сороковые годы, если для следующих поколений, по мере того как эта эпоха отодвигалась вглубь истории, все более и более отчетливо выделялся основной признак эпохи, покрывавший все оттенки и различия, то не значит ли это, что отмеченный признак был именно проявлением ее сокровеннейшего смысла. Этот признак—мечтательный идеализм, оторванность от реальной почвы, сознание своего одиночества. И было бы странно, если бы именно в эту эпоху не расцвела символическая поэзия, ищущая вечного в явлениях, зовущих к слиянию с абсолютным. В эту эпоху молодежь зачитывалась Шеллингом и Гегелем, которые вызывали в душе сладкое видение вечности. В это время Белинский писал: «Весь беспредельный, прекрасный божий мир есть не что иное, как дыхание единой, вечной идеи (мысли единого, вечного бога), проявляющейся в бесчисленных формах, как великое зрелище абсолютного единства

в бесконечном разнообразии... Он воплощается в блестящее солнце, в великолепную планету, в блудящую комету; она живет и дышит и в бурных приливах и отливах морей, и в свирепом урагане пустынь, и в шелесте листьев, и в журчании ручья, и в рыкании льва, и в слезе младенца, и в улыбке красоты, и в воле человека, и в стройных созданиях гения». И критики-общественники, прекрасно выявившие происхождение этих мыслей Белинского из тогдашних общественных настроений, склонны изучать вне общественной перспективы поэзию Тютчева, которая была, в сущности, поэтической иллюстрацией к приведенной тираде. Гуманное и мыслящее барство эпохи металось в поисках идеала и дела. Вековая гармония рушилась. Те, кто стояли так долго во главе экономической и умственной жизни страны, оказывались не у дел с начавшейся ликвидацией крепостнического строя. Его разрушение началось до его официальной отмены, и мысль просвещенного дворянства направлялась по тем путям, по которым неизбежно устремляется мысль господствующего, умственно превосходного класса, когда перемены, совершившиеся в структуре общества, ведут к упразднению старой организации и старых представлений. Сходные условия порождают сходные литературные идеи и формы. «Стихотворения в прозе» Тургенева представляют местами буквальное сходство с диалогами Леопарди, «лишнего человека» другой страны, лишнего почти в том же смысле, в каком были лишними Рудины и Нехлюдовы. Порыв к вечному, жажда слияния с абсолютным, ощущение небесной гармонии в видимых явлениях действительности — эти мистические настроения перестают казаться загадочными по мере того как тщательнее изучаются реальные условия, порождающие их. Эти настроения, одушевлявшие романтиков и подхваченные нашими поэтами 40-х годов, неизбежно развиваются в те времена, когда общество лишено возможности активно воздействовать на жизнь, и притом особенно развиваются в определенной среде: среди людей с независимым материальным положением, с благодушным отношением к жизни и развитыми умственными интересами—словом, среди людей, которым долгие годы командования и привилегированного материального положения обеспечили возможность развивать в себе эстетические вкусы и привычку к работе ума. Если разночинец

Белинский скоро отрешился от своего мечтательного идеализма, то этот последний до конца не покинул Тургенева и Тютчева, Аксаковых и Герцена. Белинский в тот период своей жизни, когда он начинал сознавать опасный характер своих мистических увлечений, прекрасно охарактеризовал путь, по которому направилась отрешившаяся от жизни поэзия. В своей статье «Русская литература в 1841 году» он писал: «Романтизм — это мир внутреннего человека, мир души и сердца, мир ощущений и верований, мир порываний к бесконечному, мир таинственных видений и созерцаний, мир небесных идеалов... Почва романтизма не история, не жизнь действительная, не природа и не внешний мир, а таинственная лаборатория груди человеческой, где незримо начинаются и зреют все ощущения и чувства, где неумолкаемо раздаются вопросы о мире и вечности, о смерти и бессмертии, о судьбе личного человека, о таинствах любви, блаженства и страдания... Обаятелен этот фантастический, запертый в самом себе мир; средние века жили в нем безвыходно; наше время, выступившее из него же, не отрешилось от него, но расширило его новыми элементами и уравновесило их, помирило его с историей и с практической деятельностью. Горе тому, кто, соблазненный обаянием этого внутреннего мира души, закроет глаза на внешний мир и уйдет оттуда в глубь себя, чтобы питаться блаженством страдания, лелеять и поддерживать пламя, которое должно пожрать его!.. Люди с сильными натурами, погружаясь в эту пучину внутреннего созерцания, могут сделаться мистическими сомнамбулами, вдохновенными безумцами, живыми тенями в чуждом и страшном для них мире действительности». Белинский в этих вдохновенных строках гениально отметил, что романтизм—не выдумка поэта. Это—душевное состояние, периодически повторяющееся, и притом состояние людей, ушедших от «истории, жизни действительной, от природы и внешнего мира». Он предостерегал тех, кто позволял этому душевному состоянию покорить себя. В прекрасном определении Белинского романтизм расширяется до значения великого общественного факта. Это—определенный момент общественной психики. Не в поэзии только отыскал великий критик слова, определяющие романтизм. Жизнь бросила большую группу людей, притом людей по своему социаль-

ному положению наиболее образованных и мыслящих, в объятия «внутреннего мира души», сделала их «живыми тенями в чуждом и страшном для них мире действительности». Поэзия Тютчева была глубочайшим выражением этой сокровенной сущности души его поколения. И она должна изумлять нас не тем, что стоит обособленно от настроений эпохи. Напротив, поражает, как в сжатых образах так глубоко воплотилась жизнь коллективной души тогдашнего общества, как ясно слышал поэт то, что объединяло людей родственного ему склада души. А в то время все, что мыслило, выросло в той же атмосфере барства, которой дышал Тютчев. Никогда общественная жизнь не складывалась так благоприятно, чтобы «этот фантастический, запертый в самом себе мир» мог развиться до своего логического конца, чтобы были исчерпаны все философские и эстетические возможности, возникающие в этом мире. Эпоха ликвидации усадебного быта должна была произвести величайшего из символических поэтов, так как она загнала в их внутренний мир самых мыслящих людей времени.

Федор Иванович Тютчев родился 23 ноября 1803 года в семье, принадлежавшей к старинному дворянскому роду, в Овстуге, родовом имении Тютчевых в Орловской губернии. Автор биографии Тютчева (которая при немногочисленных работах новейших исследователей—лучшие Г. И. Чулкова—остается главным источником сведений о поэте) И. С. Аксаков сообщает, что на зиму Тютчевы переселялись в Москву, где имели собственные дома и подмосковную,—«одним словом, жили тем известным образом жизни, которым жилось тогда так привольно и мирно почти всему русскому зажиточному досужему дворянству, не принадлежавшему к чиновной аристократии и не озабоченному государственной службой». Дом Тютчевых в Москве был обычный барский светский дом, гостеприимный и радушный, в котором господство французского языка уживалось рядом с церковно-славянским чтением псалтирей и часословов. В этой обстановке,—где было так много сходного с обстановкой, окружавшей детство Герцена, Толстого и сотен других просвещенных дворян,—протекало детство будущего поэта. Аксаков отмечает в качестве рано проявившихся характерных черт мальчика враждебное отношение ко всякому при-

нуждению, ко всякому напряжению воли и к тяжелой работе, особую тонкую, изящную духовность и талантливость, которая упраздняет необходимость усилий и не дает укорениться привычке к упорному, последовательному труду. Первые духовные влияния, воздействию которых подвергался Тютчев,—тоже типичные влияния во всех биографиях писателей сороковых годов. С одной стороны, «французы», с другой—«дядька» Николай Афанасьевич Хлопов, достойно пополняющий галлерею бессознательных воспитателей из народа, начиная с прославленной пушкинской няни. Хлопов не покидал своего питомца до самой его женитьбы, уехал с ним за границу, куда перевез свои иконы и лампады, и, умирая, оставил ему икону с трогательными и наивными надписями. Но более всего своим умственным развитием Тютчев обязан своему воспитателю Раичу, человеку с литературным вкусом и знаниями. Раич переводил в стихах Виргилия, Тассо и Ариосто, издавал впоследствии журнал «Галатея». Раич познакомил своего ученика с классиками, и вскоре 14-летний Тютчев уже перевел в стихах послание Горация к Меценату, за что, по представлению Раича, Общество любителей российской словесности избрало юного переводчика сотрудником. В 1818 году Тютчев поступил в Московский университет, где через три года получил кандидатскую степень. В 1822 году Тютчев уехал за границу, где поступил на службу в русскую миссию. Мюнхен, столица Баварии, в то время одного из главных германских государств, отличался блестящей придворной, умственной и светской жизнью, назывался «немецкими Афинами», куда благодаря щедрости и стараниям короля свозились не только редкие памятники искусства, но и собирались такие ученые и философы, как Шеллинг. Тютчев, высокообразованный, остроумный собеседник и светский человек, сделался любимцем салонов. В 1826 году он женился на вдове русского дипломата, принадлежавшей к старинной немецкой аристократии. В 1837 году он имел уже звание камергера и был назначен старшим секретарем посольства в Турин. Вскоре умерла его жена, и в 1839 году Тютчев снова женился на баронессе Дернгейм. В Турине Тютчев пробыл не долго. За самовольную отлучку в Швейцарию он был уволен, и с 1840 года переселился в Мюнхен, где на правах частного человека зажил прежней светской

жизнью. Свидетельства иностранцев говорят о том, что Тютчев пользовался репутацией умного человека и считался авторитетом в светских и дипломатических кругах. Его политическая статья «Россия и Германия», опубликованная в Германии, обратила на себя внимание и была прочтена императором Николаем, который одобрил мысли, высказанные в этой статье. Во время своего пребывания за границей Тютчев несколько раз на короткое время приезжал в Россию. В 1844 году Тютчев переселился в Петербург, где быстро занял видное место в великосветском обществе. Через четыре года он был назначен старшим цензором при особой канцелярии министерства иностранных дел. Тютчев продолжал думать над политическими вопросами, и появившиеся вскоре за границей его две статьи («La Russie et la Révolution» и «Question Romaine et la Papauté»), переведенные впоследствии на русский язык («Россия и революция», «Римский вопрос и папство»), произвели сильное впечатление за границей и вызвали много толков. Как поэт Тютчев отличался необыкновенной скромностью или, вернее, известной барской небрежностью по отношению к своим успехам и к своему литературному имени. Он долго оставался неизвестным читающей публике, стихотворения его появлялись сначала в мало популярных изданиях, например, в альманахах и в «Галатее» Раича, затем в «Молве», где тоже не обратили на себя внимания, хотя здесь и было напечатано одно из прекраснейших стихотворений Тютчева «Silentium». Далее, Пушкин, сразу оценивший лирический талант поэта, начал печатать его стихотворения в «Современнике» под буквами Ф. Т., под которыми они продолжали появляться в этом журнале и после смерти Пушкина. Только в 1854 году появилось отдельным изданием собрание стихотворений Тютчева, изданное редакцией «Современника», и пятидесятилетний поэт стал известен публике. Издание это было выпущено благодаря стараниям Тургенева и, повидимому, без всякого интереса к нему со стороны самого Тютчева. Административная деятельность Тютчева, назначенного в 1857 году председателем петербургского комитета иностранной цензуры и остававшегося в этой должности до конца своей жизни, ознаменована интересной запиской о цензуре, которую Тютчев подал князю Горчакову. В этой записке Тютчев в чрезвы-

чайно умеренной форме высказывал взгляд о необходимости расширения свободы слова. 15 июля 1873 года Тютчев скончался в Царском Селе.

Из этого краткого очерка жизни Тютчева нетрудно видеть, что он прошел в значительной степени тот же путь, который проходили люди 40-х годов, хотя в чисто хронологическом смысле слова он не был их сверстником (он был на 10—20 лет старше Герцена, Тургенева, Григоровича и др.). Он пережил все влияние, под которыми складывалось их развитие: и французское воспитание, и усадебную обстановку, и преданного дворового человека, и заграницу, и даже немецкую идеалистическую философию, с которой был основательно знаком. Он был старше их, и это сказалось на его отношении к вопросам времени. Он провел огромный период своей жизни вне родины, и это также отразилось на его отношении к ней. Его юные годы протекли тогда, когда еще не чувствовалось идейного брожения в Московском университете, не было кружков, не вырисовывались очертания того особого общественного пути, на который предстояло вступить русской литературе и который доставил ей столь исключительное место среди европейского художественного творчества. Если люди сороковых годов были теоретиками и мечтателями по преимуществу, то Тютчев был таковым вполне. Если они стремились к реальному делу и активному воздействию на жизнь, если это стремление разрешалось практическими неудачами и вскрывало их теоретическое, порою наивное отношение к жизни, если только в лице западников этот порыв был переходом к реальным приемам борьбы со старым укладом жизни, то Тютчев был почти совершенно равнодушен к действительности, был эпикурейцем в широком смысле этого слова, не любил дела и предпочитал внутреннюю жизнь ума и сердца. Нам на историческом отдалении ясно теперь, как мало проницательности было в его политических статьях. Мы знаем теперь, что по иному пути направились судьбы России, и вопросы, поднятые Тютчевым в его политических статьях, совершенно забыты. Чем-то архаическим веет от этих сопоставлений России и европейской революции, от этих мечтаний о соединении папской и православной церквей. И политические стихотворения Тютчева немногочисленны. Он высказывался

редко, больше по поводу внешних событий, и почти никогда не отзывался на вопросы внутренней жизни, на те вопросы, которые вскоре должны были разделить мыслящую Россию на воюющие идейные лагери. Он пел о довременном хаосе и о душе природы и в 40-е и в кипучие 60-е годы. И тем не менее, в его редких откликах на современность можно увидеть, как тесно связан он с настроениями людей своего круга. Мы прежде всего остановимся на этих откликах, на пьесах, дышащих современностью, а потом перейдем к его песням на «вечные» темы. Первые помогают понять вторые. Тютчев сын своей среды объясняет Тютчева-символиста.

Ни один поэт не может не выдать тех социальных условий, в которых возникло основное настроение его поэзии. Как ни кажется эта поэзия поднявшейся над пределами времени и пространства, она отражает мир в этих пределах. И Тютчев не избег общей участи. В одном из первых стихотворений («Как птичка раннею зарею») он определил свое место среди сталкивающихся стремлений своего века. Это—то место, которое заняли люди его круга, почувствовавшие себя чуждыми среди первых веяний нового времени. «Наше состояние безвыходно,—писал Герцен,—потому что ложно, потому что историческая логика указывает, что мы вне народных потребностей, и наше дело отчаянное страдание». И Тютчев был жертвой этой «исторической логики». Он чует, что на нем «тяготеет вчерашний зной, вчерашний прах». Он—отпрыск тех, кому нет места в новом «пробудившемся» мире.

Обломки старых поколений,
Вы, пережившие свой век,
Как ваших жалоб, ваших пеней
Неправый праведен упрек.
Как грустно полусонной тенью,
С изнеможением в кости,
Навстречу солнцу и движенью
За новым племенем брести!

Чувство одиночества—одно из преобладающих настроений в поэзии Тютчева. И характер этого настроения, те формы, в которые облекается выражение его тоски, гармонируют с жалобами Рудина, Лаврецкого, Бельтова и других странников, не находивших себе места и дела в рождающемся мире новых отношений. Что сказать о людях, еще живых,

но ушедших с земного поприща». Эта грустная мысль, которой Тургенев закончил свою повесть о дворянском гнезде, не раз повторена Тютчевым в его лирике. Еще юношей повторял он слова Лаврецкого: «Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь».

И новое младое племя
Меж тем на солнце расцвело,
А нас, друзья, и наше время
Давно забвеньем занесло.
Лишь изредка, обряд печальный
Свершая в полуночный час,
Металла голос погребальный
Порой оплакивает нас!

Самое характерное в этих жалобах—это именно отсутствие индивидуализма, нежелание противопоставлять себя миру в качестве одинокой, неприемлющей его личности, стремление подчеркнуть классовый характер своей тоски. Тютчев говорит не о себе одном, а об «обломках старых поколений», он говорит о «переживших свой век», противопоставляет не себя одного, а своих друзей и свое время «младому племени», за которым трудно брести полусонной тенью «навстречу солнцу и движению». Не свою, а коллективную тоску властителей старого мира пел он в своих вдохновенных стихах, и тысячи других голосов—голоса Тургенева и Герцена и их сверстников—вторили этим тоскующим стихам. В бессмысленной ли гибели за чужое дело, как Рене и Рудин, в бесполезной ли страсти, как Лаврецкий, в культе ли крестьянства и его уклада, как Толстой и Герцен, или в грезах о вечной гармонии, о надземной высшей и благой силе, присутствующих в явлениях земли, как Тютчев, но все эти люди искали выхода вне пути, который указывала история, все они были родными по духу и настроению. И Тютчев не только не был чем-то исключительным среди них. Он всех красивее воплотил их идеалистический порыв и практическое бессилие. Он знал, что душа его—«Элизиум теней, теней безмолвных, светлых и прекрасных, ни замыслам годины буйной сей, ни радостям, ни горю непричастных».

Такова первая основная черта его поэзии, та черта, которая позволяет установить происхождение этой поэзии, ко-

торая роднит Тютчева с его поколением, делает его прежде всего сыном своего века, связует его кровными узами с душой просвещенного мечтательного догорающего барства. Тютчев—«лишний человек» прежде всего. Если мы попытаемся, прежде чем перейти к мотивам его философской лирики, выяснить характер мотивов, определяющих тесную связь его с современностью, то нам придется еще раз подчеркнуть отсутствие последовательности, некоторую наивность и небрежность тонкого эстета и умного благодушного барина в истолковании текущих вопросов. Тютчев как бы нехотя откликается на эти вопросы, не гармонировавшие с его натурой эпикурейца-аристократа. Еще реже говорит он о них боевым и задорным тоном, вносит то раздражение, которое заставляло близких друзей того времени расходиться врагами. Тютчев—не политик в реальном значении этого слова. Он склонен рассматривать текущие события сквозь романтическую призму, для решения запутанных конфликтов вызывать призраки из могил, обращаться к преданиям седой старины. Байрон, послав своего Чайльд-Гарольда в Испанию, вместе со своим героем оплакивал страну нежного шопота и серенад, попранную ногой чужеземца. И английский романтик, выросший среди портретов предков, украшавших стены старинного замка, призывал уснувших рыцарей к освобождению Испании, забыв, что в новое время исходы войн определяются качеством пушек и искусством дипломатов, а не личной храбростью и феодальными понятиями о чести. Тютчев также смотрел на современность из какого-то отдаленного мира. Его политические выступления случайны. В них не чувствуется стройного политического миросозерцания. В них можно встретить отголоски всех тогдашних направлений, начиная с официального народничества и кончая гуманными порывами западничества. Декабристов он встретил враждебным стихотворением («К декабристам»). Они—в его глазах—«жертвы мысли безрассудной», вообразившие, что их «скудной крови» хватит для того, «чтобы вечный полюс растопить»: «Народ, чуждаясь вероломства, поносит ваши имена, и ваша память для потомства, как труп, в земле схоронена». В достопамятные севастопольские дни, когда системе официальной народности был нанесен смертельный удар, Тютчев отозвался на

историческое событие огромной важности двумя-тремя стихотворениями, которые ясно свидетельствовали о том, как далек был этот мистический и романтический ум от трезвой оценки разыгрывающейся трагедии. Не понял он, что старая дворянская, бюрократическая Россия не выдержала экзамена, и Николай пал первой жертвой разразившейся катастрофы. Он говорил о «богохульных умах и богомерзких народах», восставших против России из царства тьмы «во имя света и свободы». В реальной борьбе между отсталой Россией и ушедшим вперед Западом он старается усмотреть борьбу нравственных принципов, таинственных начал: «Ложь воплотилася в булат каким-то божьим попущеньем». Наступающий кровавый (1855) год будет «не простой воитель, а исполнитель божьих кар». Он несет с собой не один, а два меча: «Один—сражений меч кровавый, другой—секира палача». Итак, поединок между николаевской Россией и Западом в глазах Тютчева приобретает мистический характер. Это бедствие ниспослано небом для того, чтобы оно могло наказать какие-то грехи, покарать кого-то виновного. И воля неба неясна ему: «Слова неясны роковые, и смутен замогильный сон». Это мистическое ожидание—все, чем отозвался на Севостополь Тютчев. Подъем общественного настроения, последовавший за севастопольским разгромом, не нашел в его музе никакого отклика, если не считать четверостишия, обращенного к императору Александру II по случаю освобождения крестьян:

Ты взял свой день... замеченный от века
Великою господней благодатью,
Он рабский образ сдвинул с человека
И возвратил семье меньшую братью.

В политической поэзии Тютчева, а особенно в его политических статьях, нетрудно уловить голос тогдашней официальной философии. Россия не знает религиозного вольнодумства и протестантского рационализма, которые делают Западную Европу ареной постоянных революций и потрясений. Шеф жандармов уверял, что «прошлое России изумительно, настоящее более чем великолепно, будущее превосходит все, что может нарисовать себе самое смелое воображение». Статья Тютчева «Россия и революция» есть

не что иное, как обоснование и развитие этих мыслей. В этой статье Россия не только противопоставляется Европе как оплот христианства антихристианским тенденциям революции. Роль России расширяется: ее задачи — не только сберечь у себя основы порядка и христианские начала жизни, но и сокрушить гидру революции во всем мире. «Давно уже,—говорит Тютчев в этой статье,—в Европе существуют только две действительные силы—революция и Россия. Эти две силы теперь противопоставлены одна другой, и, быть может, завтра они вступят в борьбу. Между ними никакие переговоры, никакие трактаты невозможны; существование одной из них равносильно смерти другой! От исхода борьбы, возникшей между ними,—величайшей борьбы, какой когда-либо мир был свидетелем,—зависит на многие века вся политическая и религиозная будущность человечества». Итак, Тютчев шел дальше Уварова и Бенкендорфа. Те довольствовались тем, что оберегали Россию от проникновения вредных идей, умножали число «умственных плотин». Тютчев хотел превратить Россию в европейского жандарма, сделать ее стражем легитимизма и клерикализма во всей Европе и даже во всем мире. Нетрудно видеть, что в этой статье более глубоко, чем в проповеди официального народничества, воплощена идея международной политики императора Николая I, войска которого с такой готовностью посылались для подавления революционных стремлений в Европе. Тютчев резче поставил вопрос, чем тогдашняя бюрократия. Он видел неизбежность столкновения между старой Россией и тогдашними передовыми странами Европы, и севастопольская катастрофа показала, что если Тютчев в чем-нибудь ошибся, то только в исходе этого неизбежного конфликта. В полном подавлении европейских либеральных стремлений он видел миссию императора Николая и венец его царствования. Он верно угадывал, что «все эти удары землетрясения, раздающиеся на Западе», не остановятся «у порога стран восточных», и что революция, «охватившая уже три четверти Западной Европы», может увлечь за собою и славяноправославный Восток. Он указал, что все раздирающие Запад «пропаганды», противоположные друг другу, «сольются в одном общем чувстве ненависти к России». И Николай I является в его глазах «православным

императором Востока», которого провидение избрало для того, чтобы предотвратить это «громадное крушение», спасти человечество от гибели. История не оправдала пророчеств Тютчева: после севастопольского поединка уваровские «плотины» разрушались одна за другой под напором новых волн, старая Россия не только не уничтожила прогрессивных западных стремлений, но в наши дни стала во главе европейского революционного движения.

Этими же славянофильскими и панславистскими мечтами окрашена и политическая поэзия Тютчева. Ему чудится Россия, объединившая все славянские народы, противопоставляющая началу, спаявшему западные народы,—принципу «крови и железа»,—новое начало—принцип любви. Это объединение совершится «не в Петербурге, не в Москве, а в Киеве и в Цареграде». Наивная мечта о завоевании Россией Константинополя,—мечта, увлекавшая славянофилов, является центром панславистских мистических верований Тютчева. И эта политическая «программа», как и все его политические убеждения, основывается не на анализе существующих реальных условий, а на преданиях старины, на древних пророчествах, на смутных порывах души. В стихотворении «Пророчество» он говорит:

Не гул молвы прошел в народе,
Весть родилась не в нашем роде —
То древний глас, то свыше глас:
«Четвертый век уж на исходе, —
Свершится он, и грянет час!
И своды древние Софии
В возобновленной Византии
Вновь осенит христов алтарь!»
Пади пред ним, о царь России,
И встань как всеславянский царь!

Тютчев витал в прошлом или в туманных, расплывающихся представлениях о всемирной миссии России. Ему и в голову не приходило, что эта Россия, подтачиваемая крепостным правом, бесправием, произволом бесчестной бюрократии и невежеством, не только не могла мечтать о какой-нибудь миссии на стороне, но шла быстрыми шагами к поражению и позору. Только изредка обращал поэт свой взор в глубь родины, и тогда пред ним вставали безотрадные картины:

«Эти бедные селенья, эта скудная природа,—край родной долготерпенья, край ты русского народа!» Несколько таких стихотворений, свидетельствующих о том, что Тютчев был склонен на мгновенье обратить свой взор к источнику несчастий России, появилось именно в годы, непосредственно следующие за севостопольским разгромом. К 15 августа 1857 года относится следующее стихотворение:

Над этой темною толпой
Непробужденного народа
Взойдешь ли ты когда, свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?
Блеснет твой луч и оживит
И сон разгонит и туманы...
Но старые гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,
Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет...
Кто их излечит, кто прикроет?
Ты, риза чистая Христа...

Мы отметили почти все существенное в откликах Тютчева на современную действительность и ее запросы. Причислить его к определенному лагерю невозможно. По настроению он славянофил. Но главный путь его умственного развития совершился до того как славянофильство выросло в более или менее определенное философское и социально-политическое учение, до того как ясно обозначались границы, отделявшие его, с одной стороны, от западничества, с другой—от официального народничества. Вот почему политическая поэзия Тютчева воплощает даже не первую стадию славянофильства, а скорее только предчувствие его. Вот почему в поэзии Тютчева мы иногда встретим диссонансы, нарушающие общий мечтательно-гармонический тон его политических стихотворений, встретим патриотические выкрики, полные задорного шовинизма в духе официальной народности, а иногда, наоборот, тихую гражданскую скорбь гуманного человека о печальной судьбе масс и голос образованного европейца, проводящего параллели между Россией и Западной Европой не в пользу своей родины, очарованного богатством европейской природы и европейских воспоминаний. На родине он не может забыть, как «на солнце пламенеет роскошной

Генуи залив». Он вспоминает, как «заслушивался пенья великих средиземных волн»:

И песнь их, как во время оно,
Полна гармонии была,
Когда из их родного лона
Киприда светлая всплыла.
Они все те же и поныне,
Все так же блещут и звучат;
По их лазоревой равнине
Родные призраки скользят.
Но я... я с вами распростился,
Я вновь на север увлечен;
Вновь надо мною опустился
Его свинцовый небосклон.
Здесь воздух колет: снег обильный
На высотах и в глубине,
И холод, чародей всесильный,
Один господствует вполне.

И часто на родине пред ним воскресает чужой край, «волшебный» край; тогда «сновиденьем безобразным» скрывается «север роковой», и далекий чужой край в эти минуты он называет родимым краем.

Таков Тютчев, когда он вводит нас в мир своих реальных чувств, когда он позволяет заглянуть в сферу своих отношений к будничной действительности. Он был провозвестником идеализма 40-х годов, он был шеллингианцем, прежде чем русское шеллингианство успело сознать себя. Если его нельзя причислить ни к славянофильству, ни к западничеству, то он был провозвестником и того и другого. Он был первым, кто стремился относить частное к вечному, искать следов «вечной идеи» в отдельных явлениях. Как ни скудна политическая поэзия Тютчева, она позволяет уловить эту особенность в направлении его ума,—особенность, которой суждено было в 40-е годы окрасить все течения русской литературно-общественной мысли. Если он заговорит о «бедных селениях», о «крае долготерпенья», он не станет искать путей к устранению зла, он ищет отражений таинственного в этой нищете. Он точно переживает даже чувство некоторого удовлетворения при мысли о том, что иноплеменный взор не поймет, «что сквозит и тайно светит» в наготе родного края. Его манера относить все к вечности—это общая

манера идеалистов 40-х годов. «Чем светлее,—говорит о человеке той эпохи биограф Станкевич,—отражался в нем самом вечный дух, всеобщая идея, тем полнее понимал он ее присутствие во всех других сферах жизни». Или припомним еще раз слова автора «Былого и дум» об этих людях: «Все в самом деле непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной алгебраической тенью... Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего единства с космосом; и если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступившая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народную в ее непосредственном и случайном явлении. Самая слеза, навертывавшаяся на веках, была строго отнесена к своему порядку, к «гемюту» или к «трагическому в сердце». Поэзия Тютчева была глубочайшим выражением этих настроений эпохи. Если все люди того времени поднимались над «непосредственными и случайными явлениями» и искали в них очертаний космоса, то Тютчев жил в этом космосе, он почти не видел реальной оболочки явлений и не интересовался ею, он слышал только голоса вечности, звучавшие в случайном и временном. И его поэзия—богатый источник для понимания тонких движений и интимных переживаний души, ищущей в самой себе гармонии, не обретенной в реальном мире,—души, сумевшей воздвигнуть над миром явлений мир несуществующий и передать чувство своего единства с космомсом в стихах, где мысли и образы теснятся, словно пугаясь слов, словно боясь раскрыться яснее в лишнем звуке.

Вселенная живет и дышит в стихах Тютчева. Он так ясно ощущает цельную душу вселенной, гармонию, разлитую в мире, что каждая звезда и каждая былинка в его стихах предстают как частицы одного великого организма. Для него «природа не слепок, не бездушный лик; в ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык». Кто не может внимать этому языку, те живут впотьмах. «Лучи к ним в душу не сходили, весна в груди их не цвела, при них леса не говорили, и ночь в звездах нема была. И языками неземными, волнуя реки и леса, в ночи не сове-

щалась с ними в беседе дружеской гроза». Сжатые стихи, превосходящие дуалистическое учение символистов, мистические видения «Сокровища смиренных ! Это неумирающее, утешительное учение, возрождающееся в эпохи общественного застоя,—учение о двух мирах и двух путях познания. Одним открыт только мир явлений. Они обладают только органами чувств, они воспринимают явления природы как механическое соединение. Им кажется, что «лист и цвет на древе» приклеил садовник, «иль зреет плод в родимом чреве игрою внешних чуждых сил». Для них не существует «мир бестелесный, слышный, но незримый». Им не слышен «чудный еженощный гул». Но кто умеет постигать непосредственно душу природы, для того ее явления—выражение жизни одухотворенного целого. Каждый звук для него—ключ, открывающий тайны этой жизни. Воющий ночной ветер твердит ему о непонятной муке и «взрывает порой неистовые звуки» в его сердце. И чувство космоса становится столь ощутимым, что поэт просит ветер умолкнуть:

О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди
И с беспредельным жаждет слиться...
О, бурь заснувших не буди:
Под ними хаос шевелится.

И он любит в природе те явления, которые усыпляют чувство реального, потому что тогда особенно сильно говорит чувство единства с космосом. Он любит весну, потому что она «о людях не знает, о горе и зле; бессмертьем взор ее сияет, и ни морщины на челе». Она «своим законам лишь послушна, в условный час слетает к нам, светла, блаженно-равнодушна, как подобает божествам». Она—животворный океан. Она дает возможность человеку, «жертве жизни частной», омыть эфирной струей этого океана свою страдальческую грудь и хоть на миг стать причастным «божески-всемирной жизни». И всюду в природе чует он это присутствие «божески-всемирной жизни»: «Певучесть есть в морских волнах, гармония в стихийных спорах и стройный му-

сикийский шорох струится в зыбких камышах». И когда после знойной июльской ночи «небо, полное грозою, все в зарницах трепетало», он чувствовал, «словно тяжкие ресницы подымались над землею, и сквозь белые зарницы чьи-то грозные зеницы загоралися порою». Тютчев живет в ином мире, он видит его сокровенную жизнь, и он говорит об явлениях природы только как о проявлении этой высшей жизни. И нет натяжки в его равнодушии к миру действительному, он умеет не видеть предметов в их прямом значении. Реальный мир в его глазах—мир обмана, а тот призрачный мир, с которым он живет в ненарушимой гармонии, для него—единственный реальный мир.

Это чувство единства с космосом проникает поэзию Тютчева. Слиться с беспредельным стремились романтики, это стремление в наше время снова прославили модернисты. Мысль о примате невидимого, но угадываемого мира перед ясным миром явлений одушевляла всех поэтов романтического склада души. Этот дуализм, это представление о двух формах проявления мировой души влечет за собою и представление о двух началах в человеке, о двух средствах постижения мира. Эти два начала в человеке, две способности его духа как бы враждебны друг другу. Кто умеет постигать природу органами чувств, кто видит в ней механическое сочетание звуков, цветов и предметов, в тех спит высшая способность—способность воспринимать незримый мир, высшую жизнь природы. И, напротив, те, кому ясна эта высшая жизнь, те равнодушны к восприятию внешних признаков явлений. Где же те пути, которые приводят к слиянию с беспредельным, к непосредственному постижению души вселенной? Это те состояния человеческой души, когда бездействуют способности, помогающие восприятию внешних признаков предметов, когда реальные впечатления не давят и не убивают иррациональных сил, приводящих непосредственно к источникам бытия. Только эти состояния души ценит поэт. Только эти минуты удаления от действительности—единственно значительные моменты его жизни. Это те моменты, когда бездействует человеческий разум, и вступают в свои права вымысел и фантазия. Рассудок заставил человека смотреть на мир научными глазами и убил в нем чутье высшей жизни.

Нет веры к вымыслам чудесным,
Рассудок все опустошил
И, покорив законам тесным
И воздух, и моря, и сушу,
Как пленников, их обнажил;
Ту жизнь до дна он иссушил,
Что в дерево вливала душу,
Давала тело бестелесным.

Через полвека самый ослепительный и парадоксальный из модернистов-эстетов О. Уайльд написал целую книгу («Замыслы»), в которой звал человечество назад, в царство вымысла, и оплакивал торжество разума и научной правды, которые убили в человеке способность поселять души в бездушных явлениях, одухотворять мир. Несколько стихов Тютчева вмещают все богатое содержание «Замыслов», этого евангелия эстетов конца века. В них тот же гимн древним народам, которые подходили к природе с непосредственным чувством. Их мир был «храмом всех богов», они «книгу матери-природы читали ясно без очков». Наука вытравила эту великую способность из души современного человечества. На место прежних людей, живших в единении с душой вселенной, явился «род ученой суеты», рассеяны златокрылые мечты, опустел «чертог волшебных добрых фей».

Предвосхитив эстетическое учение Оскара Уайльда, Тютчев за полвека до Метерлинка написал свое дивное «Silentium», в котором каждый стих вмещает в себе столько удивительных мыслей, что «Сокровище смиренных» представляется лишь пространным истолкованием этих сжатых идей. Человеческое слово бессильно передать высшую жизнь мира, с которой сливается чуткая душа в самые интимные моменты своего существования. Как все общее, как всякий условный знак между многими, слово может служить только для обозначения одинаково воспринимаемого многими, для обозначения тривиального, для выражения общих признаков. Исключительное не имеет выражения в общем языке. Нельзя в слове передать состояния души, пережитого одним и никем больше. Стараясь сделать свои интимные переживания достоянием других, поэт понижает их ценность. Чем яснее они выражены, тем дальше уходят они от своего первоначального образа. Чем меньше раскрыты они

во вне, тем выше и значительнее они. Они достигают своего высшего значения, когда они вовсе не высказаны, и высшая поэзия есть молчание. Лучшие из символистов верили в это. Отвергая внешние формы мира, постигая только присутствие высшей жизни в этих бледных внешних формах, они не старались в словах и звуках высказать то, для чего сама природа не имеет слов и звуков. Или, если они раскрывали в словах свою душу, они мало ценили это внешнее выражение ее. Они знали, что не высказали самого значительного, что слова передали только ничтожную долю ее интимного содержания, того, что восприняла она от высшего мира. Символический поэт, жаждущий славы, ищущий читателей, пытающийся передать людям сокровенное своей души, впадает в противоречие с самим собою, с самой сущностью своего миросозерцания. Истинный символизм молчалив, или если выражается, то неохотно и редко. Оскар Уайльд говорил, что своей жизни он отдал гений, своим произведениям— только талант. Он думал, что жизнь его души была больше того, что он высказал. Метерлинк считал молчание самым красноречивым выражением жизни души. Тютчев достиг высшего приближения к идеалу символического молчания. Он, может быть, самый последовательный из символистов. Его душа не стремилась к проявлению во вне, он самый скупой из поэтов. Он не искал читателя. Его литературный облик изумительно гармонирует с его идеями. Он написал немного и, вероятно, сам по своей инициативе напечатал бы еще меньше, а может быть, не напечатал бы ничего. И потому то немногое, что он высказал, так сжато и так сильно, насколько может сильно сказаться в слове интимное и исключительное. Он любит даже в явлениях природы те моменты, когда эти явления не раскрываются, когда они незримы для глаз, потому что тогда яснее слышится в них голос мировой жизни. Звезды говорят ему больше днем, когда их не видно, чем ночью, когда они сияют на небе. Его душа хотела бы быть звездой, «но не тогда, как с неба полуночи сии светила, как живые очи, глядят на сонный мир земной; но днем, когда сокрытые, как дымом, палящих солнечных лучей, они, как божества, горят светлей в эфире чистом и незримом». Ему кажется, что бог станет совершенно ясен в природе тогда, когда исчезнет все разнообразие ее видимых явлений: «Когда

пробьет последний час природы, разрушится состав частей земных: все зримое опять покроют воды, и божий лик изобразится в них». Но самым могучим выражением его поэтической скупости, великим гимном молчанию, программой символической поэзии является его знаменитое «Silentium»:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои!
Пускай в душевной глубине
И всходят и зайдут оне,
Как звезды ясные в ночи:
Любуйся ими и молчи!
  Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи.
Питайся ими и молчи!
  Лишь жить в самом себе умей;
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно волшебных дум;
Их заглушит наружный шум,
Дневные ослепят лучи.
Внимай их пенью и молчи!

Есть писатели, которым выпадает на долю сказать наиболее сжатые и сильные слова для воплощения типичных состояний души, периодически возникающих при сходных условиях в жизни общества. Есть образы, которые навсегда остаются для мыслящего человечества излюбленным воплощением этих душевных состояний. И эти писатели и эти образы носят неточное наименование «вечных». Они вечны, поскольку не изжиты на известном нам протяжении истории те или иные общественные коллизии и рожденные ими представления и чувства, поскольку поэтическое выражение их проливает всегда новый свет на эти представления и чувства. Они временны и относительны, поскольку мы знаем, что они занимают определенное место среди бесчисленного количества других факторов, наряду с ними участвующих в процессе развития общества. Тютчев принадлежит к числу таких «вечных» поэтов, и созданные им образы—к числу таких «бессмертных» образов, в которых еще не раз увидят свое яркое отражение и найдут себе истолкование сердца и умы многих, которым придется пережить эпоху, сходную

с эпохой 30-х и 40-х годов. Если «чистая поэзия» есть факт не только литературный, но и общественный, если она не является «беззаконной кометой в кругу расчисленных светил», если она—один из неизбежных элементов, регулярно выступающих на сцену в определенные исторические моменты, то никто из поэтов не оставил такого богатого материала для определения ее роли, как Тютчев. Он был символом беспочвенного идеалистического порыва своего времени. Этот одинокий человек, живший такой сложной внутренней жизнью, так мало обнаруживший интимное своей души, был конкретным выражением сокровеннейших чувств эпохи. Его фразы—девизы, догматы. Сколько раз повторялся знаменитый стих, возникший в психике, не сродной ему по духу: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!» И эта краткая формула вмещала в себе огромное содержание. Эта формула была итогом целой полосы нашей общественно-литературной истории, ее духовным выводом, философским и социальным завоеванием. Рой воспоминаний, жестокие и идейные битвы, нескончаемые споры, бесконечные разветвления, расширяющие и углубляющие смысл краткого изречения,—все это кристаллизовалось в приведенном стихе. Такое же всеобъемлющее значение получили известные стихи Тютчева, ставшие священными догматами для натур романтических, для сторонников принципа «искусство для искусства». Эти стихи были также итогом, также фокусом, в котором отразился целый период общественного настроения. «Мысль изреченная есть ложь!» Кто не повторял этого знаменитого стиха в те моменты, когда глубоко чувствовалось, насколько переживаемое значительнее выраженного, когда личное и общевыразимое находились между собою в непримиримом конфликте! Кто не чувствовал глубокого содержания, скрытого в другом, не менее прославленном стихе Тютчева—«все во мне и я во всем», не чувствовал именно «в час тоски невыразимой», когда хотелось «вкусить уничтожения» и «смешаться с миром дремлющим!»

Поэзия Тютчева была евангелием той сложной и смутной религии, которая объединяется именем «чистой поэзии». Все остальные поэты этого направления были толкователями этого евангелия. Они часто расширяли его смысл, но ни одному не удалось углубить его.

X.

Тютчев и Фет.—Биография и личность Фета.—Общий характер его поэзии.—Аристократическая беспечность, преображение мира через красоту. — Роль поэзии.—Добро и зло.—Природа.—Слово и звук.—Заключение.

Если поэзия Тютчева—евангелие, то лирика Фета - радостное и светлое настроение верующего, душе которого евангелие даровало внутреннюю гармонию.

Тютчев—творец эстетической религии. В его стихах сжатость библейских изречений. В его мыслях—глубина ума, укладывающего в краткие догматы религиозные порывы миллионов сердец. В его поэтическом учении весь видимый мир пропущен сквозь призму религиозно-эстетического миросозерцания, и в его стихах запечатлено получившееся отражение. Фет—самый беспечный и аристократический из поэтов. В его поэзии нет благоговейной напряженности и глубокой сосредоточенности тютчевского стиха. Он смотрит легко и без страдания на все бесконечное разнообразие видимого мира, как верующий, для которого ясно присутствие бога во всем; как верующий, которого религия научила во всех вещах, даже в противоречиях действительности видеть направляющую руку одной всеблагой воли. Он без труда созерцает весь мир прекрасным. Он счастлив и наполняет радостью и счастьем все, попадающее в поле его зрения, преобразуя каждое явление в прекрасное. «Единство души с космосом» в его поэзии—уже завершившийся процесс. Он достигает «стихии запредельной» без усилия. Он постигает ее присутствие в явлениях, не погружаясь в них медленно проникновенным взором. Он извлекает «вечное» из временного легко и свободно или, вернее, столкнувшись с временным явлением, он вовсе не видит его, сразу улавливая только частицу абсолютного, отраженную в нем. «Для него, — по счастливому выражению Н. Н. Страхова, — внешний мир есть только повод к поэзии». «Больше всего,—замечает тот же критик,—у Фета поразительна именно та легкость, с которою он подымается в область поэзии. Эта область у него граничит, повидимому, с самым обыденными предметами и мыслями. Обыкновенно он не воспевает жарких чувств, отчаянья, восторга, высоких мыслей,—всего того, что считается

почти непременной принадлежностью поэзии. Нет, он очень часто останавливается на чем-нибудь самом простом, на первой встретившейся картине природы, на переменах дня и ночи, на дожде и снеге или же на самом простом движении мысли и чувства, и вдруг магическим стихом он преображает все это в яркую красоту, в чистое золото поэзии. В этом отношении он—величайший чародей, несравненный поэт; чтобы отделиться от земли, ему не нужно никакого прыжка, почти вовсе не нужно усилия». Это светлое гармоническое настроение, эта аристократическая беспечность, окрашивающая неприглядную действительность в радужные цвета, родились в такой же усадебной обстановке, в которой черпали свои детские впечатления и Тютчев, и Герцен, и другие мечтатели, стремившиеся воздвигнуть над миром реальным созданный ими мир идеальный.

Фет родился 23 ноября 1820 года в Новоселках, имении его отца Шеншина, находившемся недалеко от Мценска. Фамилию Фета будущий поэт долгое время носил по своей матери, немке, так как он родился до того, как брак его родителей, поженившихся за границей по лютеранскому обряду, был освящен православной церковью. Род Шеншиных был старинный барский род, и отец поэта принадлежал к местной аристократии, был предводителем дворянства. Читая записки Фета об его детстве («Ранние годы моей жизни», М., 1893; главный источник для изучения этого периода жизни Фета), легко переносишься в уютную обстановку помещичьей семьи. Правда, отец поэта не был богатым. Долги, оставшиеся от увлеченья картами еще во время военной службы, держали А. Н. Шеншина всегда в некотором напряженном состоянии. Но, тем не менее, обстановка, окружавшая детство поэта, была отмечена довольством, уютностью и праздностью, столь типичными для барства, жившего даровым трудом рабов. «За исключением свечей и говядины, — рассказывает поэт,—да небольшого количества бакалейных товаров, все, начиная с сукна, полотна и столового белья и кончая всевозможной съестной провизией, было или домашним производством или сбором с крестьян». Обширный штат дворовой прислуги; обилие поваров, так как «литературные интересы в то время далеко затмевались кулинарными»; «говорливый сонм горничных»,

с раннего утра делившихся свежими новостями вроде того, что у отставного дедушкина повара Игната Семеновича заболела голова; «шаловливая Прасковья», новосельская Шехерезада, рассказывавшая увлекательные сказки о том, как царь на походе стал пить из студеного колодца, а водяной, схватив его за бороду, стал требовать, чего он дома не знает; многочисленный круг помещиков-соседей и богатой родни; поездки по праздникам к богатому дяде Петру Трофимовичу—все эти неизбежные элементы помещичьего быта составляют основу детских впечатлений поэта. Был и неизбежный «дядька», еще дедовский слуга Филипп Агафонович, хранитель семейных преданий, с благоговением вспоминавший о старом барине и любивший своего воспитанника. Образованием будущего поэта занимались мало благодаря недостатку средств; у него не было гувернеров, и первыми сведениями в грамоте как русской, так и немецкой он обязан своей матери, а также и наемному семинаристу-учителю. С детства Фет обнаруживал любовь к стихам и сам предавался сочинительству как немецких, так и русских стихов. Огромное впечатление произвели на него случайно попавшиеся ему пушкинские поэмы «Бахчисарайский фонтан» и «Кавказский пленник». Безмятежно и беспечально протекало детство того, кому предстояло создать светлые и радостные песни о красоте и гармонии, разлитых в мире. Видел ли Фет ужасы крепостного права? Пришлось ли ему заглянуть в трагическую сторону тогдашней действительности? Только об одной драме упоминает Фет,—об одной из тех бесчисленных драм, которые погребены в густых лесах, окружавших барские усадьбы эпохи крепостничества. Эта драма разыгралась в усадьбе Борисовых, соседей Шеншина. Борисов был жестокий самодур, носивший у крестьян кличку «забалованного». Будучи исправником, он вынуждал сознание у заподозренных, приказывая затопить овин и «коптить» их. У борисовского повара Тишки была сестра, девушка, жившая со стремянным Ванькой. С этой девушкой сошелся Борисов, к безмерному озлоблению повара и стремянного, возбужденных кроме того жестокостями Борисова. Сговорившись с кучером Дениской, также ненавидевшим жестокого барина, Тишка и Ванька научили девушку назначить Борисову свидание в роще, и там все трое, подняв-

шись из густой травы, набросились на коренастого Борисова, который при первоначальном безучастии Дениски, успел было забрать под себя перевернувшего ему галстук повара Тишку, а затем и помогавшего ему Ваньку. Говорили, что на хриплые слова Борисова: «Тишка, Ванюшка, пустите душу на покаяние! Я вас на волю отпущу!»—Ванька крикнул: «Ну, Дениска, если не поможешь, первым долгом тебе нож в бок!» Тут и Дениска навалился на борющегося, и когда последний был покончен, они, изготовив петлю на веревке, перекинутой на сук, втащили его на дерево. Убийцы думали придать его смерти вид самоубийства. Но, конечно, дело легко было раскрыто. Их судили и сослали. Только впоследствии Фет узнал все подробности этой трагедии. Судя по его воспоминаниям, ужасное событие, разыгравшееся в хорошо знакомой семье, не омрачило светлого настроения его детства и не заставило его призадуматься.

Когда будущему поэту исполнилось 14 лет, отец отвез его в Верро, недалеко от Дерпта, в пансион Крюммера. Он приобрел здесь сведения в латинском языке, математике и физике и впоследствии с любовью вспоминал учителя математики Гульча. Через три года отец неожиданно взял его из пансиона Крюммера, «чтобы не оставлять его в таком отдалении от родных», отвез в Москву и поместил у известного историка проф. Погодина для подготовки к университету. Воспоминания Фета об университетских годах и о военной службе после университета ярко обрисовывают его личность. Полный индифферентизм в вопросах общественных, эпикурейские и эстетические склонности образуют тесный союз, как бы свидетельствуя лишний раз о том, что только среди людей, не задетых трагическими сторонами тогдашней действительности, мог явиться «природы праздной соглядатай», в душе которого «шопот, робкое дыханье, трели соловья» заглушали все стоны и муки, доносившиеся с разных концов обширного отечества. Пребывание в университете, который он окончил в 1844 году, так как на втором и третьем курсе просидел по два года, совпало с моментом повального увлечения Гегелем. Фет уделяет этому крупному событию нашей умственной истории две-три странички своих воспоминаний. После Погодина он переселился к Григорьевым, где сошелся с даровитым и чутким

юношей Аполлоном Григорьевым. Этот юноша стал центром собиравшегося в его комнатке студенческого кружка, членами которого были выдающиеся студенты вроде К. Д. Кавелина или знаменитого впоследствии историка Соловьева. В несколько ироническом тоне изображает Фет беседы своих товарищей «в небольших комнатах, где стоял стон от разговоров, споров и взрывов смеха», причем не было «ни малейшей тени каких-либо социальных вопросов», возникали «одни отвлеченные и общие»,—например, «как понимать по Гегелю отношение разумности к бытию?» Эти споры мало привлекали Фета, он больше интересовался поэзией, чем философскими и общественными вопросами. Из всех членов кружка он предпочитал Полонского, поэтическое дарование которого он отгадал чуть ли не первый. «Я любил встречать его у нас наверху до прихода еще многочисленных и задорных спорщиков, так как надеялся услыхать новое его стихотворение, которое читать в шумном сборище он не любил». Из университетских профессоров он интересовался только теми, лекции которых имели то или другое отношение к поэзии. «Не испытывая,—по его собственному замечанию,—никакой напускной нежности по отношению к московскому университету», он, однако, «не прочь был послушать теорию красноречия или эстетику у И. И. Давыдова, историю литературы у Шевырева или разъяснение красот Горация». Любовь к поэзии была, повидимому, и главным, если не единственным звеном, соединившим Фета с Аполлоном Григорьевым. «Связующим нас интересом,—замечает он сам,—оказалась поэзия, которой мы старались учиться всюду, где она нам представлялась, принимая иногда первую лужу за Ипокрену».

Миновало уже то время, когда в эпоху подъема гражданских чувств поэзия Фета подвергалась жестокому осмеянию, когда его «шопот, робкое дыханье» были символом бессодержательного и безыдейного творчества. В настоящее время уже не смотрят так враждебно на преображающую мечту, претворяющую «первую лужу в Ипокрену». В настоящее время враги поэта сделали много шагов навстречу его поклонникам. Но едва ли когда-нибудь поэзия Фета освободится от упрека в полном равнодушии к действительности, в недостатке разностороннего идейного со-

держания. И нет книги, которая бы так беспощадно обличала личность писателя, как правдивая автобиография Фета. Быть может, лучшие черты Фета—его простодушная откровенность, отсутствие претенциозности, искреннее признание, что жизнь, в его глазах, это—красивое веселье в кругу товарищей, остроумные беседы и безраздумное эпикурейство. Кажется, будто этой задаче жизни думал служить Фет своими стихами, будто ими хотел помочь он счастливым приятелям своего круга еще полнее вдыхать жизнь, еще глубже и сложнее наслаждаться красотами природы и радостями, рассыпанными на их пути. И едва ли он когда-нибудь думал о мировом значении, которое стремились придать его творчеству его восторженные поклонники. Счастливая, но неглубокая натура, несколько небрежный эпикуреец—он принимал жизнь такой, как он застал ее, и искал красоты в пределах ее. Все, что требовало глубокого и вдумчивого отношения или большого напряжения воли, не привлекало Фета. Он проходил мимо фактов, которые, казалось бы, не могли не задеть, не остановить внимания человека чуткого Вот несколько характерных строк об отце Аполлона Григорьева, дом которого, по собственному выражению Фета, «был истинной колыбелью его умственного я»: Александра Ивановича я застал секретарем в Московском магистрате. Жалованье его по тогдашнему времени, конечно, было ничтожное, а размеров его дохода я даже приблизительно определить не берусь. Дело в том, что жили Григорьевы если не изящно, зато в изобилии, благодаря занимаемой им должности. Лучшая провизия к рыбному и мясному столу появлялась из Охотного ряда даром. Полагаю, что корм пары лошадей и прекрасной молочной коровы, которых держали Григорьевы, им тоже ничего не стоил». Благодушный тон, в котором написаны эти строки, повествующие о вопиющем общественном зле, ярко характеризует самого Фета. Еще задолго до него взяточничество бичевалось лучшими писателями. А в эпоху, когда, можно сказать, русская литература уже в целом горела гражданским энтузиазмом, хотя и пропущенным сквозь призму идеализма,—в эту эпоху полная атрофия гражданского чувства не могла быть оправдана даже господствовавшими воззрениями эпохи. Сообщив, как о нормальном явлении, о взяточничестве, которым держалось

благополучие дома, бывшего «колыбелью его умственного я», Фет не прибавил к этому факту от себя ничего, кроме разве соображения (высказанного чуть ли не с оттенком сожаления), что матери и сестрам «при затруднительности путей сообщения» Григорьевы не могли из этого обилия послать продукты, подвергающиеся порче, и ограничивались только чаем, кофе и красным товаром.

Вскоре после окончания университета, в 1844 году, Фет поступает в кирасирский военного ордена полк. Он — добросовестный и даже ревностный исполнитель своих обязанностей, с замиранием сердца думающий о возможности отличиться во время высочайших смотров. Он — добрый товарищ и вообще стоит не выше, не ниже среднего офицера той эпохи, переживает чувство глубокой обиды, когда считает себя обойденным по службе, приходит в восторг, когда случается отличиться перед высшим начальством. В 1858 году, пройдя разные ступени военной карьеры, он выходит в отставку штаб-ротмистром. Во время военной службы Фет приезжал в Петербург, где был приветливо встречен Тургеневым, Панаевым, Некрасовым и другими членами кружка «Современника», где поэтический талант Фета ценили очень высоко. После долгой работы и споров по поводу каждого отдельного стиха, члены кружка, с Тургеневым во главе, издали в 1856 году стихотворения Фета. Воспоминания Фета, относящиеся к этой эпохе, к самому мрачному семилетию николаевского царствования, проникнуты обычным эпикурейским и эстетическим настроением. Он живо изображает обеды у Панаева и Некрасова, передает застольные шутки и остроумные импровизации. По воспоминаниям Фета можно подумать, что русская литература переживала период беспечного существования, что у писателей не было никаких дум, кроме мысли о том, как тоньше и изящнее обставить товарищеские пирушки. И это в те годы, общий характер которых увековечен в знаменитом восклицании: «Благо Белинскому, умершему во-время»,—в восклицании, в котором ярко сказалось подавленное состояние передового общества. О горячих спорах по поводу жгучих вопросов современности,—споров, раздававшихся в кружке, Фет не упомянул ни словом. Правда, однажды ему пришлось быть свидетелем одного из таких споров между Тургеневым и Л. Н. Толстым, но он

ограничился краткими словами по поводу этого спора: «...не могу не сказать, что хотя я понимал, что дело идет о политических убеждениях, но вопрос этот так мало интересовал меня, что я не старался вникнуть в его содержание». Григоровича он вспоминает только как «веселого собеседника, товарища всяческих проказ и мастера рассказать смешной анекдот». Так преображал гений поэта не только явления природы, но исторические образы и события той эпохи, когда мученики и герои русской общественной мысли закладывали основы наших литературно-общественных и философско-исторических направлений. Впрочем, удивительно ли, что так отнесся эпикуреец-поэт к общественным течениям, когда не более глубоко задела его смерть Николая I, образ которого был окружен в его глазах особым ореолом. В предисловии к «Ранним годам моей жизни» он говорит: «Если помимо моего желания я пристрастен, то это по отношению к одному государю Николаю Павловичу». А в «Моих воспоминаниях» сопровождает следующими строками известие о кончине Николая: «Засыпанные с головы до ног снегом, вошли наши милые Щ—ие. Конечно, после первых приветствий, потрясающая весть стала предметом разговора, но затем появилась кулебяка, и непосредственная жизнь вступила в свои права».

По окончании военной службы Фет уехал за границу. В Париже в 1857 году он женился на Боткиной и по возвращении в Россию вскоре приобрел небольшое имение в Мценском уезде, решив посвятить последний период своей жизни сельскому хозяйству. И, действительно, усердное хозяйничание привело Фета к обогащению. В 1877 году он покупает уже в Щигровском уезде большое имение Воробьевку за 105 000 рублей, а через несколько лет — дом в Москве. Этот период материальной обеспеченности и довольства отмечен богатой литературной деятельностью. Фет много переводит, между прочим, гётевского «Фауста» и классических поэтов (еще раньше он перевел Горация), издает четыре выпуска стихотворений под заглавием «Вечерние огни», в это же время пишет свои воспоминания («Мои воспоминания» и «Ранние годы моей жизни»). Он умер 21 ноября 1892 года. Последний период жизни Фета был фактическим осуществлением его житейского идеала. Он достиг тех условий, при которых человек, освобожденный от материальных за-

бот, может отдаться творческой игре своей души. Консервативные, крепостнические воззрения Фета, вызывавшие столько нападок на него, были в основе своей инстинктивным обереганием того положения, которое одно обеспечивало тогда возможность культивирования фантазии и поэтической деятельности. Вся жизнь Фета была инстинктивным стремлением к этому привилегированному положению, обеспечивающему досуг, право на праздность и несмущаемую игру фантазии. Впрочем, более чуткие романтики всегда сознавали, что в праздности и лени нет романтизма. «Настоящая grande passidé,—говорит О. Уайльд устами лорда Генри,—привилегия тех, кому нечего делать, и поэтому бывает достоянием ленивых классов в стране». Метерлинк знал, что «в наши дни нищета—болезнь человечества», но он предлагал забыть «эту несправедливость», потому что в противном случае не может быть высоких мыслей: «Нужно, чтобы хотя немногие из нас позволили себе говорить, думать и действовать так, точно окружающие нас счастливы». Фет был цельной натурой. Вопреки его собственному желанию, в нем жило не два существа—человек и поэт,—а одно существо, оставшееся верным себе и в жизни и в поэзии. Он был «праздным соглядатаем» и там и здесь. И если жизнь порою заставляла его покидать эту роль, вступать на путь активной деятельности и борьбы, то праздное созерцание всегда оставалось его идеалом, и изменял он ему только для того, чтобы в конце концов еще вернее притти к нему. «Самое ненавистное для меня в жизни,—говорит он в своих «Воспоминаниях»,—это передвижение моего тела с места на место, и поэтому наиболее наводящими на меня уныние словами для меня всегда были: гулять, кататься, ехать». Сам он не раз признается в тех же «Воспоминаниях», что «ко всем возможным направлениям он был совершенно равнодушен» (т. I, стр. 266) и «никогда не мог понять, чтобы искусство интересовались чем-либо, помимо красоты» (т. I, стр. 225). Его лучшие друзья приходили в ужас от того исключительного даже для романтического поэта равнодушия к событиям действительности, каким отличался Фет. Тургенев, его горячий поклонник, в письме к нему от 4 февраля 1862 года говорит: «Вы поражаете ум остракизмом и видите в произведениях художества только бессознательный лепет спя-

щего». В другом письме, по поводу «плачевного конца предприятия Гарибальди», Тургенев пишет: «Я убедился, что человеку нужно еще что-то сверх хороших видов и старых деревьев, и, вероятно, вы, закоренелый и остервенелый крепостник, консерватор и поручик старинного закала—даже вы согласитесь со мной, вспомнив, что вы в то же время поэт и, стало быть, служитель идеала».

В поэзии романтизма, в поэзии, воздвигнувшей культ потустороннего и отвергнувшей землю, Фет занимает совершенно особое место. «Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв». В этой трехчленной формуле Фет с исключительным пристрастием облюбовал «сладкие звуки». Он любит и вдохновение и молитвы, он любит всю сложность душевных переживаний, соединенных с мистическим устремлением к нездешнему. Но больше всего он ценит в этом устремлении то, что оно приносит душе сладость и счастье, забвенье печального и отталкивающего, дарует человеку великую способность окрасить розовым цветом все, даже самые черные предметы земли. Все поэты романтического склада смотрели на приливы своего вдохновения как на моменты своего общения с нездешним, абсолютным миром; все они были уверены, что в эти моменты они видят тайны абсолютного, и что долг их состоит в том, чтобы весть об этих тайных и об этом мире приносить людям, которые сами не обладают счастливым даром провиденья и только через поэтов могут время от времени приобщаться к «стихии запредельной». В средние века папское духовенство приписывало себе эту миссию и верило, что молящиеся, наполняющие храм, только благодаря священнослужителю вступают в общение с высшим миром, чувствуют присутствие бога. После падения церковного авторитета, приняв на себя роль пророков и священнослужителей, став посредниками между невидимым миром и людьми, поэты сохранили одну черту прежних служителей бога: принося людям весть об этом мире, они не замечали, что в их изображении этот мир принимал всегда те формы, которые обобщали их собственные, родившиеся на земле вкусы и привычки, что бессознательно возводили они в «вечное» и «абсолютное» тот строй чувств и мыслей, признание которого делало оправданным и гармоническим их собственное существование.

Для Фета общение с высшим миром — это прежде всего равнодушие к «скорбной драме нашего временного бытия». По образу и подобию своему создает он своего бога. Образ «нездешнего» он строит по образцу того «здешнего», которое ставило своим идеалом беспечное, эпикурейское существование. Ни один из романтических поэтов не рассказал так красиво об этой связи между земными и неземными устремлениями романтизма:

Как мы живем, так мы поем и славим,
И так живем, что нам нельзя не петь.

Никто из поэтов не заявил так откровенно, что истинное поэтическое творчество, истинное общение с небом доступно только тем, кто счастливо освободился от оков жестокой действительности, от тяжелой борьбы за существование. Никто с таким аристократическим самодовольством не делил человечество на избранных и низких, и ни в чьей обрисовке так ярко не выдавались праздность и обеспеченность за главные признаки избранного. Благодать свыше нисходит только на тех, кто свободен от «блеска жизни дольной».

В движеньи, в блеске жизни дольной
Не сходит свыше благодать:
Нельзя в смятенности невольной
Красы небесной созерцать.
Нельзя с безбрежностью творенья
В чаду отыскивать родства,
И ночь и мрак уединенья—
Единый путь до божества

Эти две идеи или, вернее, два настроения,—аристократическая беспечность и пренебрежение ко всему, что мешает безмятежному культивированию этой беспечности,—красной нитью проходят через поэзию Фета. Он не борется с прозой жизни, с массами, с озлоблением и ненавистью обездоленных. Он просто не замечает их или, вернее, он проходит мимо них, даже как будто сознает, что во всем этом много тяжелого и ужасного; но все это не заслуживает внимания и усилия «избранных», потому что их дело—единственно нужное дело, и не может проза жизни остановить этого дела, не может уничтожить призрачный мир, который принадлежит поэтам.

Эта аристократическая беспечность и аристократическое презрение к злобе дня, окрашивают прежде всего его представление о «нездешнем» мире. Прозрачна, воздушна и радостна его «запредельная» стихия. Серьезное благоговейно-религиозное настроение Тютчева в моменты его общения с небом превращается у Фета в беспорядочное ликование. У Тютчева «нездешнее»—это самодовлеющий значительный мир, отраженный в явлениях действительности и наполняющий их торжественной тайной. У Фета—это мир пестрых красок, ласкающих и веселящих взор, мир, лишенный содержания, почти не связанный с миром явлений, не отраженный в нем. У Тютчева—напряженное искание высшей категории, охватывающей все видимое и связующей его в последнюю гармонию. Отсюда его сжатые образы, символы, почти лишенные всякого видимого содержания, но зато и обнимающие всякое содержание. Фет не ищет этого единства, не стремится выразить его. Он довольствуется отрицательной ролью «нездешнего»—тем, что оно уносит от действительности. Он не любит тяжелой работы, он не знает великой сосредоточенности, соединенной с приобщением к бесконечному. Он порхает в нем, как в мире бесцельных красивых красок и звуков. Оттого его стихи так музыкальны, его поэзия так легко усвояется. Он без труда перелетает в потусторонний мир и чувствует себя там радостно и свободно.

И так прозрачна огней бесконечность,
И так доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я из времени в вечность
И пламя твое узнаю, солнце мира!

Подобно своему преемнику Бальмонту, поэзия которого—родная дочь беспечной фетовой музы, он любит «мимолетное и даже вечное восприемлет как сцепление мимолетностей». «И все, что мчится по безднам эфира, и каждый луч плотской и бесплотный—твой только отблеск, о солнце мира, и только сон—только сон мимолетный!» Он радуется просветам в вечность, он не стремится подобно Тютчеву изведать всю ее глубину. «Природы праздный соглядатай», он довольствуется, если ему удается «стихии чуждой, запредельной хоть каплю зачерпнуть». Его вдохновение—«стрельчатая ласточка над вечереющим прудом». Он опре-

деляет «нездешнее» такими названиями, в которых оно рисуется обителью простора и счастья; оно—«свежеющая мгла, где беззаветно лишь привольно свободной песне и орлу». Он любит «незримое и безвестное», где «первый аромат», где можно скрыться в «пышной неге». Его общение с запредельным миром выражается в сладком томлении. Ему трудно объяснить природу этого томления, потому что его сладость именно в отсутствии усилия, безотчетном, бездумном отдавании. Он «не умеет сказать, что горит в его душе», и «тайну счастья» он унесет «без выражения». Таким безмятежным и радостным рисуется ему «вечное». Метерлинк, приобщившись вечности, узрел там завистливого бога, который злобно сторожит каждую улыбку человека, и принес людям мрачные вести о враждебных силах, обитающих в запредельной стихии. Тютчев знал, как ревниво бережет вечность свои тайны, и он знал, что мир природы «о днях былых молчит с улыбкою двусмысленной и тайной». И он просил ветер не петь «страшных песен» «про древний хаос про родимый» и почти молчал о том мире, о котором он грезил в «пророческих снах». Фету этот мир казался ласковым и легким, приносящим радость и веселье. Ему чужд мистический трагизм Метерлинка и торжественная вера Тютчева. Гораций—его учитель. «Carpe diem»—это настроение веет над его поэзией. В сонме мировых поэтов он нашел одного Анакреона, чтобы поставить его рядом с Тютчевым:

В сыртах не встретишь Геликона,
На льдинах лавр не расцветет.
У чукчей нет Анакреона,
К зырянам Тютчев не придет.

Аристократическая беспечность навеяла ему его представление о мире, как о вечном ликующем празднике. Она уже указала его музе ее призвание. В одном из стихотворений, обращенных к музе, он не откликается на зов того, кто хочет «проклинать, рыдая и стеня, бичей подыскивать к закону». Он говорит:

Пленительные сны лелея наяву,
Своей божественною властью
Я к наслаждению высокому зову
И к человеческому счастью.

Когда «обиженный бесчинствами» хочет рыдать, он не станет «ради его мук» изменять «свободы вечному призванью». Он не желает бороться с страданием, потому что не в страдании сущность дела. Страдают одинаково и человек и зверь, но первый отличается от второго тем, что ему доступна «радость страданья». Поэтому звуки его песен приносят на землю «не бурю страстную, не вызовы к борьбе, а исцеление от муки». Его муза посылает ночам его бессонным сладость «блаженных снов и славы и любви». Он любит ее больше всего за то, что она помогает забыть «житейское волненье». Он не хочет «широкого венца», его муза не пленяла его «рассказом о щитах, героях и конях». Иную музу указала ему молодость: «Цветы последние в руках ее дрожали, отрывистая речь была полна печали и женской прихоти, и серебристых грез, невысказанных мук и непонятных слез. Какой-то негою томительной волнуем, я слушал, как слова сливались с поцелуем, и долго без нее душа была больна и несказанного стремления полна». Его муза равнодушна к жизни и интересам масс, но иногда это равнодушие переходит в гордое презрение и вражду. Заботливо храня ее свободу, он не зовет к ней «непосвященных» и не оскверняет ее речей в угоду их «рабскому буйству». Она—«нетленная богиня», «в венце из звезд», «незримая земле заветная святыня». Она должна жить «в тени, вдали от света», ее не должна смущать «печальная пора», когда «гетера гонит площадная царицу мысли и труда». Он презирает рынок, где кричит желудок, где «для стоокого слепца» ценнее «грошовый рассудок» псевдо-поэта, чем «безумная прихоть истинного певца». На «затхлой площади» сбыт «малеванному хламу», там влачат в грязи, по прихоти народа, «низкопоклонный стих». Он верит, что «земному в небесный чертог не дано ничему достигать».

И только свою музу он возводит на этот аристократический пьедестал. Он выделяет «поэтов, героев и царей» в особую категорию. Они одеты «нетленностью божественной», они в Элизии, где «темной черни—нет». Их тройная цель—«блюсти, хранить и возвышать народы». Более точно, в чем заключается эта опека над народами, Фет определяет в других стихотворениях. Конечно, она состоит не в том, чтобы спускаться к массам и устранять их нужды. Как «горная высь», они должны «звать смертных взоры на синеву

небес». Ее «не омрачит земли тоска» и «не тронет вздох бессильный», ее судьба—«на гранях мира не снисходить, а возвышать». Поэты возвышают народы тем, что дают возможность любоваться радугами красок и забываться в мечтах:

Только у вас мимолетные грезы
Старыми в душу глядятся друзьями,
Только у вас благовонные розы
Вечно восторга блистают слезами.
С торжищ житейских, бесцветных и душных,
Видеть так радостно тонкие краски:
В радугах ваших, прозрачно-воздушных,
Неба родного мне чудятся ласки.

Все мотивы аристократически беспечного романтизма найдем мы в поэзии Фета. Его мораль построена на основе этого же романтизма. Различие добра и зла существует для земли, для тех миллионов, которые несут свой поденный труд, но он не существует на высотах красивого мира, выдуманного Фетом. Одно дело—непосвященные, другое—избранники-поэты. В стихотворении «Добро и зло» Фет проводит эту идею о двойственном отношении к морали со стороны поэтов и не-поэтов. Он ничего не имеет против того, чтобы массы людские различали дурное от хорошего, вели упорную борьбу со злом для достижения мирских благ. «Не лжива юная отвага: согнись над роковым трудом—и мир свои раскроет блага». И не только согнувшись «над роковым трудом», но даже «в час отдохновенья», когда он «подъемлет потное чело» к небу, когда он мог бы, казалось, тоже, по примеру поэтов, зачерпнуть каплю «стихии чуждой, запредельной», обыкновенный смертный, по учению Фета, не должен пытаться сравняться с поэтами. И в минуты отдыха,—говорит ему Фет,—«быть не мысли божеством», «не бойся горького сравненья и различай добро и зло». Но не такова участь избранных. Кто хочет витать в «стихии чуждой, запредельной», тому нужно отбросить туда, к рабам и поденщикам, эту способность различения хорошего и дурного:

Но если на крылах гордыни
Познать дерзаешь ты, как бог,—
Не заноси же в мир святыни
Своих невольничьих тревог;
Пари, всезрящий и всесильный,—

И с незапятнанных высот
Добро и зло, как прах могильный,
В толпы людские отпадет.

Подобно Тютчеву, он поет о бессилии человеческого языка, о бессилии разума и о силе поэтической фантазии. Философу никогда не выразить сущности своей души, поэт легко проникает в сущность явлений. «Как беден наш язык: хочу и не могу»—говорит он, варьируя знаменитое тютчевское: «Как сердцу высказать себя?» Ни другу, ни врагу не передать того, что «буйствует в груди прозрачною волной». И он знает, что отсюда возникает «роковая ложь», «бесплодное вечное томление сердец», бессилие мудреца, «клонящего маститую главу». Но если бессилен мудрец, служитель разума, объяснить сущность вещей, то «крылатый слова звук», вылетающий из уст поэта, передает то, чего не могут передать ясные слова мудреца: «и темный бред души и трав неясный запах».

Вечные песни, возрождающиеся всегда в моменты, когда исчезает вера в опытное знание и в человеческое усилие, и утратившая власть над жизнью личность устремляется к небу! Вечные песни о высшем мире как вечной предпосылке здешнего, об иррациональных состояниях души как о моментах общения с этим миром, о бессилии сознания, о могуществе поэзии! Вечная вражда к тем явлениям, среди которых бодрствует разум и нет простора воображению! Вечный культ тех явлений, среди которых усыпляется разум и расцветает воображение,—культ ночи, культ любви, культ прошлого и будущего, культ природы, вражда к дневному свету, к злобе дня, к стеснениям общественной жизни!

Фет не был бы романтическим поэтом, если бы не увидал в явлениях природы одного из тех путей, через которые его душа приобщалась к бесконечному. «Здесь темный дуб и ясень изумрудный, а там лазури тающая нежность—как будто из действительности чудной уносишься в волшебную безбрежность. И в дальний блеск душа лететь готова, не трепетом, а радостью объята, как будто это чувство ей не ново, а сладостно уже грезилось когда-то». И в своем отношении к природе Фет остался выразителем той струи романтизма, в которой отпечатлелась его аристократическая бесцельность и праздность. Не трепетом, а радостью объя-

та» его душа, уносящаяся «в дальний блеск», и в этом стихе, быть может, резче, чем где бы то ни было, отмечена грань между Тютчевым и Фетом в их отношении к природе. Он не зовет к ней «непосвященных» и не оскверняет ее речей. Благоговейный трепет там, и порхающая радость здесь. Он любит серебряную ночь, потому что она родит «в душе расцвет немой и тайной силы», потому что ее дыхание окрыляет его дух, он чувствует свое родство «с нетленной жизнью звездной». Ни один поэт не умел так подхватывать в явлениях природы только те краски и звуки, которые говорят о солнце, свете и радости. Его ночь—не темное, мрачное время, время тайн и ужасов. Она всегда почти светла, полна радости и неги. Когда кругом все темно и спит «с Фетидой Феб влюбленный», он видит, что «Аврора уж не спит и, смутясь блаженством бога, из подводного чертога с ярким факелом бежит». Его высшая похвала ночи—это сравнение ее с днем. Лучшая ночь—та, которая похожа на день: «Полночный свет, ты тот же день: белей лишь блеск, черней лишь тень»... Его звезды всегда «чистые», его месяц всегда «золотой», его ночь всегда «благовонная», «благодатная», «серебристая», «светлая». Он любит ночь, которая «светла, как день», когда «редко-редко кочевая тучка бросит тень». Он любит полночь, которая «видит только, что вечно и чисто, что навеяно ею самой». В яркие краски полного солнечного дня одевает он весь видимый мир. Все в природе создано для того, чтобы говорить человеку о светлом боге, управляющем миром, о солнечном радостном царстве, куда мир явлений служит просветом. Звезды говорят ему о вечности: «Вечность—мы, ты—миг. Нам нет числа. Напрасно мыслью жадной ты думы вечной догоняешь тень: мы здесь горим, чтоб в сумрак непроглядной к тебе просился беззакатный день. Вот почему, когда дышать так трудно, тебе отрадно так поднять чело с лица земли, где все темно и скудно, к нам, в нашу глубь, где пышно и светло». И море он любит тогда, когда «волна светла, как его душа», и о буре морской он чаще всего поет для того, чтобы ярче оттенить светлое успокоение, наступающее «после бури». Он почти не знает враждебных сил природы, не видит явлений, говорящих о злобных и неотвратимых намерениях рока. Его беспечный взор всюду заменяет темные краски светлыми, зловещие

звуки—дружескими и ласковыми. Даже среди набежавших туч он умел подсмотреть звезду, и ясно было ему, что «любовь, участие, забота его очам дрожали в ней».

Как все моменты суток—и утро, и сумерки, и вечер, и ночь он одевает в яркие краски полного дня, так все времена года он готов рассматривать сквозь призму лета. Солнечное, безоблачное время,—время, говорящее о полноте жизни, о радостном расцвете всех сил природы,—высший момент ее жизни. Летом пугливо бежит все, что напоминает о сне, о бездействии зиждительных сил, об умирании. Самый месяц «изумлен, что день не минул», потому что и ночь летом не может победить дня, потому что «широко в области ночи» день раскидывает свои объятья, и небо только на миг «смежает огнедышащее око». Осень у Фета не исполнена самостоятельной красоты. Это—«не унылая пора, очей очарованье», как у Пушкина. Она—скорее плач по лету. В ее слезах Фет любит все, что говорит ему о прошедшем лете. В эту пору,—говорит он,—

Мы не грустим, пугаясь снова
Дыханья близкого зимы,
А голос лета прожитого
Яснее понимаем мы.

В осеннем умирании природы он ловит только те звуки и те краски, которые говорят о жизни, о том, что все живое жадно ищет света и тепла, жадно цепляется за жизнь. «...Уговор заводят птицы умчаться стаей за теплом»; «... в ночь краснеет лист кленовый, что, жизнь любя, не в силах жить»; «...дни, когда в крови золотолиственных уборов горящих осень ищет взоров и знойных прихотей любви»,—вот образы и настроения, которые, как отрадные моменты, он заносит в свой поэтический дневник. Он любит в осени не типичное для осени, то, что напоминает о кратковременности ее жизни, что позволяет не думать о ней: «На дворе у нас ненастье, на дворе гулять опасно,—дай мне руку, дай на счастье!.. У тебя тепло и ясно»... Типичное осеннее враждебно ему. Замирают все его душевные силы. Не по себе ему, когда пропадают ласточки, «на дворе темно, лист сухой валится, ночью ветер злится да стучит в окно».

Воспоминание о лете не покидает его и зимой. «Сегодня—

вдруг исчезло лето: бело, безжизненно кругом; земля и небо—все одето каким-то тусклым серебром; поля без стад, леса унылы, ни скудных листьев ни травы... Но зиму он любит больше, чем осень. В ней больше бодрящих звуков и ярких красок. Он любит мчащуюся кибитку, удалую тройку, звук колокольчика, любит в мороз трескучий при свете солнца «снега блеск колючий, леса под шапками иль в инее седом, да речку звонкую под темносиним льдом», любит «игру денницы» на печальной березе, «разубранной прихотью мороза». Зимняя ночь приобщает его вечности, позволяет «глядеть в лицо природы спящей и понимать всемирный сон». Но ни одна пора года не нашла в Фете такого пламенного песнопевца, как пора весеннего пробуждения природы. Призыв весны—для него «призыв родной». В нем он слышит голоса, поющие в его собственной душе, потому что весна, начало жизни, громче всех говорит о жажде жизни, наполняющей весь мир.

Пришла — и тает все вокруг,
Все жаждет жизни отдаваться,
И сердце, пленник зимних вьюг,
Вдруг разучилося сжиматься.
Заговорило, зацвело
Все, что вчера томилось немо,
И вздохи неба принесло
Из растворенных врат эдема.

Именно в эту пору он особенно глубоко чувствует красоту вечного и ничтожность временного. «Нельзя заботы мелочной хотя на миг не устыдиться, нельзя под вечной красотой не петь, не славить, не молиться». В эту пору «с сердца куда-то слетает забота»; он «душою подкупленной» верит, «что, как мир, бесконечна любовь». Весною «о тайнах шепчет божество, цветет недавняя могила и бессознательная сила свое ликует торжество». Весною «несбыточное грезится опять, несбыточное в нашем бедном мире, и грудь вздыхает радостней и шире, и вновь кого-то хочется обнять».

У всякого романтического поэта есть свои излюбленные пути, приобщающие его к вечности, излюбленные состояния души, когда в нем живет только чувство единства с космосом. Фет—поэт звуков. Никто не умел так мощно уничтожить содержание слова перед его музыкой. Кажется, будто

он слушает только звуки, а не смысл слов, соединяет их в мелодии по особым звуковым законам, не совпадающим с законами логическими. Его мелодии—песни без слов. Его стихи—музыка со всеми особенностями музыки, с ее проникновением в душу исключительно при помощи слуха, с ее действием на безотчетные, недосказанные силы души. Никто не верил так, как Фет, что в слове таятся два значения, две силы: одна—его непосредственный смысл, другая—его звуковой смысл, его музыка. И никто так не верил, что вторая значительнее первой. Он «понял те слезы, он понял те муки, где слово немеет, где царствуют звуки, где слышишь не песню, а душу певца»... Он говорит: «Поделись живыми снами, говори душе моей,—что не выскажешь словами, звуком на душу навей!» Он не любит слова. Подобно Тютчеву, он знает, что все выраженное в слове уже утрачивает свою значительность, что «мысль изреченная есть ложь», и он жаждет других выражений своей души:

О, если б без слова
Сказаться душой было можно!

Эта любовь к звуку, к музыке слова объясняет, почему так любили его песни композиторы, переложившие на музыку множество его пьес. Им оставалось немного добавить к этим пьесам. Чайковскому он напоминал Бетховена, но никогда—Пушкина или Гёте. «Это,—писал про него Чайковский,—не просто поэт, а скорее поэт-музыкант, как бы избегающий таких тем, которые легко поддаются выражению словом». Он живет в мире звуков. Скрытый смысл явлений достигает его души, претворенный в звуки. «Я звука душою ищу, что в душе обитает». «И носятся светлые звуки и льнут к моему изголовью». В редкой из его мелодий не встретим мы этого претворения в звуки красоты, разлитой в мире и в его собственной душе. Он никогда не стремится уловить содержания, таящегося в этих звуках, никогда не разъясняет, о чем поют эти звуки. Они будят в нем сладкую истому, и он не старается нарушать ее вмешательством сознания. Он довольствуется силуэтами и мелодиями, ему не нужно портретов и слов. Неопределенные местоимения и наречия—«кто-то», «что-то», «где-то», «куда-то —наиболее ча-

стые определения, которыми он пользуется. Поднимаясь до самых обширных категорий, он лишает свои определения всякого содержания, но объединяет ими все бесконечное разнообразие явлений. Он—поэт сновидений, бесцельных и легких, ласковых и умиротворяющих. Он сам рассказал об этой бесцельности, об этой поэзии, имеющей одну цель—баюкать и навевать золотые сны.

Нет, не жди ты песни страстной:
Эти звуки — бред неясный,
    Томный звон струны;
Но, полны тоскливой муки,
Навевают эти звуки
    Ласковые сны.
Звонким роем налетели,
Налетели и запели
    В светлой вышине...
Как ребенок, им внимаю:
Что сказалось в них — не знаю,
    И не нужно мне:
Поздним летом в окна спальной
Тихо шепчет лист печальный,—
    Шепчет не слова,
Но под легкий шум березы
К изголовью, в царство грезы,
    Никнет голова.

XI.

Майков среди представителей «чистой» поэзии. — Его биография. — Отношение Майкова к общественно-литературным направлениям и к политическим злобам дня. — Романтический универсализм и объективность—главные черты майковской поэзии. — «Вечное». — Взгляд на поэта и искусство. — «Три смерти», «Два мира» и другие поэмы.

Перейти от лирики Фета к поэзии Майкова - это значит перенестись из концертной залы, где звучала ликующая симфония, в мастерскую живописи, где с больших холстов смотрят лица выразительные и стильные, но неподвижные и строгие. Фет—лирик, Майков—эпический поэт. Стихи первого—музыка, второго—живопись. Один поднимается к вечному, сливается с космосом, прислушиваясь к радостным, поющим в его душе звукам, которыми он наполняет вселенную; другой, пропуская перед своим взором «века и народы», созерцает бесконечно разнообразные фигуры и колли-

зии. Майков—яркая фигура в истории «чистой» поэзии. Дополняя Тютчева и Фета, он облек в своеобразные формы те думы и настроения, которые рождаются вместе с праздным созерцанием мира, с удалением от действительности, с развитием эстетических и эпикурейских вкусов.

Майков—типичный выразитель идеалистических настроений эпохи 40-х годов, и выразитель в духе Тютчева и Фета. Та же манера озирать мир с высот истории и отвлеченных настроений, то же стремление улавливать в реальном явлении только отражение мировой жизни. И в нем чувство единства с космосом развилось в привычной обстановке, среди милых и знакомых с детства картин усадебной жизни, и вследствие этого и он склонен отдаться во власть славянофильских идей, поскольку он задумывается над политическими вопросами, над злобою дня; готов впасть в крайности национализма и реакции, изречь проклятие западноевропейской цивилизации, когда ему кажется, что она несет с собою разрушение старого русского патриархального и религиозного уклада, и в столкновении России и Европы усмотреть борьбу нравственных начал—«двух миров». Майков, как и Тютчев и Фет,—поэт именно этой эпохи. Его гуманные настроения, роднящие его с лучшими представителями просвещенного барства, не переходят в отчетливое политическое и социальное мировоззрение и разрешаются неопределенной враждой к новым силам, сотрясающим старый уклад—быт, столь благоприятный эстетическим и философским вкусам.

Даже краткие сведения о жизни Майкова, заключающиеся в известной биографии поэта, составленной Златковским, рисуют знакомую нам типичную картину. Отпрыск старинной дворянской фамилии, Аполлон Николаевич Майков родился 23 мая 1821 года в Москве. Отец поэта был гусарским офицером, но страсть к искусству побудила его отказаться от военной карьеры. Он вышел в отставку и отдался живописи. Биограф поэта так характеризует его отца: «Среди своей семьи, освобожденный от мелких житейских забот, Николай Аполлонович свил себе артистическое гнездо, в котором провел свою долгую жизнь, оставаясь холодным и простодушно-беспечным ко всем треволнениям житейским и находя лишь усладу жизни в искусстве, в какой бы форме оно не проявлялось».

Характерно и то, что обладавший большим талантом, счастливо замеченный Николаем I и возведенный им в звание академика, отец поэта только по заказу выполнял серьезные работы для храмов, хотя выставленная им на петербургской выставке голова Мадонны положила начало его карьере. Свободное время он посвящал «своей любимой специальности—писанию женских головок и женского тела». Детство поэта протекло в имении отца, в сельце Никольском, близ Троице-Сергиевской лавры. Деревенскую жизнь он воспринял как светлый мир, полный мира, уюта и неги; картины крепостного права не оставили никаких следов в его поэтической душе. Целый ряд его стихотворений навеян счастливыми воспоминаниями из поры детства, протекавшего, по выражению Златковского, «на лоне свободной природы, вдали от сутолоки городской, среди простого сельского люда, крепкого своим патриархальным бытом». Двадцатилетним юношей он скажет:

Блажен, кто сохранил еще знаменованье
Обычаев отцов, их темного преданья,
Ответствовал слезой на пение псалма;
Кто, волей оторвав сомнение ума,
Святую библию читает с умиленьем
И, вняв церковный звон, в ночи, с благоговеньем,
С молитвою зажег пред образом святым
Свечу заветную и плакал перед ним.

В стихотворении «Рыбная ловля» (1855) он описывает деревенские радости своего детства—ловлю карасей, странствования за отцом «по ручейкам пустынным»—и прибавляет:

... Теперь то время мне
Является всегда каким-то утром длинным,
Особым уголком в безвестной стороне,
Где вечная заря над головой струится,
Где в поле по росе мой след еще хранится...

В Петербурге родная усадьба казалась ему «чудным сном». Ему казалось, что и сам он и «все вокруг» жило во сне.

Двенадцатилетним мальчиком Майков был привезен в Петербург. Здесь под руководством Солоницына, родственника, горячо любившего семью Майковых, будущий поэт прошел гимназический курс и в 1837 году поступил на юридический факультет Петербургского университета, который и окончил

в 1841 году со степенью кандидата. Солоницын, человек образованный и причастный к литературе, оказал большое влияние на развитие художественных и литературных вкусов будущего поэта. Развитию эстетических вкусов в Майкове содействовало, конечно, и общее преобладание артистических интересов в доме его отца. Историю литературы ему преподавал тогда еще молодой Гончаров, будущий знаменитый романист. В доме издавался рукописный журнал «Подснежник», в котором участвовали поэт и его братья (среди них известный впоследствии критик Валериан Майков), Гончаров и другие близкие к дому лица. На юридическом факультете, который тогда носил характер общеобразовательного, читались история и словесность. С ранней юности Майков пристрастился к живописи, подобно своему отцу. Близорукость помешала ему стать художником, и его художественные стремления нашли себе выход в другой форме, в которой ему суждено было приобрести громкую известность. Стихи Майков начал писать, еще будучи 15 лет от рода. «Весной 1838 года,—рассказывает Златковский,—когда в печати не появлялось еще ни одного стихотворения Майкова, почти одновременно в Петербургском и Московском университетах профессора русской словесности А. В. Никитенко и С. П. Шевырев познакомили своих студентов-слушателей по рукописным тетрадкам с стихотворениями студента 2-го курса Петербургского университета Аполлона Майкова». В печати первое стихотворение Майкова появилось в «Одесском альманахе» на 1840 год и обратило на себя внимание Белинского. Стихотворения поэта стали после этого появляться в журналах, а в 1842 году вышли в свет отдельным изданием «Стихотворения Аполлона Майкова», которые Белинский встретил с горячим сочувствием, посвятив молодому поэту большую статью в «Отечественных записках». Именно в это время Майков едва не сошел с своего истинного пути. Одна из его картин обратила внимание императора Николая, увидавшего ее в мастерской его отца. Художник-поэт был награжден бриллиантовым перстнем. А когда С. С. Уваров поднес императору первый сборник стихотворений, Николай предоставил Майкову самому выбрать себе награду, и поэт попросил разрешения ехать в Италию. Император Николай приказал выдать ему 1 000 рублей на это путешествие. Италия произвела на Майкова силь-

ное впечатление, и ряд его лучших стихотворений навеян итальянскими впечатлениями.

По возвращении в Россию, в сентябре 1841 года, Майков решил продолжать свою служебную карьеру. Еще до поездки за границу, по окончании университета, он был зачислен в департамент государственного казначейства. Теперь он назначается помощником библиотекаря в московский Румянцовский музей. В 1852 году он переходит в петербургский комитет иностранной цензуры исправляющим должность младшего цензора, причем, по аттестации председателя комитета Красовского, он «в последние два месяца 1852 и впродолжение 1853 года рассмотрел 223 книги на четырех языках—французском, немецком, итальянском и английском; в этих прочитанных книгах было 101 329 страниц в 8-ю долю листа». За такую усердную деятельность Майков был утвержден в должности младшего цензора. В 1875 году он был назначен старшим цензором, а в 1882 году—председателем комитета. В этой должности он и оставался до самой своей смерти, последовавшей 8 марта 1897 года, уделив, таким образом, цензурному ведомству 45 лет своей жизни.

Борьба общественно-литературных направлений и общественная и политическая злоба дня хотя и отражались на поэтической деятельности Майкова, но в общем поэзия его редко служила им, и всякий раз, когда поэт пытался сделать свою музу союзницей того или другого направления, этот союз оказывался искусственным и недолговечным. В 40-х годах он сблизился с западническим кружком Белинского, завязал знакомство с Панаевым, Тургеневым, Григоровичем и другими. Майков отдал дань увлечения этому кружку, но душою всегда оставался чужд ему и его социальным идеям. «Выросли мы,—говорит он в одном из своих писем,—бессознательно на христианской и русской почве и в действиях своих были, конечно, христианами и русскими, но свои отношения к миру приравнивали то к тому, то к другому философскому учению. Вдруг налетела новая буря Белинского; новые идеи о браке, что он не нужен... жорж-зандизм... о социальных условиях; старый мир с его религией, устройством общества отживает, нужен новый... словом, западничество дохнуло всей своею силой и охватило, конечно, и меня, но не вполне»... Сам Майков в том же письме указывает

причины этого неполного увлечения западничеством. Их было три: чтение «Москвитянина», занятия русской историей и стихи. Они отвлекли его в сторону славянофильства и чистой поэзии и поселили в нем полное равнодушие к социальным вопросам: «Пусть все это решают другие, я беру уж как готовое, отмечая только, что мне не нравится, напр., казарменная жизнь в фаланстериях и общественные работы». Майков отдал дань влиянию западнического кружка и в своих произведениях, например, в поэме «Две судьбы», где вывел героя Владимира, фальшивую, неживую фигуру, странную смесь западнических идей, русских чувств и барственной лени. Но подобные произведения,—говорит он,—«поощрялись литературой, и это испортило многие пьесы в моих стихах этой средней эпохи моей». Выходило, что «я к западникам не примкнул, хотя посещал их, а славянофилов в Петербурге не было, чтобы живое воздействие их могло благословить и оплодотворить мое сердце и фантазию и дать устой уму». Это неопределенное в 40-х годах настроение приняло более определенную окраску в 50-х, когда он резко склонился в сторону восторженных патриотических чувств и славянофильских тенденций, в особенности под влиянием известного национального подъема во время крымской кампании. Он издает книжку патриотических стихотворений под заглавием «1854 год». Здесь он отказывается от «чистого искусства», от прежних стихов: «Меня гармонии тогда пленяли тайны, и сам своих стихов заслушивался я». Теперь, когда «Россия вызвана на созерцание миру», он на новый лад настроил свою лиру: «Теперь не служит стих мне праздною забавой». И этот стих, став «боевым откликом на зов торжественный отечественной славы», явился выражением его чувств. Он противопоставляет Россию Европе в духе славянофилов:

Пора! Завеса разорвалась!
В нас сердце русское сказалось!
Мы прозреваем, наконец,
Нам не в Париже сумасбродном,
Не в дряхлой Вене образец.
В Европе слишком много кровью
Сама земля напоена;
Враждой упорной, не любовью
Взрастила чад своих она.
Там человека гордый гений

Зрел средь насильств и потрясений;
Дух партий злобу там таит;
Все живы старые обиды;
Над каждым мрачной Немезиды
Там меч кровавый тяготит.
А мы за нашими царями,
Душою веруя Петру,
Как за искусными вождями,
Пошли к величью и добру.

И в конце концов «идеал России молодой» чуть ли не сливается в его глазах с образом императора Николая, и николаевское царствование оказывается эпохой прямого осуществления этого идеала. В моем стихе,—восклицает поэт,—«блещет идеал России молодой, который светит нам водительной звездой; тот гордый идеал, который, окрыляя любовию наш дух в годину горьких бед, все осязательней и ярче тридцать лет осуществляется под скиптром Николая». В его стихах император Николай—«великий человек», «муж, божьей правды вечно полный». Конечно, было бы глубокой ошибкой думать, будто Майков в севастопольские дни примкнул к теории официального народничества и, прославляя Николая, тем самым сознательно хотел заявить свой восторг перед мрачными картинами ужасного семилетия. Патриотические восторги поэта, как и всякий его выход в политику, были скорее следствием его полного поэтического непонимания совершающихся событий, чем следствием продуманной политической программы. Это было знакомое уже нам по политическим стихам Тютчева стремление эпикурейца-эстета одевать торжественным величием всякую действительность, даже самую мрачную и неприглядную. Это было то неопределенное преклонение перед Россией, которое мешало людям старого уклада разобраться в борющихся силах, разглядеть живые силы будущего. Это было новое свидетельство того, что чистый идеализм и эстетизм, всякий раз, когда ему приходится спускаться с неба на землю, высказаться о злобе дня в острые моменты общественной борьбы, склонен присоединиться к реакционным силам, обеспечивающим неприкосновенность мечты и порываний к «вечности». Майков не был реакционером в обычном программном смысле этого слова. Он был поэтом, жрецом чистой поэзии. Его политические выступления были наивны, как и выступления Тютчева.

Ни Тютчев, ни Фет, ни Майков не были реакционерами в своей поэзии. Они пели об единстве души с космосом, они чуяли в каждом явлении дыхание вечной идеи и отмахивались от политики и злобы дня, как от назойливой мухи, отрывающей от грезы. Но когда, оторвавшись на минуту от нее, они обращались к злобе дня, Тютчев проклинал декабристов и прогрессивные направления европейской мысли, Фет оказывался жестоким крепостником, а Майков пел хвалебные гимны идеалу России, осуществляемому под скипетром Николая. Есть что-то роковое в этом если не союзе, то неизменном сопутствии реакции и чистой поэзии. И критики, даже глубоко убежденные в том, что поэзия и жизнь не зависят друг от друга, должны призадуматься над тем странным фактом, что три поэта, давшие глубочайшее обоснование и величайшие образцы чистой поэзии, оказывались всякий раз на стороне темных и косных сил, когда им случалось заглядывать в «скорбную драму нашего временного бытия».

Передовая критика отнеслась отрицательно к этим выступлениям Майкова, и он с этого времени отдаляется окончательно от западнического кружка и сближается с молодой редакцией «Москвитянина». «Около этого времени познакомился я с молодой редакцией «Москвитянина», с Аполлоном Григорьевым, Островским, Писемским, Эдельсон и с самим Погодиным, со славянофилами. Здесь показалось мне более правды, чем в западническом наклоне». Впрочем, и в этом сближении Майков остается индивидуалистом, а не человеком программы. Он принял не все из учения славянофилов и пришел к «тому устою мысли», на котором и остался стоять, по его собственному выражению. Этот устой дал ему полную независимость и свободу мысли «от посторонних влияний». В итоге «нравственная евангельская правда одна с малолетства не была поколеблена, плюс—некоторые рыцарские предания». Майков стал «вне колеи», вне боевых стремлений русского передового общества, и оно долго смотрело на него подозрительными или чуждыми глазами, как на писателя дружественного или, по крайней мере, не враждебного реакции. Освободив себя от обязательств, со времен Белинского налагаемых на писателя традициями передовой журналистики, Майков отдался чистому искусству. «Когда все это,—говорит он в письме к Златковскому,—установилось и отошло на

задний план, тогда только началось настоящее творчество, в связи отчасти с непредвиденными событиями жизни, отчасти с ходом внутренней работы мысли».

Майков занимает своеобразное место среди жрецов «чистого искусства». Он—представитель романтического универсализма, той струи романтизма, в которой отразилось стремление романтиков охватить все стороны жизни природы и человечества, их прошлое и настоящее, близкое и отдаленное; стремление собрать как можно больше поэтических документов. Это—то течение романтизма, которое смотрит на бесконечное разнообразие поэтических созданий человечества как на порождение одного великого духа и потому одинаково бережно и любовно обращается к песням всех веков и народов, читая в них историю этой высшей самодовлеющей силы. Это—то течение, которое бросило многих романтиков из объятий поэзии в объятия науки, обратило братьев Гримм к этнографии, Шатобриана—к истории, Шеллинга—к натурализму. Это—то течение, которое вызвало к жизни гердеровские «Голоса народов в песнях». И ни к кому так не применимы, как именно к Майкову, слова, которыми охарактеризовал историк немецкой литературы эти «Голоса», собранные в одну книгу одним из отцов немецкого романтизма: «Это были не только общераспространенные песни неизвестных авторов, но характеристические стихотворения всех национальностей, цвет духовной жизни, картины их своеобразного существования, отклики сердец, полные младенческих тонов страсти или чувства, полные внешнего действия или внутренних ощущений, наглядные, образные, изменчивые; словом, это была звучащая природа, настоящая лирика в смысле Гердера, исходила ли она от Сафо или Катулла, от Гонгоры или Шекспира, от Лютера, Опица, Фемминга, Симона Духа или от Гёте... Здесь были представлены все роды лирики: баллады, романсы, любовные песни, песни боевые, плясовые, пастушеские, басни; но народы не были разделены, все пользовались одинаковыми правами, все стояли в одном ряду; массы разделялись только по эстетическим соображениям, по родственным мотивам и однородным настроениям... Никогда никто не умел лучше достигнуть такого многостороннего литературного усвоения»...

Именно такова поэзия Майкова. Он—странник, собираю-

щий поэтические сокровища народов, улавливающий самые разнообразные голоса истории. Поэтому его поэзия несколько холодна, эпична и объективна. Ни один из этих голосов не есть голос его собственной души, и в то же время все они находят отклик в его душе. Глубоко знаменателен тот факт, что он начал свою поэтическую карьеру с антологии в духе античной поэзии. И казалось, будто античный мир был тем миром, с которым органически была сродна его душа. Его последующее творчество показало, что античный мир был только первым уголком, с которого он и начал обзор бесконечного собрания веков и народов. Его исторические занятия, его исключительный не только поэтический, но и научный интерес к «Слову о полку Игореве» свидетельствуют о том, что его гений был склонен к сферам творчества, где романтизм соприкасался с исторической и этнографической наукой. Из древней Греции и Рима он переносился в средние века и в современность, от славянских песен переходил к новогреческим. Его стихи—«отзывы», и одинаково объективно звучат в его поэзии и «отзывы истории» и «отзывы жизни». Он любит давать циклам своих стихотворений географические и исторические названия, выражающие его вкусы вечного странника и наблюдателя: «Из странствований», «Дома», «Очерки Рима», «Века и народы». Он любит памятники старины, потому что над ними витают образы и картины, несходные, отдаленные друг от друга столетиями, но объединенные в его душе. В Риме перед ним: «Вазари и Тацит, и сладостный певец Тибура и Пестума, и Дант, и Феокрит». И нет у него избранников, особенно дорогих сердцу. «Царство вечной юности и вечной красоты» одинаково «чувствуется» в творениях самых разнообразных гениев:

Сияющие мраморы
  Лизипп и Пракситель!
С бессмертными Мадоннами
  Счастливый Рафаэль!..
Святая лира Пушкина,
  Его кристальный стих,
Моцартовы мелодии,
  Все радостное в них —
Все то не откровенья ли
  С надзвездной высоты,
Из царства вечной юности
  И вечной красоты?..

И Тютчев, и Фет, и все романтические поэты считали поэтические создания «откровеньями из царства вечной красоты», но в стихах каждого из них это нездешнее царство, этот мир «слышный, но незримый», эта «стихия запредельная» раскрывалась в определенных явлениях мира по преимуществу, получала ту или другую преобладающую окраску, мрачную и враждебную земле, как у Метерлинка, радостную и светлую, как у Фета, торжественную и таинственную, как у Тютчева. Каждый из них наделял настроениями собственной души высший мир. Майков не знает такого преобладающего душевного настроения. Ничья поэзия не толкает так на историческое изучение, как его, не побуждает так любить все явления и все художественные творения. Ему рисуется вечное как великая равнодействующая. Поэзия Майкова делает понятным, каким образом шатобриановские «Мученики» и скоттовский «Айвенго» вдохновили Огюстена Тьери и как вообще романтики вдохновляли ученых. И даже родная природа и сама Россия, которая казалась его единственным пристрастием, в поэзии его становится одним из поэтических документов, равноценным среди других. Фет засыпал, когда слушал чтение романов Гончарова, самого эпического из писателей. Майков преклоняется перед автором «Обломова»:

Море и земли чужие,
Облик народов земных —
Все предо мной, как живые,
В чудных рассказах твоих.
Север наш бледный, но милый,
Милый затем, что родной,
Ныне опять мне унылой
Вдруг показался тюрьмой.

Он призывает малютку, которого увидал молящимся у креста, помолиться «о странных и чужих, о тоскующих, далеких и о добрых и о злых... и о том, чей путь далек, кто с душой, любовью полной, в мире всюду одинок». Он пишет «Альбом Антиноя», причем Антиноя делает уроженцем Сирии, «через которую проходили всякие философские и религиозные учения древности, оставляя свой осадок в местном населении». Соблазнительная задача для поэта, муза которого так охотно поет всеми голосами человечества! Египет, Вавилон, Иудея, Греция, Рим и прочее оставили следы своей

духовной работы во впечатлительной душе Антиноя. Его душа—«пальма, рой светлых голубок,—мечты золотые, что на ночь отовсюду слетаются к ней».

Эта объективность, эта всесторонняя эпическая восприимчивость накладывают особый отпечаток на все мотивы его поэзии,—мотивы, уже знакомые нам по лирике Тютчева и Фета. Излюбленный мотив этой лирики—чувство единства с космосом, порыв к вечному и равнодушие к земле,—этот мотив, звучавший у Тютчева торжественной молитвой, а у Фета легким ликующим гимном, Майков воплощает в изречение Аполлодора Гностика:

Дух века—ваш кумир; а век ваш — краткий миг.
Кумиры валятся в забвенье, в бесконечность...
Безумные! Ужель ваш разум не постиг,
Что выше всех веков — есть Вечность!..

Он верит в «разум и благость великого духа» и зовет его богом; верит, что мир сотворен для того, чтобы «неисчетные духи», вызванные богом «в бытие», воплотившись, могли «приять вящшую силу в пути к совершенству в срочной борьбе с естеством». Старая песня романтизма о служебной роли реального мира, существующего только для того, чтобы какой-то иной мир мог так или иначе осуществлять и проявлять себя. Старая песня, парализующая активные силы и волю человека, заставляющая смотреть и на добро, и на зло, и на радость, и на горе как на нечто неизбежное, нужное высшим силам для каких-то неведомых нам целей: «Не говори, что нет спасенья, что ты в печалях изнемог: чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе бог». Не в своей душе, а у того же Аполлодора Гностика нашел он образы, выражающие это непосредственное ощущение бога и космоса. «Заката тихое сиянье, венец безоблачного дня» для него «знаменованье иной ступени бытия». Он верит в «селенья, где, как спящие мечты, первообразны творенья в красоте их чистоты»; верит «в светлый мир, где пребыванье душ, как создал их господь, душ, не ведавших изгнанья в человеческую плоть!» Он верит, что «поэзия—венец познанья», что «в ней—божество!», что «раз ощутив ее сияние святое», навсегда забываешь «все мимолетное, земное». Ему незачем было искать новых звуков в своей душе, чтобы вы-

разить романтический порыв к небу и презрение к земле, потому что «века и народы» на все лады воспели этот порыв, и он, вечный собиратель поэтических голосов человечества, нашел готовые звуки.

И готовые звуки нашел для всех других мотивов своей поэзии. Ему незачем петь на новые лады праздное созерцание и идеалы эпикурейца, которые вызвали к жизни неподражаемые стихи Фета. Он отыскал эти песни у древних и ограничился переневами их песен. Сафо навеяла на него поэтические мысли о трапезах, «где Вакх в венце из винограда и тигра кожею покрыт, с кипящей чашей председает». Анакреон рассказал ему о том, что милее воинских трофеев и власти «в теплой хижине очаг, пня дубового отрубок да в руках тяжелый кубок, в кубке хмель и хмель в речах». У Проперция подслушал он эту философию, согласно которой «златая радость, всемирный скипетр, венец тяжелый и бармы пышного царя» ничто перед тем, когда «на ложе лени, склонясь ко мне лицом к лицу, задремлет Цинтия». Бродя среди памятников древнего Рима, он слушал голос, звучавший как мораль, как вывод из великой судьбы вечного города:

Покуда молоды — плюща и винограду!
Дооблачных палат, танцовщиц и певиц!
И бешеных коней, и быстрых колесниц,
Позорищ ужаса, и крови, и мучений!
Взирая на скелет, поставленный на пир,
Вконец исчерпай все, что может дать нам мир!
И, выпив весь фиал блаженств и наслаждений,
Чтоб жизненный свой путь достойно увенчать,
В борьбе со смертию испробуй духа силы,
И, вкруг созвав друзей, себе открывши жилы,
Учи вселенную, как должно умирать.

Среди памятников старины, среди повергнутых, некогда величественных кумиров, среди забытых молитв он постиг изменчивость человеческих верований, непрочность славы, ничтожность самых святых предметов и стремлений. Созерцая «допотопную кость», он знает, что «нас такой же ждет удел, пройдет и племя человека, умолкнет славы нашей шум; умрут о людях и преданья,—все, чем могуч и горд наш ум, в другие не войдет созданья». И это сознание, что на земле нет вечного и абсолютно великого, что конкретные формы, в которые облекается Вечная Идея, не представляются сами

по себе значительными,—это сознание приводит его порой к философии моментов во вкусе горациевского «carpe diem», и даже кажется по временам, будто в стихах его звучит смех Мефистофеля, а вызванные им к жизни образы улыбаются цинической улыбкой фавна. В прекрасном стихотворении воплотил он эту сторону своих чувств и настроений («Мраморный фавн»). В глубине запущенного сада случайно меж кустов открыл он статую. Много и других статуй мелькало среди древних лиц, но ему «была видна объятая кустом одна лишь голова с смеющимся лицом». Ему стало жаль идола, который из-за кустов лукаво улыбался. Одна за другой проносятся в его воображении картины, свидетелем которых был «цинический кумир», некогда почитавшийся богом. В честь его «при флейте звонкой, бывало, человек костер священный жег, на камне закалал с молитвою ягненка». И поэт обращается к статуе с вопросом:

О! расскажи:
Что, жаль тебе тех дней? Как ты расстался с властью
Развенчанный? Тогда—бывали ближе ль к счастью
Младые племена? Иль это умной лжи
Несбытный вымысел—их пир и наслажденья?
Иль век одни и те ж земные поколенья?..
Ты улыбаешься?..

Наступила другая пора. Фавн стал свидетелем роскошного двора; его как чудо отыскали в развалинах, ему разбили сад, вокруг него собрали «тритонов и наяд, афинских мудрецов и римских цезарей и греческих богов». И, так же «умильно осклабляясь», смотрел он на новый мир, на бальный блеск, на тайные свиданья любовников, их ласки и клятвы, с той же застывшей насмешкой слушал гремевшую в саду музыку. И долго ли эти клятвы хранились ненарушимыми, вечно ли горела в сердцах их любовь, или не более, чем «имя и уверенья их», напечатленные на его мраморе? И лукавый смех мраморного изваяния «с любви их не сорвал предательскую маску, не бросил им в лицо стыда живую краску»? На все эти вопросы поэта «циник мраморный язвительно смеялся». Он сам иногда похож на этого мраморного циника. Бесконечное разнообразие картин, стремлений, страстей и коллизий, вызванных им из всех веков и стран, научили его с оттенком иронии смотреть на волнующийся океан веков и народов.

Его взгляд на поэзию и поэта вытекает из этого же основного настроения его души. Поэзии чужды земные радости и печали, она равнодушна к ним. Ее сфера—вечность. «Муза—строгая богиня: ей слава мира—тлен и прах! Ей сердце чистое—святыня, и ум, окрепнувший в трудах!» Он поет «отцу вселенной своею лирой умиленной его творенья красоту». Люди в его глазах «дети бедные земли», они—«люди плоти и страстей». Они не видят «сил небесных», и только когда придет «поэт-провидец», они «просияют в полном облике своем». Мысль художника—«земле почти чужая». Поэт должен творить, «лишь вторя чудесным сердца голосам», «с кумиром дня не споря». В своих созданиях он должен отразить свой собственный образ «как общий облик родовой». Как и другие романтические поэты, он любит противопоставлять поэта «толпе». Ему, «избраннику», открыта сущность вещей, ей—только их видимость.

Куда б ни шел шумящий мир,
Что б разум будничный ни строил,
На что б он хор послушных лир
На всех базарах ни настроил,
Поэт, не слушай их. Пускай
Растет их гам, кипит работа, —
Они все в книге жизни, знай,
Пойдут не дальше переплета!
Святые тайны книге сей
Раскрыты вещему лишь оку:
Бог открывался сам пророку,
Его ж с премудростью своей
Не видел гордый фарисей.
Им только видимость — потреба,
Тебе же — сущность, тайный смысл,
Им — только ряд бездушных чисел,
Тебе же — бесконечность неба,
Задача смерти, жизни цель,
Неразрешимые досель,
Но уж и в чаемом решеньи,
Уже в предчувствии его
Тебе дающие прозренье
В то, что для духа вещество
Есть только форма и явленье.

«Может быть, многим покажется странным, что человек чуть не всю жизнь возится с одной художественной идеей или, по крайней мере, столько раз к ней возвращается. Но,

видно, я следовал инстинкту, подсказавшему мне, что лучше сделать что-нибудь одно, да по мере сил». Такими словами заканчивает Майков свое предисловие к трагедии «Два мира». Самое заглавие ее определяет то, что разумел поэт под идеей, занимавшей его всю жизнь. Это—противопоставление друг другу двух нравственных начал, двух сторон человеческого духа, двух противоположных принципов общественной организации, наконец, двух географических миров: Востока и Запада, двух русских исторических миров: крепостного и свободного, и т. д. Мы могли бы продлить перечисление этих контрастов, потому что его поэмы и его пьесы, напоминающие поэмы, являются почти всегда воплощением этих контрастов, и действительно можно поверить поэту, что всю жизнь возвращался он к этой излюбленной теме. Рядом с миром существующим он видел мир грядущий и, созерцая века и народы, он всюду различал эту борьбу настоящего и будущего. Он видит эти два мира повсюду. В поэме «Никогда» воспета первая встреча славян с римлянами. Поражен римский царь, остановившийся со своими легионами у порога славянского мира: странные послы пришли к нему оттуда,—«не лежат они челом перед ним во прахе, не целуют ног его в раболепном страхе» и гордые речи говорят ему: «Завладей хоть миром, здесь бег свой остановишь, здесь, в земле славянской, гроб сам себе сготовишь». Но властитель мира, принесший с собою иные принципы—принципы силы и завоевания,—не мог внять девизу славянских послов: «грех великий быть рабом, вящший грех—быть паном». Римский царь—солнце, с ним нет споров: «как судьба, для всех моя власть неотразима: повелитель мира—Рим, я ж—владыка Рима!» И битва между послами и римлянами—это битва принципов, общества, развившегося на принципе доверия, и общества, основанного на принципе завоевания, столкновение Востока и Запада, России и Европы, конфликт, изобретенный славянофилами. И заключительная картина—неожиданный страх завоевателей мира перед таинственными силами, скрытыми за «сумрачными горами», вполне гармонирует с туманной славянофильской грезой о новом слове, которое прозвучит оттуда миру. Этот же контраст «двух миров» служит темой другой поэмы—«Клермонтский собор». Западный мир, ополчившийся на защиту восточных христиан против мусульманского мира, не-

долго был одушевлен великой идеей всесветного христианского братства. Россия, которая в эпоху крестовых походов боролась с чингисхановскими ордами, одна была «сторожевым Европы станом и уж за веру кровь лила», одна остается носительницей этой идеи. «Мы крестоносцы от начала...—восклицает поэт,—мы не пришельцы—зиждем храм еще неведомый векам... нам пришлось на долю свершить, что Запад начинал... нас бог избрал творить его святую волю и т. д. Этот же контраст, перенесенный в современность, поэт воплощает в картине столкновения между старой княжной и ее дочерью (в поэме «Княжна»), между старым усадебным барством и новыми людьми, явившимися в достопамятные севастопольские дни. И снова звучат знакомые песни о Западе и Востоке:

Там—силой мир был сплочен феодальный
И пестрый сброд племен в один народ;
Здесь весь народ, дотоль как бы опальный,
Великое признанье сознает
И ради той идеи колоссальной
Он весь — от смерда до царя — идет
И государству в крепость отдается
И терпит все, лишь вера да спасется!

Эти сопоставления недостаточно отчетливы. Тот мир, который в его воображении отождествляется с Россией, лишен даже тех более или менее ясных очертаний, какие придавали ему славянофилы. Сочувствие реформам 60-х годов сочетается с враждебным отношением к новым людям: «Мы кинулись ломать киркой и ломом все старое за все его грехи». Глубокие симпатии к старому усадебному патриархальному быту, к «отжившему миру», не мешают ему в поэме «Поля» пропеть восторженный гимн неопределенному порыву к свободе, порыву в бесконечную даль. Идеализация древней Руси соединяется с благоговейным отношением к Петру,—сочетание тем более своеобразное, что вопрос о Петре был одним из боевых вопросов в борьбе западничества и славянофильства. Поэтому было бы глубокой ошибкой думать, будто, противопоставляя друг другу «два мира», Майков соединял с представлением об одном из них определенный круг идей, определенный общественный и нравственный правопорядок. Только в менее удачных его произведениях

(«Княжна») он более или менее резко высказывался против определенной системы воззрений и становится сравнительно твердо на сторону противоположной системы. В лучших его созданиях—«Три смерти» и особенно «Два мира»—этот контраст двух миров тонет в примиряющем и всеобъемлющем настроении романтического универсализма. В них—сущность майковской поэзии, его душа, охватывающая противоположные явления и сталкивающиеся начала как законные элементы мирового единства, как чарующие проявления единой красоты. Неверна мысль, будто Майков в «Двух мирах» хотел противопоставить христианство язычеству как нечто высшее чему-то низшему. Его язычник Деций не менее прекрасен, чем его христиане, поэт любит первого не меньше вторых и идею античного Рима чтит не менее, чем идею пришедшего ему на смену христианского мира. Если же говорить о силе художественного воплощения, то едва ли можно спорить о том, что фигура Деция вышла более рельефной, чем образ Иова, и что в споре Деция с Лидией язык первого звучит более убедительно и сильно, чем кроткая речь его противницы. Образы христиан долго не давались ему, тогда как фигуры язычников были сразу отлиты и удовлетворили поэта. «Здесь,—говорит он в предисловии,—я уже сделал все, что мог, в изображении языческого мира. Но понять христианский мир, не только в отвлеченном представлении, а в живых осмысленных образах, в отдельных личностях, оказалось гораздо труднее, чем сладить с миром языческим». Этого препятствия поэту не удалось вполне победить до конца, и фигуры из языческого мира остались более яркими, чем образы христиан. Что языческий мир не был в глазах поэта чем-то подлежащим осуждению, что этот мир был великим явлением наряду с христианством, своеобразным отражением чего-то высшего, надмирного,—на это косвенное указание находим в том же предисловии. Изобразив в первой редакции Люция (замененного в «Двух мирах» Децием) эпикурейцем, Майков говорит: «Но этого мне показалось мало. Герой должен был вмещать в себе все, что древний мир произвел великого и прекрасного: это должен был быть великий римский патриот, могучий духом, вместе с тем римлянин, уже воплотивший в себе всю прелесть и все изящество греческой образованности».

Эти предварительные замечания необходимо было сделать, прежде чем говорить о главном произведении Майкова—«Два мира» и об его первоначальном эскизе—«Три смерти». Трагедия «Два мира»—один из прекраснейших продуктов романтического универсализма. Здесь сталкиваются не два, а много миров. Духовные богатства, явившиеся в мир из глубочайших умов и благороднейших сердец, нравственные системы и обобщения житейского опыта, возникшие в результате долгих, полных богатого содержания жизней, плоды тонкой и вдумчивой работы аристократов мысли и жизни, все это наполняет трагедию. И кажется, что автор с великим благоговением собирал эти несходные алмазы человеческого духа не для того, чтобы блеск одного затмил остальные, а для того, чтобы показать, как неистощима сокровищница этого духа, как бесконечно разнообразны отражения единого Разума, раскрывающегося в явлениях мира. В «Трех смертях» поэт Лукан, философ Сенека и эпикуреец Люций приговорены Нероном к казни, и их предсмертные беседы—мудрые житейские обобщения, несходные, но одинаково глубокие и замечательные выводы из богатого запаса фактов, прошедших через лабораторию утонченного ума. Сенека почерпает мужество и силу в платоновом учении о том, что смерть есть «мир перерождения». Он верит, что «иная жизнь нас встретит там», что за земным пределом «проснутся, выглянут на свет иные чувства роем целым, которым органа здесь нет».

Мы — боги, скованные телом,
И в этот дивный перелом,
Когда я покидаю землю,
Я прежний образ свой приемлю,
Вступая в небо — божеством!

И рядом—Люций, утонченный эпикуреец, материалист, свободный от веры в вечную жизнь, в божественное будущее человека. Пусть даже прав Сенека, пусть действительно по смерти мы будем жить и станем богами,—Люций все равно не прославит смерти. Он любит эту жизнь, он любит свое тело, свои земные радости, и не влечет его жизнь, чуждая ему. Быть может, богини и боги завидуют, «смотря, как смертный ест и пьет и с смертной тешится любезной».

Для дел великих нужен
Веселый дух и добрый ужин...
По смерти слава нам не впрок!
И что за счастье, что когда-то
Укажет ритор бородатый
В тебе для школьников урок!..
До тайн грядущих нет мне дела!
И — здесь ли кончу я свой век,
Иль будет жить душа без тела —
Все буду я не человек!..

Люций не хочет пожертвовать ни одной минутой земных радостей, последние часы своей жизни отдает наслаждению, любви и красоте и умирает, «как мудрый сибарит, который, трапезою пышной насытив тонкий аппетит, средь ароматов тонко спит». Поэт Лукан развивает третий взгляд на жизнь и смерть. Ему жаль «бросить славных дел начатки и все, что билося в груди». Ему страшно подумать о том, что кипевшие в нем силы вдруг исчезнут, что «титан, грозивший небесам», вдруг станет горстью пепла:

Ужели с даром песен лира
Была случайно мне дана?

Он не хочет уступить без борьбы, не хочет помириться с мыслью, что его поэтический дар, давший ему власть над людьми и самим Нероном, исчезнет. Он даже готов бежать от смерти, но, услышав, как геройски погибла Эпихарида, «душа безумных сатурналий», он не хочет уступить женщине в героизме:

Теперь стою я, как ваятель,
В своей великой мастерской.
Передо мной, как исполины,
Несовершенные мечты!
Как мрамор, ждут они единой
Для жизни творческой черты...
Простите ж, пышные мечтанья!
Осуществить я вас не мог!..
О, умираю я, как бог,
Средь начатого мирозданья!

Никакие усилия не помогут отгадать, на чьей стороне симпатии поэта. Какая из трех смертей более других привлекает его, чьи предсмертные выводы находят отклик в его собственной душе? Равно звучны, прекрасны и четки стихи,

в которые он облекает философские итоги трех различных умов. Одинаково серьезно и вдумчиво слушает он эти чуждые и далекие друг другу голоса и, кажется, любуется бесконечным разнообразием возможностей, скрытых в человеческой мысли, бесконечной пестротой форм, которые принимает вечная истина. И так же тщетно стали бы мы искать следов его субъективного настроения в «Двух мирах». Он благоговейно смотрит на оба, как на величественные проявления Абсолютного, как на элементы великого мирового духовного процесса. Рим—не отживший низший мир, уступающий место новому, высшему христианскому миру, не умирающая идея, которая обречена на исчезновение пред новой идеей, заключающей в себе более величия. Рим—это символ человеческой солидарности, единства народов. Галл и свев, фессалиец, египтянин и сириец—все они чувствуют себя членами одной великой общины. «Язык, закон, свобода» Рима слили их в одно: он обратил мир «в жилище для человеческого рода». И «хоть мы все разноплеменны,—говорит Галлус,—но все, как граждане вселенной, чтим за отечество весь мир». Кесарь—священное знамя, такой же священный символ. Нерон—распущенный деспот, попирающий свободу, но его звание важнее его личности. Он—кесарь, он—конкретное воплощение тысячелетней традиции, он носит звание, перед которым молчаливо преклонится человечество, как перед высшей объединяющей властью:

Единство в мире водворилось.
Центр — кесарь. От него прошли
Лучи во все концы земли,
И где прошли, там появилась
Торговля, тога, цирк и суд,
И вековечные бегут
В пустынях римские дороги.

Деций главный герой трагедии, должен, по мысли автора, служить высшим выражением этой удивительной культуры, одной из великих форм, в которой раскрылась одна из самых поразительных сторон вечного. Он, как сказано выше, «должен был вмещать в себе все, что древний мир произвел великого и прекрасного: это должен был быть великий римский патриот, могучий духом, и вместе с тем римлянин, уже воплотивший в себе всю прелесть и все изящество «рече-

ской образованности». В изумительной смерти Деция скрывается великий смысл. Это не смерть эстета и эпикурейца, окружающего свои последние минуты цветами наслаждения и красоты. Это—геройский подвиг, исполнение долга, служение Риму и воплотившейся в нем идее. Деций не проявил достаточного внимания к декламации Нерона, чувствительного к своей славе артиста,—и он осужден на смерть. Простое извинение, одно слово лести императору-актеру—и Деций сохранил бы жизнь. Но Деций не скажет этого слова. У него свое представление о той роли, которую он призван сыграть в торжестве римской идеи, и это призвание требует его смерти. Новые времена требуют новых форм героизма, но в этих новых формах он окажется достойным своих предков и умрет, как Гораций Коклес и Брут. Он знает, что «Рим все собой объединил, как в человеке разум; миру законы дал и все скрепил». Он убежден, что «кто верит в разум, тот не может не верить в Рим». Правда, нероновский Рим—не прежний Рим; в Вечный город собрался всякий сброд; в Сенате заседают «чуть не вчерашние рабы». Но «временные тучи» не могут остановить судеб Рима. На престоле деспот и самодур, но «воля кесаря—закон», принцип не колеблется временными уродливыми его воплощениями: «сядь на трон, философ—с трона свет польется, и будет кесарев закон законом разума». В чем же заключается назначение истинного римлянина в это печальное время, в эпоху набежавших «временных туч»? Оно—в том, чтобы являть пример древней доблести, в том, чтобы служить живым напоминанием об истинной идее Рима. Не в борьбе с кесарем, не в убийстве его, не в оскорблении воплощенного в его лице принципа, а в пробуждении героического античного духа—задача «старых римлян», тех «фамилий, которых с Римом жизнь слилась, которых предки Риму были отцами и которых дух из рода в род передавался». Именно эту задачу хочет осуществить своим самоубийством Деций:

Мы ждем, и наша вся забота
Лишь в том, чтоб старый дух отцов
Являлся требовать отчета
В палаты кесарей порой;
Чтоб у поруганного трона
Он появлялся судией,
Грозящим призраком Катона.

А этот призрак всякий раз
Встает, во все дома стучится,
Лишь только новое свершится
Самоубийство между нас!

Не потрясая принципа неприкосновенности кесарского звания, он предполагает этим путем напоминаний, этими героическими самоубийствами вернуть кесаря к исполнению его долга.

Пред целым миром прокричать
Ему хочу! Пускай он знает,
Что с легионами рабов
Не сломит в нас он дух отцов,
Что кесарь — сам он забывает,
Что этот дух в лице его
Себя лишь чтит за божество,
И кесарь он — пока лишь полон
Сам этим духом!..

Этому величественному миру, в котором сочетается дух древней римской свободы с уважением к кесарю, носителю римской идеи, противопоставлен другой мир—мир христиан, воплощающий другую идею—идею отречения от земной жизни, вдохновенную веру в высшую, вечную жизнь. Там не боятся земного горя. Там—старец, у которого изъязвлены руки и плечи, но «в небесах витает дух и на устах—любви исполненные речи». Он жил царем, был «полн гордых замыслов» когда-то, но вдруг «на жестком ложе обрел он то, что нам дороже земного скиптра и венца и всех сокровищ мира,—бога и путь к нему»; с тех пор в созерцании совершенств бога он находит «ту мудрость, силу и покой, чем всех невольно покоряет и с высоты, где пребывает, всех увлекает за собой». В этом мире на земные радости и печали смотрят из загробного мира, и потому они утрачивают свое значение. Там вдова, муж которой был разорван львами в цирке, вдохновенно и радостно говорит сыну о том, как душа погибшего витает в небесах и любуется близкими, когда они творят добро и чтят бога, и, напротив, плачет, когда они поступают дурно. Когда сравниваешь эти два мира, то иногда кажется, будто поэт, быть может, задавшийся идеей возвеличить христианский мир над языческим, при разработке своей темы увлекся величием древнего Рима

и невольно воплотил его дух в более яркие образы. Христиане тоже сочетают идею подчинения кесарю с идеей служения богу. Но в их речах нет той гордой веры в свободу личности, которой дышит речь Деция. Они покорны своей судьбе. Их взор, вечно обращенный к небу, порождает их рабскую философию относительно земли. Они верят, что кесарь «поставлен от бога—царем племен». Они не собираются влиять на него своей мученической смертью, они без рассуждения готовы подчиниться всем его действиям и даже «мечу и мзде кровавой»:

Служить ему нам бог судил
Всем сердцем, до последних сил,
Без лжи, без всякого коварства
Все, что у нас земное есть,—
Вся наша кровь, все достоянье
И все умение и знанье,—
Готовы каждый миг принесть
Мы с духом радостным к подножью
Его престола.

Объктивность поэта особенно сказывается в последней сцене, в диалоге Деция и Лидии, когда оба мира встают во всеоружии, в своих лучших и самых величественных проявлениях. С одной стороны, гордая личность, преклоняющаяся перед силой своего собственного разума, своей мысли, «вознесшей ее и над людьми и над богами», умственный аристократ, не желающий признать братьев в миллионах низших существ, «немыслящих, тупых», личность, провозглашающая себя богом. С другой—личность, не мыслящая себя вне бога и человечества, верящая, что источник души в небесах, отвергающая человека-бога, отвергающая принцип независимой личности и обрекающая себя на служение сокрытой от нее цели. С одной стороны, девиз: «Мой суд—я сам»; с другой—«Пойми же, что свыше лозунг дан». С одной—титаническое притязание личности, наполняющей собою мир, вызывающей на бой богов и народы. С другой—философия смирения и покорности:

Здесь нет вождей!
Творят дела здесь уж не люди!
Для всех, как для простых орудий,
Сокрыты цели!..

Замысел автора, быть может, и не возбуждает споров. Но замысел и осуществление замысла, несомненно, разошлись между собою. Изумление Деция, последнего великого язычника, почти с ужасом слушающего предсмертное пение христиан, свет, которым окружило Лидию воображение умирающего римлянина в последнее мгновение его жизни, торжественное спокойствие христиан и отталкивающие картины языческой оргии,—все это свидетельствует, на чьей стороне хотел быть автор. Справедливо было отмечено критикой, что «Два мира» проливают свет на всю поэзию Майкова, на все его мировоззрение, на его отношение к современным событиям. Всюду он видел столкновение двух миров, всюду его взор различал вечную борьбу добра и зла. Но он озирал эту борьбу с тем величавым спокойствием, которое было результатом его романтического историзма. «Века и народы для него—путь к познанию нездешнего, к постижению целей Абсолютного Разума. Все они—равноценные проявления этого Разума. Духом Шеллинга и раннего русского гегелианства веяло от этой поэзии, и была она необходимым аккордом, стройно слившимся с общей симфонией, которой художественное творчество проводило в могилу отживающий мир понятий.

XII

Герои «дела».—Влияние начинающегося развития промышленности.—Город.—Гончаров. — Его биография и личность. — Его общественные и эстетические воззрения. — Взгляд на собственные романы. — «Обыкновенная история». — «Обломов». — «Обрыв».

Мы до сих пор умышленно оставляли в тени одну группу типов, выведенных на сцену писателями 40-х годов. «Лишние люди», поэты «чистого искусства», наше шеллингианство и гегелианство—все это были умственные течения и душевные настроения, возникшие в душе просвещенного и гуманного барства вместе с потрясением векового крепостнического уклада. Это были умонастроения людей, которые по воспитанию и привычкам принадлежали к прошлому, но которые, чувствуя крушение этого прошлого, переживали известную растерянность, искали забвения в бегстве от действительности на метафизические и эстетические высоты или страстно стремились к пересозданию общества, но

путались в противоречиях, не умея стать в определенные отношения к новым, выступавшим на историческую арену общественным группам. В общем писатели-художники, рассмотренные нами, скорее оплакивали старый усадебный мир, чем приветствовали новый. В поэзии Герцена, Тургенева и Толстого этого периода было больше скорбного бессилия, чем бодрых, зовущих звуков. Они ярче изображали неудачи Нехлюдовых и Рудиных в их поисках дела, чем героев дела.

И тем не менее эти герои дела уже нарождались. Такие чуткие к общественным движениям художники, как Тургенев, не могли не уловить этого богатого последствиями нового явления и пытались воплотить в художественные образы этих новых людей. Эти новые люди—предприниматели. Они явились задолго до отмены крепостного права. С известной точки зрения можно сказать, что именно они вызвали его падение, так как развитие этого типа было тесно связано с развитием промышленности и со всеми его неизбежными последствиями—с наемным трудом, свободным передвижением рабочих рук и т. д. Художественная литература рано почуяла будущее значение буржуазии, которая должна была занять место дворянства. Мало этого—наиболее чуткие художники, искавшие положительных идеалов, людей дела, склонны были идеализировать предпринимательство и предпринимателей как единственных людей, могущих обновить общество, как единственных людей, на которых можно опереться среди общего уныния и нравственного падения. Начиная с гоголевского добродетельного откупщика Муразова и кончая тургеневским Соломиным, мы имеем длинную вереницу образов, в которых воплотилось какое-то тайное, точно не вполне еще осознанное преклонение наших лучших писателей перед новым типом приобретателей. В критике установилось справедливое мнение, что эти типы, эти положительные герои плохо удавались нашим писателям, и в художественном отношении ни Муразов не может сравниться с Чичиковым, ни Соломин с Рудиным. По мере приближения момента падения крепостничества фигуры этих новых людей проясняются, и образы их в художественной литературе становятся более яркими.

Явление это находит себе объяснение в самом ходе общественного развития. Яркие образы стали возможны в худо-

жественном творчестве только тогда, когда в самой жизни определились их прототипы, и когда за изображение их взялись писатели, сами принадлежавшие к новому типу. Крепостное право, а вместе с ним землевладельческий уклад нашей жизни и умственные течения, художественные образы и настроения, взращенные усадебной обстановкой, должны были пасть. Развитие промышленности должно было породить новый строй воззрений новых господ положения, а вместе с тем новые настроения и новую оценку старых представлений. В шестидесятые годы выступит разночинец и объявит войну романтизму и мечтательности сороковых годов. Но предприниматель, капиталист, фабрикант должны были оставить свой след в литературе на заре своего начинающегося господства. Там, где капиталист выступал в своем чистом, неприкрашенном виде, он ломал традиции, он шел своим путем, вносил новые приемы в отношения к людям. Ему чужды были отношения, сложившиеся в деревне. Он был свободен от той культуры, от просвещения, от долгой привычки к командованию, от всего того, что делало дворянство не только экономически, но и умственно господствующим классом. Это были люди, которые захватывали в свои руки торговлю и промышленность и не знали никаких других принципов, кроме наглой и цинической эксплоатации. Юридическое положение этих людей было неестественным среди норм крепостного права. Они были богачами и нередко в юридическом отношении продолжали оставаться крепостными помещиков. Они основывали фабрики и приносили нередко своим помещикам десятки тысяч дохода. Неудивительно, что помещики не стесняли их в их операциях, санкционируя все их сделки. Они владели сами сотнями душ и огромными имуществами, и хотя все это юридически числилось за их помещиками, но в своем царстве они являлись полными господами положения и бесконтрольными властителями. С новыми приемами эксплоатации они в силу хода вещей врывались в старый землевладельческий уклад и разрушали его. Самый ход экономического развития, завоевания промышленности и торговли делал их фактически господами положения, хотя юридически они были рабами. Именно в этой среде создавался разнузданный тип хищника, не признающего никакой силы, кроме капитала, тот тип деспота и

самодура, который увековечил Островский в своих драмах. Как и на Западе, наша первоначальная буржуазия была «темным царством». Наши Гордеи Торцовы немногим отличались от Бондерби и Градгриндов диккенсовских «Тяжелых времен».

Но рядом с этими людьми нарождался и другой тип предпринимателя—просвещенного и делового, стремившегося соединить в своей деятельности приемы дореформенного хозяйства с новыми формами отношений, которые подсказывались развивающейся промышленностью. Это—промежуточный тип: дворяне, заводившие образцовые хозяйства в деревне или фабрики, капиталисты недворянского происхождения, покупавшие землю для устройства доходных предприятий, наконец, чиновники, соединявшие службу с организацией заводов. Это—Костанжогло, Левины, Сипягины, Тушины, Адуевы, Штольцы. Интересы этих еще немногочисленных, но сильных людей, более чутких к новым формам экономической жизни, требовали также раскрепощения деревни, освобождения рабочих рук, вольного наемного труда. В первой половине XIX столетия на купеческих фабриках работали крепостные в огромном количестве, и благодаря этому фабрикант находился в сильной зависимости от землевладельца. В любой момент этот последний мог лишить его рабочих рук. Даже правительство чувствовало, что необходимо оградить промышленность от власти помещиков, и принимало паллиативные меры,—например, запрещало помещикам снимать своих людей с фабрик до истечения срока найма. «Но оно,—говорит в своей превосходной статье «Новое общество» М. Н. Покровский,—не могло заставить помещика отдавать внаймы или отпускать на оброк своих крепостных, когда это нужно фабриканту, ни брать их обратно, как только они становились фабриканту не нужны. Отношения попрежнему оставались неподвижными,—свободная фабрика была немыслима в крепостной деревне. Нужно было сделать шаг дальше. Раскрепощенной фабрике должна была соответствовать раскрепощенная деревня». Этот новый тип явился результатом «прививки буржуазного духа к засыхавшему стволу русского феодализма». Либерализм этих людей, их отвращение к барской лени, их деловитый, серьезный взгляд на жизнь, отвращение к бесплодным мечтам и бесплодному

прожектерству рудинского и обломовского стиля- все это вытекало из новых экономических потребностей, из начинавшейся смены землевладельческого патриархально-крепостнического уклада новым—промышленным, предпринимательским. Новый тип был сочетанием того, что трудно было сочетать. Это не были помещики в полном старом смысле этого слова. В то же время это не были предприниматели в современном смысле слова, с ясно определившимися приемами эксплоатации. Неудивительно, что в художественной литературе фигуры Тентетниковых, Костанжогло, Тушиных и Штольцев выходили более бледными, чем образы Рудиных и Лаврецких или Торцовых. «Так вырос,—говорит Покровский,—на русской почве—как раньше на почве ост-эльбской Германии—ублюдок: имение-предприятие на крепостном труде, имение-плантация... Ублюдочный тип хозяйства, уже не феодального, но и не вполне буржуазного, оказался непригодным ни для старых, ни для новых целей». Превращение феодала в предпринимателя было одним из важнейших процессов в истории совершавшегося экономического переворота, и этот процесс необходимо уяснить, чтобы понять происхождение гончаровских героев с их либерально-буржуазными тенденциями, с их полудворянскими, полупредпринимательскими симпатиями, с полным отсутствием интереса к течениям, поднимавшимся из других слоев.

Это выступление буржуазии должно было отразиться на литературе и в другом отношении. Перемещалось место действия. Деревня должна была уступить свое господство городу. Новым чувствам и настроениям город открывал более широкий простор, чем усадебная обстановка. И литература переселилась в город. Действие лучших романов Толстого, Тургенева и Григоровича происходит в деревне. Если их герои появляются в столице, если великосветские романы Толстого происходят в городе, то обстановка этих барских домов на Поварской по существу не отличается от помещичьей обстановки. На город падает отблеск деревенского света. У Гончарова и Островского город выступает впервые ярко в виде новой силы, чуждой всему деревенскому укладу. Гончаров даже любит изображать столкновения городского и помещичьего строя представлений, любит рисовать, как нежные растения, выращенные патриархальной культурой,

превращаются в городе в закаленные и грубые продукты деловой и суровой жизни. Это перемещение арены художественного внимания было также результатом экономического переворота, совершавшегося в середине истекшего столетия. В сущности, в первой половине XIX столетия города в современном смысле этого слова в России не существовало. Правда, городов было несколько сот, но даже в половине сороковых годов в Европейской России (кроме Эстляндии, Финляндии и Польши) и в Сибири только 14 городов насчитывали более 30 000 населения, в нескольких десятках городов оно спускалось ниже—от 30 000 до 10 000,—а в главной массе городских поселений (568) не достигало и 10 000, а нередко спускалось и ниже тысячи. Если, за исключением столиц, почти всюду в городах отсутствовал главный признак города,—именно скученность огромного числа людей в одном месте,—то еще менее имелись налицо другие признаки, которые в настоящее время мы считаем специфическими признаками города. Именно, города не были культурными, торговыми и промышленными центрами, притягивающими к себе отовсюду лучшие силы из окрестных деревень. Даже накануне городской реформы 1870 года большинство городского населения еще продолжало существовать земледелием, хотя уже появились крупные промышленные центры. А что представляли собой города в качестве культурных центров, об этом лучшее свидетельство могут доставить «Мертвые души» и «Ревизор». Падение крепостного права вызвало быстрый рост городов. «В города,—говорит С. А. Приклонский,—нахлынули из деревень стаи разжиревших, разжившихся кулаков и оскудевшие помещики, которым больше нечего было делать в деревне; с другой стороны, здесь же осела и образовала многочисленный городской пролетариат сначала масса дворовых людей, потом безземельные крестьяне, а за ними потянулись бездомовые, безлошадные и др.» (Г. И. Шрейдер, Город и городовое Положение 1870 г. в «Истории России в XIX в.», изд. «Гранат».) Так центр жизни перемещался из деревни в город, а экономическая организация общества переходила из рук дворянства в руки буржуазии. В освобождающую силу этого процесса верили многие. В росте и усилении буржуазии даже лучшие люди начинали усматривать залог спасения

России. Известно, что даже Белинский пережил момент такого увлечения и в письме к Анненкову в начале 1848 года писал: «...теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство преобразится в буржуазию». Романы Гончарова—художественный памятник этого процесса, этого «преображения дворянства в буржуазию». Гончаров—яркий представитель того направления, которое идеализировало буржуазию, возвело на пьедестал новые приемы и качества, принесенные ею на арену жизни. Вопреки распространенному мнению относительно объективности творца «Обломова», он был апологетом адуевщины и открытым поклонником Штольцев и Тушиных. Гончаров не скрывал своих симпатий и даже прибегал к лирическим отступлениям, чтобы излить свой восторг при виде того, как обломовщина и Штольцы заключали братский союз. Ему грезились новые, совершенные люди, выросшие из этого союза,—люди, в которых сольются возвышенные мечты Обломовых и немецкая деловитость Штольцев в стройную гармонию. Как характерно в этом отношении то место романа, где мать Штольца тоскует о судьбе сына. Ей мерещится в Андрее идеал барина, хотя бы и выскочки из черного тела, сына бюргера, но все-таки сына русской дворянки, беленького, хорошо сложенного, похожего на русских барчуков. И она с ужасом смотрела на копоть, грязь, глину и все, с чем соприкасался в детстве Андрюша по воле труженика-отца. Но автора не пугает мысль о том, что из Штольца получится сухой работник с прозаическим складом души. Это могло бы случиться в Германии, но не в России, среди мечтательных Обломовых и верхлевских князей. «Утешься, добрая мать: твой сын вырос на русской почве—не в будничной толпе, с бюргерскими коровьими рогами, с руками, ворочающими жернова. Вблизи была Обломовка: там вечный праздник! Там сбывают с плеч работу, как иго. Там барин не встает с зарей и не ходит по фабрикам около намазанных салом колес и пружин». Ирония, звучащая в этом лирическом обращении к матери, не может скрыть, однако, задушевной мысли автора о слиянии предпринимательской деловитости и дворянских традиций. Штольца воспитывал не только отец-бюргер, но и романтические тени, наполняв-

шие пустой, запертый дом владельцев Верхлева, длинные залы и галлереи, темные портреты на стенах, «ряд благородно-бесполезно в нем протекших поколений, в парче, бархате и кружевах...»

Иван Александрович Гончаров родился 6 июня 1812 года. Впечатления раннего детства как нельзя более характерны для творчества Гончарова. Он родился и вырос в городе. Его родиной был Симбирск. И в то же время его детство протекало среди обстановки, удивительно напоминавшей усадебное приволье помещичьих домов. Его отец вел крупную торговлю хлебом, и в воспоминаниях Гончарова переплетаются картины деловой, прозаической жизни и барского уюта. «Дом у нас был, что называется, полная чаша, как, впрочем, было почти у всех семейных людей в провинции, не имевших поблизости деревни. Большой двор, даже два двора со многими постройками: людскими, конюшнями, хлевами, сараями, амбарами, птичником и баней. Свои лошади, коровы, даже козы и бараны, куры и утки—все это населяло оба двора. Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разного пшена и всяческой провизии для продовольствия нашей обширной дворни. Словом, целое имение, деревня». Это была жизнь в городе, жизнь более кипучая, деловая, чем в «дворянских гнездах», но в то же время жизнь, обставленная всем патриархальным хозяйством этих гнезд. Отец Гончарова умер рано, когда будущему писателю было семь лет, и роль отца в жизни Гончарова сыграл чужой человек, которого в своих воспоминаниях он называет Якубовым. Он был крестным отцом всех четырех детей. Отставной моряк, одинокий человек, Трегубов (настоящая фамилия Якубова) случайно познакомился с Гончаровым, привязался к семье, принял на себя заботы о воспитании детей и, по словам Гончарова, «превосходил родного отца». Он баловал детей, покупал им сласти, но и имел на них серьезное влияние. Его рассказы о морских кампаниях, о чужих странах рано заронили мечты о путешествиях в душе будущего автора «Фрегата Паллады». Неоцененны были его беседы о математической и физической географии, астрономии, вообще космогонии, потом навигации. Он познакомил мальчика с картой звездного неба, наглядно объяснял движение планет, вращение земли, чего не умели делать школь-

ные учителя. У него были некоторые морские инструменты, телескоп, хронометр, а среди его книг оказались путешествия всех кругосветных мореплавателей, с Кука до последних времен. С чувством глубокого уважения вспоминал впоследствии Гончаров и свою мать. Это была умная женщина, свободная от сантиментальной любви к детям и потворства их капризам. Она была взыскательна и «со строгой справедливостью распределяла поровну свою симпатию между всеми четырьмя детьми». Изображая жизнь Трегубова, его приятелей и всех окружающих, Гончаров говорит: «Мне кажется, у меня, очень зоркого и впечатлительного мальчика, уже тогда, при виде всех этих фигур, этого беззаботного житья-бытья, безделья и лежанья и зародилось неясное представление об «обломовщине». Когда впоследствии Гончаров приехал домой по окончании университетского курса, его обдало той же обломовщиной; сама наружность родного города не представляла ничего другого, кроме картины сна и застоя. Он пережил то, что переживали и Райский и младший Адуев при возвращении в родное гнездо. Его окружили теми же нежными заботами, тем же трогательным мелочным вниманием. «Кроме семьи, старые слуги, с нянькой во главе, смотрят в глаза, припоминают мои вкусы, привычки, где стоял мой письменный стол, на каком кресле я всегда сидел, как постлать мне постель. Повар припоминает мои любимые блюда». Этими впечатлениями могли быть навеяны картины, изображающие детство Обломова или младшего Адуева. Но были и другие впечатления, которых не пережили ни Обломов ни Адуев в уютной обстановке деревни. Шалости Илюши Обломова безнаказанно сходили ему с рук, десятки людей бросались поднимать уроненную им вещь; страх и тревога овладевали всеми, если мальчик исчезал. Наказаний, ограничения своих прихотей Илюша не знал. Дранье за уши и стоянье на коленях в доме Гончаровых широко практиковалось в качестве средства усмирения и исправления шалунов. В доме царила любовь, но не было барской распущенности и развращающей лени. Здесь Гончаров мог видеть не только Обломовых, но, повидимому, и тех людей, из которых складывался образ Штольца.

О первоначальном образовании Гончарова мы знаем мало:

его отдали в пансион, находившийся на другом берегу Волги, где учителями его были священник и жена священника, иностранка, учившая его французскому языку. В 1822 году мальчика отвезли учиться в Москву в коммерческое училище, по окончании которого в 1831 году он поступает в Московский университет. Воспоминания Гончарова, относящиеся к его университетским годам, чрезвычайно любопытны. Они не только дополняют картину жизни в Московском университете в замечательную эпоху 30-х годов, но дают богатый материал для характеристики самого Гончарова. Читая страницы этих воспоминаний, невольно спрашиваешь себя, где горячие речи, вдохновенные споры, бессонные ночи и воспаленные взоры студентов, решающих вопросы бытия,—все то, что пережили Станкевич, Белинский и их товарищи? Только изредка, точно обмолвясь, упомянет о них Гончаров. В общем же его университетские воспоминания—важное свидетельство того, что уже в студенческие годы он был умным и рассудительным юношей, который добросовестно и с интересом относился к лекциям профессоров, любил и ценил науку, хорошо держал экзамены, но никогда не горел тем пламенем, каким горели его сверстники. Его воспоминания пересыпаны трезвыми, деловыми соображениями умеренного характера. В споре между противниками и сторонниками классицизма он причисляет себя к «умеренным борцам», которые не подадут голоса «за совершенную отмену латинского и греческого языка в отношении лингвистики». Так же деловито приходит он к заключению, что «лекторы новейших языков из иностранцев почти не нужны в университете», и подкрепляет эту мысль рядом веских доводов. Весьма справедливо и благоразумно советует он молодежи не ограничиваться одними профессорскими лекциями и читать книги, потому что «профессорские лекции, как бы они ни были полны, содержательны, исполнены любви к знанию самого профессора, все-таки не что иное как только программы, систематические, постепенные указатели, регулирующие порядок приобретаемых познаний». Счастливейшим и лучшим годом университетской жизни он считает 1832/33 учебный год, потому что «юная толпа составляла собою маленькую ученую республику, над которой простиралось вечное ясное небо, без туч, без гроз и без внутренних

потрясений, без всяких историй, кроме всеобщей и российской, преподаваемых с кафедр». И далее следует характерное для Гончарова признание: «Если ж и бывали какие-нибудь истории, в которых замешаны бывшие до нас студенты, то мы тогда ничего об этом не знали. Мы вступили на серьезный путь науки, и не только серьезно, искренно, но даже с некоторым педантизмом относились к ней. Кроме нее, в стенах университета для нас ничего не было. Дома всякий жил посвоему, делал, что хотел, развлекался, как умел,—все вразброд, но в университет мы ходили только учиться, не внося с собою никаких других забот и дел». Если припомнить, что в этом именно «счастливейшем» 1832 году был исключен из Московского университета Белинский, читавший товарищам свою мятежную юную трагедию, то благодушное настроение Гончарова явится особенно характерным. «Тучи и грезы» не отсутствовали тогда в университете. Но Гончаров не замечал их. Он не принес с собою в университет общественной злобы Белинского и Герцена. Подобно Адуеву-старшему, он смотрел на вещи трезво, был умеренным и просвещенным дельцом, не прочь был мягко высказаться против бесполезного стеснения студенческой свободы, мог вежливо отметить недостатки некоторых профессоров, но в общем извлекал из наличных условий все полезное, что мог извлечь, и великое сотрясение совести, пережитое его сверстниками при виде крепостнической России, было чуждо ему. Казалось ему, что в университете все было «патриархально и просто». И, расставаясь впоследствии с воспоминаниями о своей alma mater, он по обыкновению кончил свой рассказ срединным заключением о том, что в этой патриархальности была своя хорошая и своя дурная сторона медали. «Хорошая—та, что студент, как сказано, не отвлекался ничем посторонним от своих прямых занятий, что особенно было удобно в московских уголках и затишьях, отдаленных от всякого шума и суеты». Гегель и Сен-Симон не упоминаются в его воспоминаниях. С Лермонтовым, К. Аксаковым, Станкевичем и другими замечательными людьми, учившимися в его время, он не был знаком.

Еще более характерны воспоминания о первых шагах Гончарова на служебном поприще. Его возвращение на родину по окончании университета и впечатления, пережитые

в родном городе, удивительно напоминает историю пребывания Райского у бабушки. В книге Е. Ляцкого о Гончарове находим многочисленные параллели между отдельными моментами жизни Гончарова и героев его романов. Но, может быть, ни разу Гончаров не переносил в романы свои собственные впечатления так очевидно, как в изображении губернского города в «Обрыве». Изображая процесс творчества Райского, Гончаров, кажется, рисовал процесс своего собственного творчества. Можно подумать, что, подобно Райскому, заносил он в свои тетради фигуры, житейские драмы и эпизоды, попадавшиеся ему на пути, и затем, создавая свои романы, вставлял в них эти материалы, выхваченные из живой действительности. Та же ласковая нежность встретила его, что и Райского, у бабушки, те же провинциальные образы, почти тот же добродушный губернатор, объезжающий губернию, барин и хлебосол, те же неизбежные визиты к почтенным лицам, от которых благодушно уклонялся Райский и столь же благодушно уклонялся Гончаров, и от которых ни тому ни другому уклониться не пришлось. Гончаров не хотел служить в провинции, но из уважения к губернатору, настаивавшему на этом, принял должность его секретаря, причем, как сам он полушутя сообщает в своих воспоминаниях, он прекрасно понимал, что будет играть роль «подставного» секретаря, и что назначение его на эту должность понадобилось для каких-то не совсем понятных ему, а может быть, и не совсем чистых чиновничьих комбинаций. Он был свидетелем взяточничества и произвола, царивших среди провинциальной администрации. Но ни одной ноты негодования или гражданского чувства нет в его воспоминаниях. Напротив, порою он как бы переживает удовольствие художника, передавая слишком анекдотические эпизоды о подвигах чиновников в этом отношении. Он весело проводил время, став присяжным кавалером губернаторской дочки на балах и исполняя свои служебные обязанности с соблюдением всего бюрократического ритуала, к которому только позднее в своих воспоминаниях он позволил себе отнестись с легкой иронией. Когда его покровитель губернатор был уволен, Гончаров тоже вышел в отставку, и о прощании с чиновниками канцелярии он говорил: «Я пожал им в первый и последний раз руки:

они были уже не подчиненные мне». Этот факт свидетельствует о том, как легко и быстро юный бюрократ, попавший в канцелярию прямо со студенческой скамьи, усвоил бюрократические традиции. «Гончаров,—замечает Ляцкий,—шел в данном случае уже по проторенной колее; новаторство, даже самое невинное, не было в его натуре, и потребовалась длинная вереница лет, чтобы в его бюрократических понятиях совершилась та уступка новым веяниям, признаком которой явился слегка иронический тон в воспоминаниях о молодых годах своей жизни».

Покинув вместе с губернатором свой родной город, Гончаров в 1835 году прибыл в Петербург. Здесь он благодаря связям получил место переводчика в департаменте внешней торговли. С этого момента почти без перерыва тянется его однообразная бюрократическая карьера. Из переводчиков он переходит на должность столоначальника в том же департаменте. В этот служебный путь большое оживление внесла только предпринятая им продолжительная поездка в 1852 году, по предложению министра народного просвещения. Он отправился в качестве секретаря на фрегате «Паллада» в Японию и вернулся обратно через Сибирь. По возвращении в 1856 году он получает должность цензора, в 1862 году назначается редактором «Северной почты», газеты министерства внутренних дел, в следующем году—членом совета этого министерства по делам печати. В качестве чиновника Гончаров остался верен тем свойствам своего характера, которые обнаружились в нем еще на студенческой скамье. Он был деловитым и добросовестным чиновником, серьезно и трезво смотрел на дело. Нетрудно, конечно, понять, что человек с его умом не мог увлекаться механической ролью винта петербургского бюрократического механизма. Но, подобно старшему Адуеву, он уважал «дело» как таковое и отдавал службе необходимую дань, тем более, что прочное служебное положение обеспечивало ему известный досуг и независимость, благодаря которым он мог предаваться любимой литературной деятельности. В щекотливую деятельность цензора он вносил столько просвещенного либерализма, сколько позволяло его служебное положение, старался смягчать убийственное действие цензуры, но в пределах, отведенных личной инициативе бюрократическими требованиями. Это не

мешало ему быть строгим формалистом и держаться буквы цензурного устава. Он был осторожным чиновником, просвещенность и либерализм которого едва ли проявлялись там, где это могло быть сопряжено с известным риском для него. В 1873 году Гончаров вышел в отставку, прослужив более 40 лет. Его старость была окружена уважением к его литературным заслугам, что ярко сказалось в 1883 году, во время празднования его юбилея. Он умер 15 сентября 1891 года и был похоронен на кладбище Александро-невской лавры.

В лице Гончарова история русской общественной мысли может отметить ярко выраженный ранний тип представителя просвещенной и либеральной буржуазии. Гончаров не только как носитель известных общественно-литературных идей, но и как человек занимает среднее место между романтически настроенным барством 40-х годов и новыми людьми, резко заявившими о себе в 60-х годах. Он не может порвать с этим барством, с его традициями, даже с его мечтательностью и романтизмом. Но в то же время есть один крупный недостаток у просвещенного барства, который отталкивает от него Гончарова. Это—отсутствие способности к делу, к действию, к труду. Гончаров никогда не становился вполне на точку зрения шестидесятника-разночинца, бросившего идеалистам 40-х годов резкий и даже грубый упрек за их мечтательность и романтическую гуманность, не претворенные в дело. Но Гончаров часто приближается к шестидесятникам в своем настойчивом преследовании старого барства за его инертность. В Обломове он осудит это с почти беспощадной резкостью, к Райскому он отнесется более снисходительно, но и в «Обрыве», изображая мечты его, он будет каждую минуту иронически преследовать его напоминанием о том, что эти мечты никогда не претворятся в дело. В лице Адуева он рисует процесс превращения мечтателя в деятеля. Но Гончаров не желает исчезновения этого идеализма, высоких помыслов, его ирония над мечтательным бездельем не переходит дальше известных пределов. Он не хочет и чистого дела, не хочет голого материализма. Он—истинный представитель просвещенной буржуазии, которая смотрит на предпринимательство как на культурную и важную общественную миссию, не допускает циничной и наглой эксплоатации,

как герои Островского, ценит науку и искусство, вносит, поскольку это возможно, приемы гуманного и просвещенного обращения и в бюрократическое дело и на фабрику; но в то же время в ней чувствуется уже та суровость, которая, с обострением промышленных отношений, окончательно станет на место барского благодушия. В старом барстве Гончарову неприятны безделье, преувеличенный эстетизм, мечтательность, пренебрежение к факту; в новых людях—материалистах и нигилистах—его отталкивают грубость, отсутствие всякой мечтательности и эстетики, культ голого факта. Он ближе к первым, чем ко вторым. И когда борьба обострилась, когда пришлось выбирать между Бережковыми и Волоховыми, он предпочел первых и проклял вторых. Гончаров не только написал прекрасные произведения,—он один из тех трезвых и умных писателей, которые составили превосходные комментарии к своим произведениям. Ни один критик-общественник не мог бы так просто и ясно определить социальную почву, из которой выросло творчество Гончарова, как сделал это он сам: «Я не владел крестьянами, не было у меня никакой деревни, земли; я не сеял, не собирал, даже не жил никогда по деревням... Я век свой провел в городах, больше всего в Москве, где учился, потом в губернском городе на родине, потом более полувека живу в Петербурге, откуда отлучался нередко на многие месяцы за границу и года два провел в кругосветном плавании» («Слуги старого века»). В этих словах объяснение культурно-исторического значения гончаровского творчества. Оно памятник того момента, когда просвещенная мысль из барской усадьбы переходила в город, когда дворянство начинало уступать свое место буржуазии.

Эстетические воззрения Гончарова вполне гармонируют с общим складом его характера. В эпоху, когда романтизм и материализм вступили в резкий конфликт, он стремился занять срединное положение, предпочитая стать на сторону первого в тех случаях, когда примирение было невозможно. В своей авторской исповеди «Лучше поздно, чем никогда» он делит художников на две категории: у одних преобладает ум, у других—фантазия. Художник первого типа работает сознательно, если ум его тонок, наблюдателен и превозмогает фантазию и сердце. Тогда идея нередко высказы-

вается помимо образа. И если талант не силен, она заслоняет образ и является тенденцией. У таких сознательных писателей ум досказывает, чего не договаривает образ, и их создания бывают нередко сухи, бледны, неполны; они говорят уму читателя, мало говоря воображению и чувству. Они убеждают, учат, уверяют, так сказать, мало трогая. И, наоборот, при избытке фантазии и при относительно меньшем против таланта уме образ поглощает в себе значение, идею, картина говорит за себя, и художник часто сам увидит смысл с помощью тонкого критического истолкователя, какими, например, были Белинский и Добролюбов. Сам Гончаров, повидимому, не склонен причислить себя к художникам первой категории. Он говорит о себе, что увлекается больше всего «своей способностью рисовать». В другом месте исповеди он еще более резко выступает в защиту фантазии и восстает против тенденции, против ума в искусстве, против «идеи, заслоняющей образ». Он в таких словах определяет проповедь «ультра-реалистов»: «Нам до той или другой жизни дела нет: все в искусстве должно служить делу, моменту, «злобе дня». Но ведь этак,—замечает Гончаров,—пришлось бы ограничить жизнь суетливым перебеганием от одной дневной заботы к другой. Куда же девать все другие бесчисленные, и мрачные, и светлые стороны жизни, картины не одних политических, социальных, но и общечеловеческих разнороднейших страстей, интересов, сует, волнений и горячек, скорбей и радостей?» «Нет,—будем держаться школы старых учителей и итти проложенным ими путем, не отказываясь, конечно, от истинных, законных развитий, новых шагов в искусстве, хоть бы от того же самого реализма, когда эти шаги не будут pas des géants, и когда он откажется от претензии колебать основные законы искусства!»

Таково срединное положение, занятое Гончаровым в столкновении между реалистами и романтиками. Он, как и во всем, только враг крайностей, не прочь признать некоторые достоинства за «новой правдой», но в общем предпочитает старую правду. Гончаров причисляет себя к писателям фантазии, к врагам тенденции. Между тем, ему не удалось удержаться на этой позиции. Он не только иногда занят «суетливым перебеганием от одной дневной заботы в другой», сам того не замечая, но и сознается, что служит искусством «злобе

дня», и что идея у него нередко «заслоняет образ». Объясняя, почему он немца (Штольца), а не русского поставил «в противоположность Обломову», Гончаров замечает, что, «изображая лень и апатию во всей ее широте и закоренелости как стихийную русскую черту, и только одно это», он, выставив рядом русского же как образец энергии, знания и труда, «впал бы в некоторое противоречие с самим собою, т. е. с своей задачей—изображать застой, сон, неподвижность». Это любопытное признание свидетельствует о том, что Гончаров умел заслонять образ идеей; он знал, что Штольц «слаб, бледен, что из него слишком голо выглядывает идея». А что он умел сознательно искусством служить злобе дня, видно из его комментария к «Обыкновенной истории»: в столкновении дяди и племянника выразился «намек на мотив, который едва только начал разыгрываться в самом бойком центре—в Петербурге; мотив этот—слабое мерцание сознания необходимости труда, настоящего, нерутинного, а живого дела, в борьбе с всероссийским застоем». Его авторская исповедь, да и самые романы, пересыпанные комментариями автора, свидетельствуют о том, что он умел писать по плану, идея далеко не отсутствовала в его замыслах, а ум вовсе не легко уступал место сердцу и фантазии.

Литературная деятельность Гончарова началась рано. Как мы знаем уже из биографии Майкова, он принимал участие в домашних журналах, издававшихся в семье Майковых. Для домашнего журнала «Лунные ночи» в 1839 году он написал повесть «Счастливая ошибка». В 1847 году в «Современнике» появилась его «Обыкновенная история». Через год в том же журнале он напечатал рассказ «Иван Саввич Поджабрин». Еще через год появился «Сон Обломова», отрывок из будущего романа, обессмертившего имя Гончарова. Этот роман Гончаров долго вынашивал, оставлял и вновь принимался за него, тем более, что с 1849 года его начинает занимать новый роман—«Обрыв», когда он после четырнадцатилетнего отсутствия снова приехал к родным на Волгу. Старые воспоминания нахлынули на него и мешали кончить «Обломова», «которого была написана первая часть, а остальные гнездились в голове». Как мы уже упоминали, 1852—1854 годы Гончаров провел в кругосветном плавании. Письма, в которых он сообщал свои дорожные впечатления, печатались

в различных журналах, а в 1858 году вышли отдельной книгой—«Фрегат Паллада», и только в следующем 1859 году, через десять лет после появления отрывка «Сон Обломова», появился в печати целиком «Обломов». Еще дольше вынашивал Гончаров «Обрыв», задуманный в 1849 году и появившийся только в 1869 году в «Вестнике Европы». Эти три романа составляют главное литературное богатство, оставленное Гончаровым. После «Обрыва» он не писал уже крупных вещей, и в появлявшихся время от времени статьях стремился подвести итоги своей жизни и своему творчеству или отзывался на то или другое, большей частью литературное событие. Так, в 1872 году он напечатал интересную статью «Мильон терзаний» по поводу «Горя от ума»—статью, которая до сих пор считается одной из лучших статей о грибоедовской пьесе. В 1847 году появляется его статья о Белинском, затем—«Литературный вечер», где он излагает свои взгляды на искусство, а в 1881 году—его авторская исповедь «Лучше поздно, чем никогда», представляющая собою важнейший документ для оценки воззрений и творчества Гончарова. Не менее важное значение в этом отношении принадлежит его «Университетским воспоминаниям» и воспоминаниям о службе в Симбирске под заглавием «На родине», которые были написаны в 70-х годах, но появились в 1887—1888 году. Художественную литерутуру после «Обрыва» Гончаров оставил и только в конце жизни напечатал несколько эскизов, под заглавием «Слуги старого века».

Гончаров не может быть отнесен к числу объективных писателей в том смысле, будто он писал без предвзятой идеи, будто он служил чистому искусству. Он был писателем-общественником. И как ни старается он занять срединное положение в борьбе между чистым и тенденциозным искусством, как ни склонен он в острые моменты борьбы стать на сторону первого, в действительности он тенденциозен, если под тенденциозным писателем разуметь не проповедника и агитатора, а писателя, который смотрит на развертывающиеся перед ним события под определенным углом зрения, сознательно освещает их под этим углом, задается определенной целью. Вот почему, приступая к анализу его романов, следует вспомнить его собственные слова: «Я упомянул выше, что вижу не три романа, а один. Все они

связаны одною общею нитью, одною последовательною идеею—перехода от одной эпохи русской жизни, которую я переживал, к другой—и отражением их явлений в моих изображениях, портретах, сценах, мелких явлениях и т. д.». Редкий писатель так хорошо объяснил себя сам, как Гончаров. Писатели, по его собственному мнению, плохие критики своих произведений. Но если это верно, то Гончаров был блестящим исключением.

Что представляет собой «Обыкновенная история»? Это—воплощение того общественного перелома, который совершался на глазах Гончарова. Это—прежде всего столкновение деревни и города, конфликт между идеологией, выросшей в полудеревенской обстановке, и новой, прозаической идеологией, развивавшейся на почве отношений большого города. Вовторых, это—столкновение между реализмом и романтизмом, между умом и сердцем, делом и бездельем. Далее, это победа города над деревней, торжество буржуазной идеологии над деревенской. И наконец это—не полное торжество и не окончательная победа: племянник, правда, разбит на-голову и идет по стопам дяди, но дядя не имеет вида торжествующего победителя—грустное сомнение в своей правоте проникает в его душу, и последний его шаг свидетельствует о том, что не вся правда на его стороне. В. Ф. Переверзев подверг тонкому анализу описание того места, где вырос молодой Адуев, и пришел к заключению, что «уютный уголок Грачи—не деревенское поместье, а нечто другое, во многом напоминающее поместье, но далеко с ним не тождественное... это большая городская усадьба зажиточной мещанской или купеческой семьи, обслуживаемая крепостной прислугой, но не поместье дворянского типа». Точно все сшито белыми нитками, точно не художественное произведение, а исследование о соотношении отдельных групп в момент известного социального перелома. Да и сам Гончаров не скрывает своего замысла и, словно критик марксистского направления, устанавливает те социальные ячейки, которые он нашел в современном обществе и решил обрисовать в своем романе. Он указывает, что дядя—покровитель нового начала, сознания необходимости труда. «Он достиг значительного положения в службе, он директор, тайный советник, и, кроме того, он сделался и заводчиком.

Тогда—от 20-х до 40-х годов—это была смелая новизна, чуть не унижение (я не говорю о заводчиках-барах, у которых заводы и фабрики входили в число родовых имений, были оброчные статьи и которыми они сами не занимались). Тайные советники мало решались на это. Чин не позволял, а звание купца не было лестно».

Фабула романа несложна. Из провинциальной уютной обстановки Александр Адуев попадает в Петербург, где сталкивается с своим дядей Петром Адуевым, дельцом и видным чиновником. Дядя издевается над сантиментальными чувствами племянника, привезенными из деревни, беспощадно разбивает его романтические иллюзии и помогает ему выйти в люди и пойти по своим стопам. Эта ломка не обходится для молодого человека без потрясений. Он переживает два романа. В первый раз его бросает любимая девушка, во второй—он сам покидает свою возлюбленную, он доходит до полного отчаяния, но в конце концов находит выход в том, что идет по стопам дяди. И роман заканчивается в тот момент, когда он женится на богатой девушке и счастливо начинает свою служебную карьеру, отрекшись от юношеских иллюзий.

Адуевы почти не нуждаются в истолковании. Они так стараются сами себя объяснить, и автор так охотно помогает им в этом, что нет надобности в их поступках искать объяснения их характеров. Их миросозерцание ясно определяется их отношением к морали, к любви, к дружбе, к фантазии и долгу, и это отношение выясняется не в действиях их, а в определениях, которые они дают всем этим понятиям. Петр Иванович Адуев двадцати лет был отправлен в Петербург старшим своим братом. Гончаров опускает, быть может, наиболее интересный период, втечение которого юноша превратился в крупного и богатого бюрократа. Главная сторона его ума заключается в том, что этот ум не ищет смысла жизни, не задумывается над конечными целями бытия. Он довольствуется ближайшими задачами. Жизнь для него—процесс, начало и конец которого скрыты от нас. Искать их—это пустая трата времени. Мы участвуем только в движении ближайшего момента и должны делать дело, за которым очутились по воле судьбы, не пытаясь дознаться, какое отношение существует между этим делом

и общим смыслом бытия. И никто лучше его самого не определил в нем этой черты. «Он не ангел и не демон. Он думает и чувствует поземному, полагает, что, если мы живем на земле, так и не надо улетать с нее на небо, где нас теперь пока не спрашивают, а заниматься человеческими делами, к которым мы призваны. Оттого он вникает во все земные дела, и между прочим, в жизнь как она есть, а не как бы нам ее хотелось». Вот новый взгляд, который просвещенная буржуазия противопоставила романтизму 40-х годов. Там все—всякий душевный порыв, всякий шаг относили к целому, там эти частные явления рассматривались как земное отражение абсолютной идеи. Адуев не относит частного к общему и мировому. Он ценит его и уважает как факт, уважает уже за одно то, что оно существует. Отсюда вытекала и его практическая житейская философия. Это—философия приспособления к явлениям действительности. Борьба против этих явлений во имя отвлеченных идеалов и сверхчувственных стремлений представляется ему нелепостью. Участие в «деле» без критики, приспособление к нему без рассуждений есть лучшее разрешение вопроса о нашем и общественном счастии: общество нуждается в нас, поэтому, занимаясь, мы одновременно служим обществу, но не забываем и себя: «дело доставляет деньги, а деньги—комфорт», который Петр Иванович очень любит. Так же просты и материальны его взгляды на любовь, брак и дружбу. Страсть, пламенные восторги—это действие электричества, влюбленные—все равно, что две лейденские банки: обе заряжены. Эта любовь ему представляется дикой, животной любовью. «Разумная любовь должна помнить, в противном случае это не любовь». Вообще, он рекомендует племяннику смотреть на любовь как на развлечение и отнюдь не смешивать ее с браком. Любовь упала не с неба. Как и все на земле, она не есть отражение чего-то надземного, а «создана вместе с людьми и для людей». Жениться на той, в кого влюблен,—глупо. Супружество супружеством, а любовь любовью. Жениться нужно не по расчету, а с расчетом. Только этот расчет должен состоять не в одних деньгах. Спрашивается, для чего же тогда вообще нужен брак? И на этот вопрос он дает тот же материалистический ответ: нужно все, что удовлетворяет ту или

другую существующую потребность. Если потребность имеется налицо, то первый вопрос должен заключаться в том, как ее удовлетворить, а не в том, хороша ли она или дурна, гармонирует ли она или стоит в противоречии с высшими целями бытия. «Мужчина,—говорит он,—так создан, чтобы жить в обществе женщины»—вот и все, никакие оценки более сложного и высокого характера ему недоступны. Вот почему и расчет в браке должен заключаться в том, чтобы эта потребность «жить в обществе женщины» была обеспечена наилучшим образом. «Любовь,—говорит он племяннику,—пройдет, и тогда женщина, которая казалась тебе идеалом совершенства, может быть, покажется очень несовершенною, а делать будет нечего. Любовь заслонит от тебя недостаток качеств, нужных для жены. Тогда как, выбирая, ты хладнокровно рассудишь, имеет ли такая-то или такая-то женщина качества, какие хочешь видеть в жене! Вот в чем главный расчет. И если отыщешь такую женщину, она непременно должна нравиться тебе постоянно, потому что отвечает твоим желаниям». Так возникнут «близкие отношения», которые потом образуют привычку. Результатом же «привычки и частых сношений» является дружба. В разлуке и любовь и дружба исчезают. Вечной любви и дружбы не существует. Этим же материалистическим миросозерцанием определяется и взгляд Адуева-дяди на славу, поэзию, фантазию и т. д. Все это его интересует постольку, поскольку оно обеспечивает возможно полное удовлетворение потребностей. Он не любит всех этих романтических понятий, поскольку они мешают серьезному делу. Он очень доволен, что прежнее отношение к поэту как к чему-то высшему сменилось деловым отношением. Теперь есть известность, а славы что-то не слыхать или она придумала другой способ проявляться: кто лучше пишет, тому больше денег; кто хуже—не прогневайся. «Зато нынче порядочный писатель и живет порядочно, не мерзнет и не умирает с голоду на чердаке, хоть за ним и не бегают по улицам и не указывают на него пальцами, как на шута; поняли, что поэт не небожитель, а человек: так же глядит, ходит, думает и делает глупости, как другие». Правда, у старшего Адуева есть свои правила. Он заранее предупреждает племянника, чтобы тот не просил у него де-

нег, но в случае крайней необходимости готов ему помочь. При первом известии о приезде Александра он просто решил отделаться от него, но затем, приняв в соображение все обстоятельства дела, он рассчитал, что, пожалуй, придется отвечать перед своей совестью, и берет племянника под свое покровительство. Он джентльмен по отношению к своей жене и готов многим пожертвовать для ее удобства, спокойствия и счастья. Он посвоему любит племянника. Он знает наизусть не одного Пушкина. Он читает на двух языках все, что выходит замечательного по всем отраслям человеческих знаний, любит искусства, имеет прекрасную коллекцию картин фламандской школы, часто бывает в театре и т. д. Но все эти кажущиеся отступления в сторону бескорыстного чувства и эстетики не нарушают стройности его материалистического и делового мировоззрения. Основа этого мировоззрения—потребности его и людей его круга. Они существуют, и этого достаточно; они факт, не подлежащий критике; все его действия направлены к удовлетворению их; все его идеи есть и обоснование и оправдание путей, ведущих к их удовлетворению.

На противоположной точке зрения стоит младший Адуев. Он близок к психологии, возникшей в усадебной обстановке. Но он живет в эпоху сотрясения этого быта. Он мечется и ищет выхода не меньше Рудина и Лаврецкого. Он живет в эпоху, когда началось бегство бар из деревни. Жизнь с пеленок улыбалась ему: мать его баловала и лелеяла; нянька пела ему, что он будет ходить в золоте; профессора твердили, что он пойдет далеко, а по возвращении его домой ему улыбнулась дочь соседки. О горе, слезах, бедствиях он знал только по слуху, как знают о какой-нибудь заразе, которая не обнаружилась, но где-то глухо таится в народе. Но прошли времена, когда барчуки росли в деревне в безмятежном покое, ели, пили, толстели и женились. «Погляди-ка,—говорила ему мать,—какой красотой одел бог наши поля». Она перечисляет ему все блага этого уголка. И тем не менее, он хочет «бежать от этой благодати». Это уже не просто «лишний человек»—в нем живут инстинкты карьеризма, в нем есть энергия, жажда творчества и расширения сферы своей деятельности. Он видел где-то вдали обольстительные призраки. Правда, он не мог разглядеть их, но его тянуло вон

из деревни. Ему скоро тесен стал домашний мир. Природу, ласки матери, благоговение няньки и всей дворни, мягкую постель, вкусные яства и мурлыканье Васьки—все эти блага он весело менял на неизвестное, полное увлекательной и таинственной прелести. Даже любовь, любовь Софьи, первая, нежная и розовая любовь, не удерживала его. Что ему эта любовь? Он мечтал о колоссальной страсти, которая не знает никаких преград и совершает громкие подвиги. Он любил Софью пока маленькой любовью, в ожидании большой. Мечтал он и о пользе, которую принесет отечеству. Он прилежно и многому учился. В аттестате его сказано было, что он знает с дюжину наук да с полдюжины древних и новых языков. Всего же более он мечтал о славе писателя. Стихи его удивляли товарищей. Перед ним расстилалось множество путей, и один казался лучше другого.

Эти сведения, сообщаемые автором, чрезвычайно любопытны. Настроение Адуева сходится в одном пункте с настроениями Рудиных, Бельтовых и тысяч других: хотелось дела, большого и захватывающего, и для этого дела не было больше места в деревне. Но между ними большое расстояние. Адуев нашел выход не в бесцельной смерти, как Рудин, и не в преждевременной духовной смерти, как Лаврецкий, а в слиянии с восходящей силой и с ее миропониманием.

В своей статье В. Ф. Переверзев так определяет это различие: «Основная пружина его душевной жизни—жажда выдвинуться на передний план, сделать «карьеру и фортуну». Никаких нравственных терзаний, никаких гражданских порывов. Если он и страдает, то вовсе не оттого, что не находит целесообразности в своей жизни и разумной, полезной работы, а только оттого, что неумело берется за дело, что не успел еще приспособить свои силы к поставленной цели—карьере и фортуне. Этим и объясняется и глубокая разница в судьбе людей онегинского типа и в судьбе Адуева. Первые так и гибнут, не отыскавши выхода, а последние прекрасно приспособляются и достигают наконец вожделенного идеала—и карьеры и фортуны. Белинскому казалось, что Гончаров допустил ошибку, обративши своего романтика на путь практицизма. Нужно признать, что ошибся не художник, а критик, поторопившийся сблизить на основании поверхностного сход-

ства гончаровского героя с Ленским и совершенно не понявши духовной сути Адуева. Вскормленный иной социальной средой, Адуев прошел другой путь развития, чем лишние люди; его характер сложился иначе, под воздействием иных факторов, чем характер лишних людей». Капитализм сделал ненужным существование класса душевладельцев—дворян, но не подрывал основ буржуазного класса, не делал его лишним в социальном обиходе. Он не только не отрицал устоев трезво-деловитой и раздольной жизни дореформенной буржуазии—он еще открывал перед ней перспективы более пышного расцвета, больше полноты, разнообразия и значительности жизни. «Пред очарованным взором Адуевых капитализм развернул картину блестящей будущности, им предстояло занять господствующее положение в обществе,—положение хозяев и строителей новой жизни, новой буржуазно-капиталистической культуры». Прежде чем перейти к этому новому мировоззрению, Адуев-младший долго боролся с дядей. Его взгляды были отрицанием всех воззрений этого последнего. Для дяди жизнь есть просто жизнь, разделяющаяся «поровну» на добро и зло, на удовольствие, удачу, здоровье, покой, потом на неудовольствие, неудачу, беспокойство, болезни и прочее. Для племянника основной вопрос заключается в выяснении конечной цели бытия. Он не может помириться с мыслью, что начало и конец процесса жизни скрыты от нас. Ему нужно знать, «зачем мы созданы», «к чему стремимся», тогда как дядя считает эти вопросы праздными, помехой настоящему делу. Для Адуева-младшего все видимые явления—отражение высшей цели. Вот почему он верит, в противоположность дядюшке, что поэт именно небожитель, а не просто человек, что «он заклеймен особенной печатью: в нем таится присутствие высшей силы», что искусство не ремесло, а путь, приближающий человека к небу. В его глазах любовь и дружба—«священные чувства, упавшие как будто не нарочно с неба в земную грязь» и т. д.

«Обыкновенная история»—не только столкновение идеалистического миропонимания, родившегося под сенью усадебной праздности, с материалистическими позитивными взглядами, которые должна была выдвинуть выступавшая на сцену буржуазия. Это, как мы указали,—картина раннего столкновения города и деревни, почти символическая кар-

тина процесса поглощения деревни городом. Это—первый тревожный крик при виде торжествующей городской культуры, при виде бездушных каменных громад, пришедших на смену деревенскому приволью. Карлейль, Диккенс и другие поэты Запада видели в торжестве города как бы воплощение механических форм жизни. Город—это живой образ нивелирующей силы промышленного строя жизни, уничтожающего разнообразие и пеструю сложность нашего существования. Гончаров едва ли не первый в русской литературе изобразил большой город с этой стороны. Он мастерски передает первые впечатления Александра в столице. На него наводили тоску эти «однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошною массою тянутся одна за другою». Вот кончается улица, сейчас будет приволье глазам—думал он—или горка, или зелень, или развалившийся забор,—нет, опять начинается та же каменная ограда одинаких домов с четырьмя рядами окон. И эта улица кончилась, ее преграждает опять то же, а там—новый порядок таких же домов. Заглянешь направо, налево—всюду обступили вас, как рать исполинов, дома, дома и дома, камень и камень, все одно да одно... нет простора и выхода взгляду: заперты со всех сторон,—кажется, и мысли, и чувства людские тоже заперты...

Автор объективен и субъективен одновременно. Его объективность сказалась в спокойствии и добросовестности, с которыми он изобразил начало одного из любопытнейших моментов в истории русской общественности. Его субъективность проглядывает сквозь беспристрастие бытописателя: он сумел примириться с мещанством, с которым не могли примириться Тургенев и Герцен. Он охотно идет на выучку к этому буржуазному мировоззрению. Он приветствует адуевщину, как настоящую жизнь, и если он не дошел до того, чтобы прямо преклониться перед идеалами Адуева-дяди, то, несомненно, они представляются ему чем-то высшим по сравнению с мечтами и идеалами племянника. Правда, Гончаров тесно связан с усадебной Россией, ему нелегко расстаться с ее вековыми представлениями. Он чувствует, что было какое-то «но» в учении старшего Адуева. В конце романа он заставляет его сказать: «Полно жить этой деревянной жизнью!», заставляет его

выйти в отставку и продать завод, приносящий сорок тысяч чистого барыша. Когда племянчик приходит к нему с известием о богатой партии и карьере, какая-то грустная нотка звучит в поздравлениях дяди: «Я сказал бы тебе: продолжай во всем итти по моим следам, только...» Это «только», на котором обрывается речь старшего Адуева, тоже своего рода символ. Это—зловещее предчувствие, тревожное опасение, что не все гармонично и ясно в той мещанской философии, которую приносили в дар русскому обществу владельцы огромных заводов, разрушая старый крепостнический уклад жизни. Но что значили эти беспокойные ноты среди ликования людей инициативы и капитала! Дядино «только» не могло нарушить шумных приветствий, которыми все кругом встречало новую карьеру будущего обладателя чинов и заводов. Да еще тетя Лизавета Александровна с грустью промолвила, обращаясь к новому любимцу счастья: «Там вы поняли, растолковали себе жизнь; там вы были прекрасны, умны, благородны... Зачем не остались такими?» Не помирится и Ольга в «Обломове» с мещанской правдой Штольца. И долго еще русская женщина будет врываться с своей возвышенной тоской в мир торжествующего мещанства и прерывать его ликования своими «зачем».

«Обломов» — величайшее из произведений Гончарова. В сущности, общественная коллизия, нарисованная в нем, представляет собою более глубокую и яркую картину того же процесса, который воплощен в «Обыкновенной истории» и к которому Гончаров снова вернется в своем «Обрыве». Нетрудно видеть, что Обломов во многом напоминает Адуева-младшего, Штольц—Адуева-дядю, что столкновение Обломова и Штольца есть новая вариация на тему столкновения обоих Адуевых. Нетрудно также видеть, что автор во многом остался прежним в своем отношении к обоим типам: вырождающимся отпрыскам праздных поколений и новым, бодрым представителям капитала, идущим им на смену. Но есть и глубокое различие между обоими романами. Роману выпало на долю стать завершающим воплощением первого типа. Длинная вереница образов, изображавшая процесс зарождения и развития типа «лишнего человека», закончилась Обломовым. Потускнел романтический ореол, окружавший этот образ. Не только Онегины, Бельтовы, Рудины,

Лаврецкие, но еще младший Адуев казался привлекательным героем, и в его спорах с дядей часто симпатия автора на его стороне, и его наивная мечта кажется чем-то более значительным, чем материальная правда дяди. И развязка романа как будто говорит, что вместе с крушением старого быта и его воззрений общество утрачивает и нечто важное, нужное. Обломов лишен этого последнего налета очарования. Общественная ничтожность его выставлена во всей своей смешной наготе. Если в конце романа чувствуется, что автор как будто и не вполне верит в совершенство Штольцев и их правды, то зато скорби о смерти обломовщины уже нет. Если в делечестве и не кроется полное спасение, то в Обломовых нет никакого спасения. В этом более суровом отношении автора к Обломову и заключается первое важное отличие нового романа от «Обыкновенной истории». Делец, чиновник, дитя симбирского торгового мира, Гончаров сказался здесь вполне. Рудин—это «лишний человек» перед мягким судом своего же брата-дворянина. Обломов—«лишний человек» перед беспощадным судом промышленника. Недаром Рудину противопоставлен только Лежнев, а Обломову—уже Штольц.

Есть и другое важное различие между Обломовым и его предшественниками. В нем впервые ярко устанавливается реальная и общественная точка зрения на происхождение обломовщины, на причины великого зла. Противопоставив праздному барству деловую буржуазию, Гончаров подошел к социальному конфликту с точки зрения буржуазной идеологии. «Триста Захаров»—вот основная причина, породившая обломовщину. Рудины и Лаврецкие оплакивали свою ненужность, они искали причины своих страданий в недостатках своей личности или сваливали вину на окружавшую их среду. Никому из них не пришло в голову, что вся суть—в том праве на праздность, которое обеспечивалось существованием дарового крестьянского труда. Да и автор не догадался просто и ясно указать на этот единственный реальный источник зла. Вместе с своими героями он погружался в их душу, трогательными и нежными красками рисовал их любовные страдания. Он сам был близок к ним, и если он осуждал их, то осуждал так, как бранят самого себя и своих друзей за свои недостатки. Гончаров, пред-

ставитель новой идеологии, внес ее и в самую трактовку вопроса. Связь между их ненужностью и даровым содержанием является центральным моментом романа. Разрушительное действие начинающейся промышленности на этот старый мир выступает ярко. Рудин и Лежнев—это вера в то, что спасение одряхлевшему миру может притти от «своих» же. Обломов и Штольц—это смертный приговор одряхлевшему миру, признание, что он не заключает в себе больше никаких элементов, обеспечивающих жизнеспособность, что только из другого мира может притти обновление.

Именно в этом суровом реальном взгляде на Обломова и заключается огромное общественное значение романа. Обломов обрисован почти теми же чертами, какими обрисованы другие «лишние люди», но эти черты, вносившие известное очарование в те образы, не делают привлекательной фигуру Обломова. Подобно Онегину, Рудину и Бельтову, Обломов головой выше окружающих и даже Штольца по своим духовным запросам. Прежде чем сделать характеристику Обломова, остановимся на минуту на существующих взглядах. Как известно, в своей знаменитой статье («Что такое обломовщина?») Добролюбов почти отождествляет Обломова с предшествующими типами «лишних людей» не только 40-х, но даже 20-х годов. Онегин, Печорин, Рудин, Бельтов—все это обломовцы. Все они умнее и гуманнее окружающих и все не могут взяться за дело, все они любят рисоваться, во всех заложены богатые способности, которые не претворяются в дело. Все они читают и любят книги не больше, не меньше Обломова, и бездельничает Обломов ничуть не больше, не меньше других. В своей «Истории русской интеллигенции» проф. Овсянико-Куликовский вносит поправку в точку зрения Добролюбова. Признавая в общем мнение Добролюбова верным, Овсянико-Куликовский находит, что между Обломовым и его предшественниками существует глубокое различие. Главные особенности, отличающие их друг от друга, сводятся к следующему. Они (т. е. предшественники Обломова) стремились выразить так или иначе то, что наполняло их душу; они жаждали обмена мыслей и старались распространять свои идеи; они жили кружками, где было много шуму, споров, восторгов, излияний. Иметь аудиторию, влиять на умы, волновать сердца силою мысли

и речи было для них насущной душевной потребностью. Они были «ораторы» и «пропагандисты». В этом и состояла их «деятельность». Обломов же отличается, по мнению автора, от лучших людей 40-х годов тем, что не только не может и не умеет, но и не хочет «действовать». Не говоря уже о какой бы то ни было практической деятельности, ему тягостна даже и та, которая сводится к простому обнаружению его мыслей и чувства. На всем протяжении романа он только два или три раза оживился, принялся излагать свои «взгляды», «убеждения», «идеалы»: в споре с литератором Пенкиным и в разговорах со Штольцем. Далее Овсянико-Куликовский приводит из романа указания на то, что серьезное чтение утомляло Обломова, что мыслителям не удалось расшевелить в нем жажду к умозрительным истинам, что голова его представляла сложный архив мертвых дел, лиц, эпох, цифр, религий, ничем не связанных политико-экономических, математических и других истин, задач, положений и т. д. Отсюда вывод, что «косность мысли, апатия ума» составляет «резкое» отличие Обломова от «настоящих» людей 40-х годов. Они составляли цвет интеллигенции, Обломов—не только не «цвет», но его, строго говоря, даже трудно причислить к настоящей интеллигенции.

Все эти различия, указываемые Овсянико-Куликовским, только кажущиеся. Или, пожалуй, различия действительные, но только количественного, а не качественного характера. Обломов воплощает тот же тип, что и Рудин, только в несколько более поздней стадии его развития. Обломов также «оратор» и «пропагандист». Он тоже умел горячо говорить о своих «убеждениях», относить частные явления к общему, умел даже читать и читать с интересом и серьезно. Если он и забросил чтение, то ведь и Онегин поступил так же:

Как женщин, он оставил книги
И полку с пыльной их семьей
Задернул траурной тафтой.

Овсянико-Куликовский, утверждая, что Обломов не стремился к выработке цельного философского мировоззрения и неспособен чувствовать необходимости в объединяющей идее, сам же указывает на то, что Обломов, изменив службе, «начал иначе решать задачу своего существования, вдумы-

вался в свое назначение». И ему были знакомы «наслаждения высоких помыслов» и «аннибаловы клятвы». «И для него настал счастливый, никому не изменяющий, всем улыбающийся момент жизни расцветания сил, надежд на бытие, желание блага, доблести, деятельности, эпоха сильного биения сердца, пульса, трепета, восторженных речей и сладких слез. Ум и сердце просветлели: он стряхнул дремоту, душа запросила деятельности». Чем не Рудин и вообще человек 40-х годов? И Обломов и Штольц «волновались, плакали, давали друг другу торжественные обещания итти разумною, светлою дорогою». Чем не «аннибалова клятва»? Различия не было по существу. Было только новое отношение со стороны автора. Один и тот же тип предстал перед новым судьей. Потому и приговор вышел более суровым. Обломов изображен во всех типичных чертах «лишнего человека», но автор не любуется на его безделье, не верит его мечтам, не окрашивает поэтическим светом его внутренние муки. И то, что прежде изображалось в виде возвышенных стремлений и порывов, объявляется теперь просто праздностью и тунеядством. Добролюбов прав, утверждая, что, в сущности, все они «равно несостоятельны перед силою враждебных обстоятельств, все равно погружаются в ничтожество, когда им предстоит настоящая, серьезная деятельность». Те представлены сильными натурами, задавленными средой, а Обломов—байбаком, который и при самых лучших обстоятельствах ничего не сделает. Если различие в чем-нибудь и есть, так только в одном: то, что считалось силой, перестали считать за таковую.

Столь же неверным представляется нам и другое утверждение Овсянико-Куликовского, будто «самое резкое отличие Обломова от идеалистов 40-х годов—это то, что он крепостник». Если иметь в виду Рудина, Лаврецкого и прочих, то едва ли мы отыщем большое различие между их отношением к крепостному праву и отношением к таковому Обломова. Правда, Рудин и Лаврецкий, вероятно, не решились бы громко повторить речь Обломова о различии между ним и «другими»—речь, которой он отвечает Захару на его неосторожное упоминание о «других». Правда, ни в «Рудине», ни в «Дворянском гнезде» мы не встретим упоминания «о новых мерах построже против лени и бродяжничества кре-

стьян». Пожалуй, ни Рудин ни Лаврецкий не произнесли бы и той фразы, с которой Обломов обратился к Штольцу в ответ на его предложение направить детей так, чтобы они сами добывали себе средства к жизни: «Нет, что из дворян делать мастеровых!» Но значит ли это, что Обломов был крепостником в большей степени, чем Лаврецкий или Рудин? Мы не знаем, как вел себя Лаврецкий, когда решил заняться хозяйством. Мы знаем одно, что ему не удалось бы прожить без дарового крестьянского труда, на котором строилось и благополучие Обломова. Мы можем думать, что ему не пришлось обойтись без «мер построже против лени». Мы уверены, что и он не сумел бы сделать из своих детей мастеровых или, иначе говоря, воспитать из них людей труда и инициативы. Ниоткуда не видно, что они были «барами» в меньшей степени, чем Обломов. Если они и были бедными, как Рудин, это не меняет дела, поскольку речь идет об их психике: Рудин все равно не может жить своим трудом, и если не крестьянами, то он должен жить подаянием, чем угодно, только не своим делом. Не заключается ли опять различие между Обломовым и его предшественниками только в отношении к ним их творцов? Там, где Тургенев набрасывает романтический покров, там Гончаров смотрит на вещи просто, взглядом дельца и горожанина. Те стороны явления, о которых бессознательно умалчивает гуманный барин, эти стороны выдвигает на первый план идеолог буржуазии. Явление осталось тем же, но отношение к нему изменилось. Если крепостником является тот, чье существование немыслимо вне крепостнического уклада, то и Онегин, и Рудин, и Обломов—одинаково крепостники. Если же крепостником является тот, кто сознательно отстаивает крепостной порядок, тогда ни Онегин, ни Рудин, ни Обломов не были крепостниками. Сам Овсянико-Куликовский признает, что Обломов «отнюдь не может быть причислен к тем, которые хотели и пытались отстаивать крепостное право».

Роман Гончарова действительно имел огромное общественное культурно-историческое значение. Но значение это заключалось не в открытии нового явления, а в освещении старого с новой точки зрения. Праздный, мечтающий, ненужный для жизни барин-дворянин, освещаемый раньше

мягким светом,—светом, зажжённым дружеской и сочувствующей рукой,—этот барин предстал перед новым, более суровым и враждебным судьей. Отсюда действительно два глубоких отличительных признака, отделяющих роман Гончарова от прежних романов: вопервых, мечтательность и безделье впервые заклеймены писателем, вовторых, крепостной труд как главный источник обломовщины выдвинут на первый план.

Таково общественное значение этого типа. Что же он представлял собой? Обломов, дворянин родом,— говорит о нем автор,—коллежский секретарь чином, безвыездно живет двенадцатый год в Петербурге. Сначала, при жизни родителей, жил потеснее, помещался в двух комнатах, довольствовался только вывезенным из деревни слугой Захаром; но по смерти отца и матери он стал единственным обладателем трехсот пятидесяти душ, доставшихся ему в наследство. Вместо пяти он получал теперь от семи до десяти тысяч рублей ассигнациями дохода; тогда и жизнь его приняла другие, более широкие размеры. Он нанял квартиру побольше, прибавил к своему штату еще повара и завел было пару лошадей.

Таково общественное положение Обломова. Гончаров ясно понял, в чем заключается сущность этого положения, именно—в доходе 7—10 тысяч рублей. Воспитание Обломова подготовляло его именно к тому, чтобы жить байбаком на эти деньги, получавшиеся с 350 рабов. Он рос в «благословенном уголке земли», в «чудном краю», где солнце «ярко и жарко светит около полугода и потом удаляется оттуда не вдруг, точно нехотя». Няня ждала его пробуждения, мать осыпала его с утра страстными поцелуями. Целый штат родственников и приживалов окружал его ласками и похвалами. Забота о пище была первой и главной заботой в Обломовке, где телята и птица достигали небывалой тучности, где были нескончаемые запасы варений, солений и печений. Учился ребенок в селе Верхлеве, в пяти верстах от Обломовки, у тамошнего управляющего, немца Штольца, который завел небольшой пансион для детей окрестных дворян. Но это ученье было в действительности только пародией на ученье. Каждый праздник мальчика брали домой. Но как часто в понедельник, когда надо было отправлять-

ся к немцу, мать находила, что у Илюши «глаза не свежие» и заявляла: «Посиди эту недельку дома». Или оказывалось, что среди недели праздник, не стоило отвозить мальчика на два-три дня, и неделя снова пропадала. Когда мальчик стал подрастать, няню сменил камердинер Захар, который также ждал его пробуждения у постели, натягивал ему, четырнадцатилетнему мальчику, чулки, надевал башмаки, и в награду за это Илюша поддает ему ногой в нос, чуть что покажется ему не так. Захочет ли чего Илья Ильич, ему стоит только мигнуть,—уж трое-четверо слуг кидаются исполнять его желание. Иногда ему, резвому мальчику, хочется броситься и проделать все самому, но «отец и мать да три тетки в пять голосов закричат: «Зачем? Куда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что? Эй, Васька! Ванька! Захарка! Что вы смотрите, разини? Вот я вас!..» Так в живом и наблюдательном мальчике убивалась энергия и мысль, и он постепенно нашел, что так покойнее, и сам стал кричать: «Ванька! Васька! подай то, дай другое!» Обойтись без ненавистного ученья было нельзя, и Обломов учился, как и другие, т. е. до пятнадцати лет, в пансионе; потом старики Обломовы, после долгой борьбы решились послать Илюшу в Москву, где он волей-неволей проследил курс науки до конца. Но ученье так и осталось для него «наказанием, ниспосланным небом за наши грехи».

Нетрудно понять, какой характер должен был получиться как результат общественного положения и воспитания Обломова. Он был благодушным и добрым человеком. Светлое, нежное и ленивое детство поселило в нем отвращение к кипучей городской жизни, к труду и деятельности и благодаря этому открыло широкий простор мечтательности и фантазии. Он, несомненно, выше светского франта Волкова, перебегающего из салона в салон, болтающего там банальные вещи. Он не может удовлетвориться этой пустой жизнью и радуется, что «нет у него таких пустых желаний и мыслей, что он не мыкается, а лежит вон тут, сохраняя свое человеческое достоинство». Несомненно, он выше и типичного чиновника Судьбинского, который не знает других интересов, кроме повышений, наград, прибавок или изменения формы обращения в официальных бумагах. И Обломов провожает его восклицаниями: «А как мало тут человека

нужно!» Но и Судьбинскому он противопоставил только безделье и свой диван. «Он испытывал чувство мирной радости, что он с девяти до трех, с восьми до девяти может пробыть у себя на диване, и гордился, что не надо итти с докладом, писать бумаг, что есть простор его чувствам, воображению». Он возвышается до высокого пафоса в разговоре с желчным литератором Пенкиным, когда требует, чтобы литература давала человека даже в падшем существе. Он протестует против мысли, что негодного человека нужно извергнуть из общества: «Это значит забыть, что в этом негодном сосуде присутствовало высшее начало; что он испорченный человек, но все же человек, т. е. вы сами. Извергнуть! А как вы извергнете из круга человечества, из лона природы, из милосердия божия?»

В этих беседах со своими знакомыми Обломов является в выгодном свете. Он, несомненно, выше целой головой тех, которые составляют петербургское общество. Природный ум и известная высота духовных запросов не позволяют ему мириться на тех бессодержательных формах жизни, которые он видит кругом себя. Это превосходство над окружающими—его первая черта, роднящая его с Онегиным, Рудиным и другими предшественниками. Но эта черта уж не идеализируется. Бесплодность его ума и его запросов бичуется с беспощадной жестокостью. Этого ума достаточно, чтобы критически отнестись к мелким интересам окружающих. Но его недостаточно, чтобы противопоставить им интересы и деятельность, достойные уважения. Отсутствие воли—вторая черта Обломова—приводит к тому, что вместо дела он довольствуется мечтами. Гончаров ярко выявляет, на какой почве возникли эта мечтательность и эта неспособность к делу, приводившие к лени и полному вырождению духовных и материальных сил дворянства. И здесь перед нами столкновение города и деревни. Воспитанный в недрах провинции, среди кротких и теплых нравов и обычаев родины, переходя втечение двадцати лет из объятий в объятия родных, друзей и знакомых, он дотого был проникнут семейным началом, что и будущая служба ему представлялась в виде какого-то семейного занятия, вроде, например, ленивого записывания в тетрадку прихода и расхода, как делал его отец. Неудивительно, что, столкнувшись с суро-

выми требованиями бюрократической дисциплины, он не вынес этого столкновения своей мечты с действительностью и предпочел оставаться в сфере мечты. Недаром он предпочитал поэтов философам и ученым. Они легче уживались с его ленью, не требовали напряжения и усилия воли, не мешали сну и обеду. Он проникался иногда стремлением исправить человечество; мысли вырастали в намерения, загоралась кровь, двигались мускулы, напрягались жилы, но все разрешалось тем, что «он, движимый нравственной силой, в одну минуту быстро изменит две-три позы, с блистающими глазами привстанет до половины на постели, протянет руку и вдохновенно озирается кругом». Казалось, вот стремление осуществится, обратится в подвиг, даст чудеса и благие последствия. Но промелькнуло утро, клонится к вечеру, а с ним клонятся к покою и утомленные силы Обломова: бури и волнения смиряются в душе, голова отрезвляется от дум, кровь медленнее пробирается по жилам. Обломов тихо, задумчиво переворачивается на спину и, устремив печальный взгляд в окно, к небу, с грустью провожает глазами солнце, великолепно садящееся за чей-то четырехэтажный дом. То возомнит он себя непобедимым полководцем, организующим новые крестовые походы. То он представляется себе великим мыслителем или художником, кумиром толпы, пожинающим лавры.

Эта богатая внутренняя жизнь при полном отсутствии внешней деятельности—как знакома она нам по Герцену, Тургеневу, Толстому и т. д.! Только свет и тени стали иными. Мечты доведены до абсурда. Они, еще недавно казавшиеся красивыми, стали почти комическими, а дело, еще недавно неясное, прояснилось, люди дела выступили с определенными требованиями, с ясной программой. Те же образы, но в новом освещении, старое преступление, но перед новым судом. Комические формы приобрела мечтательность «лишнего человека», в комические же формы облеклись его лень и безделье. Рудины и Бельтовы, по крайней мере, двигались, умели хоть бороться с мелочами жизни. Обломов неспособен и на это. Переехать на новую квартиру для него непосильная задача, вырастающая в грандиозное по своей сложности дело. Написать письмо управляющему он не в силах, потому что для этого нужны чернила, бумага; пер-

вые высохли, второй нет, а завести все это, понукать Захара, установить порядок,—на это у Обломова никогда не хватает сил.

Если не было сил для мелочей, то могли ли найтись они для большого дела, для поддержания того, что составляло самую основу благополучия Обломова,—для поддержания и возрождения его имения. Староста обворовывал его, сокращая его доходы и ссылаясь на неурожаи, на побеги крестьян и т. д. Когда пред Обломовым вырисовывалось более или менее конкретное дело, в котором он действительно мог бы применить свои силы, то оно всегда рисовалось ему в виде сельского хозяйства. И здесь ярко сказываются тесные узы, связующие его с деревней. Ему чужды дела Штольца. Служба и промышленные предприятия не могут захватить его. Но если он живет какой-нибудь более или менее реальной мечтой, то это—«планом», с которым он носится и которого, конечно, никогда не осуществит. Это план устройства имения и крестьян. Правда, и Лаврецкий решил «устроить» своих крестьян и даже, по словам Тургенева, насколько мог, улучшил их положение. Но Гончаров не так доверчив. Тургенев ограничился голым сообщением об этом и не показал, как произошло это улучшение. Гончаров просто посмеялся над этой затеей и показал, как «план» улучшения так и остался планом.

Лень Обломова, его праздность и непригодность к делу—не просто пороки. Это—свойства, возведенные им в принцип. И в Рудине и в Лаврецком в конце концов эти пороки существовали. Но те не признавались в них, те не сознавали, что это—привилегия, с которой они сжились и с которой они не могут расстаться. Они еще не чувствуют, что ход истории вырывает из-под их ног почву, отнимает у них право на праздность, требует вступления в ряды борющихся за существование. Обломов инстинктивно чувствует, что эта привилегия—его единственная надежда, что с ее исчезновением умрет и он и люди его склада. Вот почему он откровеннее. Он—не крепостник, в противоположность Рудину и Бельтову, как думает Овсянико-Куликовский. Он—крепостник вместе с ними в том смысле, что и он, и они, и подобные им типы немыслимы вне крепостного права. Обломов воплощает ту стадию в развитии этого

типа, когда положение его стало более трагическим, когда уничтожение доходов с Обломовки стало для него равносильно смерти. Вот почему Обломов открыто цепляется за этот ускользающий источник жизни. Вот почему он не стесняется открыто защищать то, что неясно говорило в душе Рудиных. Вот почему Обломов, обыкновенно спокойный и корректный, вышел из себя, когда Захар осмелился сопоставить его с «другими». Бессознательно Захар этим сопоставлением выразил смысл времени, затронул больной вопрос, напомнил о начинающемся крушении привилегий того класса, вырождающимся отпрыском которого был Обломов. В яростной отповеди Обломова заключался отчаянный вопль перед надвигающейся грозой, болезненное стремление спасти то, чего уже нельзя было спасти, удержать свое право на праздность, на даровой труд рабов. Обломов выражал прочно укоренившееся миросозерцание ряда поколений, когда бросал Захару в лицо эти реплики: «Я «другой»! Да разве я мечусь, разве работаю? Мало ем, что ли? Худощав или жалок на вид? Разве недостает мне чего-нибудь? Кажется, подать, сделать—есть кому! Я ни разу не натянул себе чулок на ноги как живу, слава богу! Стану ли я беспокоиться? Из чего мне? И кому я это говорю? Не ты ли с детства ходил за мною? Ты все это знаешь, видел, что я воспитан нежно, что я ни холода, ни голода никогда не терпел, нужды не знал, хлеба себе не зарабатывал и вообще черным делом не занимался». Чуял Обломов, что этот «другой» и есть тот, кто уничтожит его, что «другой» давно бы сделал все его дела, и «страшно» становилось ему в ясные, сознательные минуты его жизни, и грызла его зависть к полной и широкой жизни «других». Он болезненно чувствовал, что в нем «зарыто, как в могиле, какое-то хорошее светлое начало... как золото в недрах горы». Такие же погубленные «силы необъятные» чувствовали в себе и Печорин и все «лишние люди». И если чем выделяется среди них Обломов, то только тем, что социальный кризис, жертвой которого они были, в романе Гончарова выступает во всем своем трагизме, потому что он впервые изображен новым человеком. Впервые вопрос так открыто поставлен на социальную почву и так определенно протянуты нити, связующие тип Обломова с экономической жизнью его времени.

Обломов—задерживающая, косная сила. Он—не дурной человек, даже добрый и просвещенный, но он инстинктивный враг прогресса. С ужасом слушает он сообщение Штольца о том, что в соседнем Верхлеве предполагают устроить пристань, проведут шоссе, и Обломовка будет недалеко от большой дороги, причем в городе учреждают ярмарку. Ему не под силу извлечь те выгоды, которые можно было бы извлечь из Обломовки ввиду возникающей рядом оживленной торговой жизни. Он боится разврата, который внесет в крестьянскую среду соседство города. Бороться с вредным влиянием его посредством грамотности он не умеет и он убежден, что «грамотность вредна мужику». Словом, в лице Обломова мечтательный и возвышенный усадебный идеализм высказался до конца. Когда он стал лицом к лицу с действительностью, когда пришлось спуститься с облаков и занять определенную общественную позицию, эта мечтательность невольно сближалась с силами, стоявшими не на стороне прогресса. Только эти силы охраняли порядок, обеспечивающий существование Обломовых.

И в своем романе, в своей любви к Ольге Обломов проявил те же качества своей души. Ольга—один из прелестнейших образов, созданных русской поэзией. В ту эпоху эта поэзия страстно искала идеального героя—героя, в котором гармонически слились бы лучшие завоевания прошлого и прекрасные черты будущего, возвышенный идеализм просвещенного барства и могучая энергия новых, деловых людей. Возможно ли было такое соединение? В жизни не было этих героев. Но русская девушка требовала их. Она восторженно шла за благородной мечтой, но она не довольствовалась одной мечтой и требовала дела. Она восторгалась людьми дела, но ей было мало только дела. Она требовала благородной мечты, которая придавала бы этому делу высший смысл. Наташа полюбила Рудина, увлекшего ее своей восторженностью, но он стал незначительным для нее, когда она убедилась, что за этой восторженностью не скрыто реальное дело. Ольга—тот же тип. Она любила лучшее в Обломове и лучшее в Штольце, но оба были недостаточны для нее. Ее не удовлетворяли ни возвышенные стремления без дела, ни дело без возвышенных стремлений.

Ее лучшая черта—правдивость и естественная просто-

та. Ни жеманства, никакой лжи, никакой мишуры, никакого кокетства,—говорит о ней автор. Подобно Татьяне, она не стыдится своего чувства, смотрит на него серьезно и не считает нужным скрывать его или прибегать к обычной в подобных случаях игре. Она—женщина прежде всего. У нее любить—это значит найти смысл жизни. До того как полюбила, она—наивная девочка. Полюбив, она в один день приобрела все те знания и все то богатство души, которых мужчина достигает втечение двадцати пяти лет «при помощи двадцати пяти профессоров, библиотек, после шатанья по свету, иногда даже с помощью некоторой утраты нравственного аромата души, свежести мысли и волос», т. е. она вступила в сферу сознания. Жизнь ее сразу наполнилась, она жила в новой сфере. Она делала то же, что прежде, но делала все иначе. Она попрежнему ездила во французский спектакль, но содержание пьесы получало теперь какую-то связь с ее жизнью, читала книгу, «и в книге непременно были строки с искрами ее ума, кое-где мелькал огонь ее чувств, записаны были сказанные вчера слова, как будто автор подслушал, как теперь бьется у нее сердце». В лесу те же деревья, но в шуме их явился особый смысл, между ними и ею водворилось живое согласие. Любовь дала смысл и содержание ее жизни. Такая любовь не допускает игры. Ольга почти первая признается Обломову в тот момент, когда он еще колеблется, когда он еще переходит от страстных признаний к страху перед своим чувством. Если она и позволяла себе прибегать к кокетству, выступала «как всякая женщина в роли мучительницы», то делала это «менее других и бессознательно», но «больше и чаще всего она толкала его вперед, дальше, зная, что он сам не сделает ни шагу и останется неподвижным там, где она оставит его».

Но, отдавая беззаветно свою жизнь любимому человеку, Ольга требует взамен многого от него. Для нее любить—это прежде всего требовать. Как ницшеанская идеальная женщина, она готова быть «отдохновением воина», но только действительно воина. Как ибсеновская героиня, она—вся для избранника, но для избранника с великими боевыми задачами. Она полюбила Обломова за богатые возможности, скрытые в нем. Она ошиблась, уверовав, что эти возможности претворятся в великое дело. Но любить для нее значит требовать

этого претворения, служить ему. В ее голове развивался подробный план, как она отучит Обломова спать после обеда, не позволит ему даже прилечь на диване, «прикажет» ему читать книги и газеты, докончить план устройства имения. Она укажет ему цель, заставит его опять полюбить все, что он разлюбил, и Штольц не узнает его. И все это чудо сделает она, такая робкая, молчаливая, которой до сих пор еще никто не слушался, которая еще не начала жить. Он будет жить, действовать, благословлять жизнь и ее. «Возвратить человека к жизни—сколько славы доктору, когда он спасет безнадежно больного! А спасти нравственно погибающий ум, душу?.. Она даже вздрагивала от гордого, радостного трепета; считала это уроком, назначенным свыше». И Ольга инстинктивно действовала в этом направлении. Ее влияние резко изменило Обломова. Она стала его грозным судьей. Он не смел в ее присутствии считать свое существование ненужным, потому что она слушала подобные заявления «молча, с строгим взглядом», и «в сдвинутых бровях ее таилась суровость», а «в линии губ, как змей, ползала—не то недоверчивость, не то пренебрежение». Признаваясь ему в любви, она заявляет, что она—не вся жизнь для него, а только половина, что он должен искать другую, для того, чтобы не потерять первую. Ее любовь утратит тот, кто на этой любви сосредоточит весь интерес своей жизни. Она колола его легкими сарказмами за праздно убитые годы, изрекала суровый приговор, затем, по мере сближения с ним, от сарказмов над вялым и дряблым существованием Обломова она перешла к деспотическому проявлению воли, отважно напомнила ему цель жизни и обязанностей и строго требовала движения, беспрестанно вызывала наружу его ум, то запутывая его в тонкий жизненный, знакомый ей вопрос, то сама шла к нему с вопросом о чем-нибудь неясном, недоступном ей. И он бился, ломал голову, изворачивался, чтобы помочь ей развязать какой-нибудь узел, не то так героически рассечь его. «Для меня любовь,—говорит она,—все равно, что... жизнь, а жизнь—долг, обязанность, следовательно, любовь—тоже долг».

И на эту любовь, полную глубокого смысла и содержания, Обломов ответил совершенно в обломовском духе. Даже в разгар его страсти, даже в первые дни чувство его столкнулось с его ленью. Ему хотелось испытывать только «тепло-

ту любви, но не испытывать ее тревог». Он почувствовал, что, «куда ни уйди», жизнь «трогает, так и жжет». Его тяготило, что в его жизнь «вдруг втеснилось» так много «движения, занятий». И он решил, что «любовь—претрудная школа жизни». Словом, как Онегин, Печорин и Рудин, он чувствовал инстинктивный страх перед обязанностями, налагаемыми любовью. Далее его чувство вскоре было отравлено еще более: привычка к размышлению и анализу, неспособность к непосредственным переживаниям и чувствам привели к тому, что сомнения разрушили его любовь. Он пересмотрел свою жизнь и решил, что он не может в своем теперешнем виде представлять интерес для Ольги, что она не может любить его, что ее любовь—только предчувствие любви, и что настоящее чувство рано или поздно проснется. В этой кажущейся скромности и добросовестности было много грубого мужского эгоизма и той же лени. Это был страх перед возможностью риска, эгоистическое желание обеспечить себе безмятежное, ленивое существование в будущем,—существование, свободное от тревог и возможных потрясений. Его письмо к Ольге исполнено той фальши, которая была скрыта во всем существовании Обломова. Это—попытка оправдать свою эгоистическую лень теми же альтруистическими и важными соображениями, которыми он оправдывал ее и перед собою, и перед Захаром, и перед всеми окружающими. Он хочет доказать Ольге, что отрекается от нее не в своих, а в ее интересах, что жертвует своей любовью ради ее счастья и покоя. В качестве более опытного человека он знает, что она заблуждается и принимает за любовь ненастоящее чувство. В действительности Обломов проделал то, что проделывали все «лишние люди». Он не умел любить беззаветно, не умел и не хотел жертвовать ничем. Он рисовался и ждал тех слез, которыми и ответила Ольга на его письмо. Ее любовь была для него игрой, которая заменяла ему настоящее чувство, подобно тому как его «план» заменял ему действительное дело. Неспособный ни к чему, живой труп, Обломов инстинктивно искал утешения в воображаемой жизни. Ольге ничего не стоило разбить жалкие софизмы Обломова: «Вы боитесь упасть «на дно бездны», вас пугает будущая обида, что я разлюблю вас!.. «Мне будет худо», пишите вы... Да ведь мне тогда будет хорошо, если я полюблю другого, значит,

я буду счастлива! А вы говорите, что «предвидите мое счастье впереди и готовы пожертвовать для меня всем, даже жизнью?» Так просто и ясно объяснила ему Ольга, что оберегал он только свой покой, а не ее счастье, что эгоизм, а не жертва, лежал в основе его отречения. Она не побоялась отдать ему всю жизнь, она не задавалась вопросом о том, не вернется ли он современем снова к своему халату и не разлюбит ли ее. Она не боялась ошибки и не страшилась возможных в будущем слез: «Ложитесь опять на спину—не ошибетесь, не упадете в бездну». В истории обломовской любви, быть может, самое интересное—это изумительная последовательность обломовской натуры. В своем романе Обломов вел себя точь-в-точь так же, как во всем. Он не хотел тревоги и риска, и «лежанье на спине», как и всегда, показалось ему и в данном случае самым испытанным и верным средством спасения. Только после отповеди Ольги сознание на минуту осенило его, и он понял, что его любовь—это частный случай его общего отношения к жизни. «Ведь это не одна любовь, ведь вся жизнь такова... и если отталкивать всякий случай, как ошибку, когда же будет не ошибка?»

Обломову в качестве положительного образа противопоставлен Штольц. Этот образ завершает собою бесконечную вереницу типов, в которых сказалось стремление к идеализации просвещенного предпринимательства. Гончаров резко выделяет черты, которыми Штольц отличается от Обломова. Воспитание Ильи было систематическим уничтожением в нем воли, инициативы и способности к действию. Напротив того, воспитание Андрея было построено на развитии этих качеств. Сын управляющего, Андрей с детства был предоставлен себе. Отец-немец не боялся, когда сын его возвращался домой с разбитым носом или в изорванном платье после драки с мальчишками. Ребенком он уже ездил с отцом к купцам и на фабрики, смотрел, как добывают поташ, деготь. Четырнадцати лет он уже один отправлялся в город с поручениями отца. Дав ему университетское образование, отец решил, что дома ему делать больше нечего, и отправил его в Петербург, снабдив 350—400 рублей и сообщив, что больше он от него ни копейки не получит. Штольц действительно к тридцати годам нажил дом и деньги и участвовал в какой-то компании, отправлявшей товары за границу. Если Обломов во многом

напоминает Адуева-младшего до его превращения, то Штольц близок к дяде. Обломов живет воображением и неспособен к делу. Штольц живет почти одним делом и неспособен к мечте. Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь. Как в организме нет у него ничего лишнего, так и в нравственных отправлениях своей жизни он искал равновесия практических сторон с тонкими потребностями духа. Две стороны шли параллельно, перекрещиваясь и перевиваясь на пути, но никогда не запутываясь в тяжелые, неразрешимые узлы. «Мечте, загадочному, таинственному,—говорит о нем дальше автор,—не было места в его душе. То, что не подвергалось анализу опыта, практической истины, было в глазах его оптический обман, то или другое отражение лучей и красок на сетке органа зрения, или же, наконец, факт, до которого еще не дошла очередь опыта... Он упрямо останавливался у порога тайны, не обнаруживая ни веры ребенка, ни сомнения фата, а ожидал появления закона, а с ним и ключа к ней». Словом, он—воплощение позитивного, почти чисто материалистического понимания в противоположность идеализму и мечтательности 40-х годов.

Уже не раз указывалось на то, что Штольц не яркий художественный образ. Его воззрения и характер выясняются из описаний автора, а не в его собственных действиях. Мы на-слово должны верить Гончарову, что Штольц был энергичен и предприимчив, что он сумел устроить дела Обломова, нажил состояние, применял к жизни свои трезвые, просвещенные взгляды, умел любить и ценить искусство и т. д. Штольц не показан, а рассказан Гончаровым. Он не размышляет о назначении человека, о конечной цели борьбы и труда, выпавших ему на долю. Он довольствуется, как и Адуев-дядя, выполнением той роли, в которой застал себя. Справедливым обличениям Обломова, не мирящегося с бессодержательным и бесцельным движением столичной жизни, он не противопоставляет никаких возражений, никаких идеалов. На вопрос Обломова—«для чего мучиться весь век?»—он отвечает: «Для самого труда, больше ни для чего. Труд—образ, содержание, стихия и цель жизни, по крайней мере моей».

Где же истина? За кем будущее? За Обломовым или за Штольцем? Самый вопрос этот может показаться странным.

Можно ли сомневаться в том, что Гончаров раз навсегда похоронил обломовщину? И тем не менее, в конце романа все еще звучат грустные нотки, и кажется, будто умирающая обломовщина уносит с собою что-то ценное и дорогое, и будто не всю истину знают Штольцы. Ольга вышла замуж за Штольца. В их жизнь, полную содержания и смысла, иногда врываются какие-то тревожные думы, и именно в эти минуты воскресает образ Обломова. Всякий раз, когда автору хочется крикнуть, что и в философии Штольцев—не вся истина, что в мещанской, деловой жизни без возвышенной мечты нет полного удовлетворения, он оглядывается на бесповоротно осужденного им Обломова. На высоте своего благополучия Ольга говорит про Обломова: «...есть что-то, что я люблю в нем, чему я, кажется, останусь верна...» Гончарову точно жаль своего резкого приговора над Обломовым, и в уста Штольца он неожиданно влагает страстный дифирамб Обломову, так плохо согласующийся с общим настроением автора: «Это хрустальная, прозрачная душа; таких людей мало; они редки, это перлы в толпе! Его сердце не подкупить ничем; на него всюду и везде можно положиться... Много людей я знал с высокими качествами, но никогда не встречал сердца чище, светлее и проще; многих любил я, но никого так прочно и горячо, как Обломова. Узнав раз, его разлюбить нельзя». Да и в счастьи, которое обрела Ольга с Штольцем, было что-то недоконченное. Помирится ли она на этом счастьи? «Мне грустно... бывает иногда... Вдруг как будто найдет на меня что-нибудь, какая-то хандра... мне жизнь покажется... как будто не все в ней есть... все тянет меня куда-то еще; я делаюсь ничем не довольна». Тоска по мечте, по той мечте, которая как никак жила в обстановке обломовцев, но которой не могло быть места среди Штольцев. «Мы,—отвечал ей Штольц,—не титаны с тобой, мы не пойдем с Манфредами и Фаустами на дерзкую борьбу с мятежными вопросами, не примем их вызова, склоним головы и смиренно переживем трудную минуту, и опять потом улыбнется жизнь, счастье и...»

В «Обломове» та же ситуация, те же коллизии и те же тезисы, что и в «Обыкновенной истории». Тот же привет просвещенной буржуазии, тот же упрек праздному и мечтательному барству, то же стремление к синтезу лучших сторон

того и другого,—к синтезу возвышенной мечты и деловитой энергии. Если есть что нового в старой ситуации, то только известное грустное предчувствие невозможности этого синтеза. В первом романе Гончаров превратил Адуева-младшего в Адуева-старшего. Теперь уж он знает наверное, что Обломову никогда не стать Штольцем. Там, в «Обыкновенной истории», он с легким сердцем наделил дядю некоторыми чертами, которые ему нравились в старом барстве. Штольц вышел более определенным. Гончаров словно чувствует, что ему не перенять того, что погибало вместе с старым укладом, не быть носителем полной истины. И там и здесь женщина становится судьей столкнувшихся миропониманий. Неудовлетворенность Ольги—это та же неудовлетворенность Адуевой. И грустная дума Ольги об Обломове—та же печаль Адуевой о прежнем, мечтательном, сантиментальном племяннике.

Основной вопрос, занимавший Гончарова, так и остался нерешенным. «Сколько Штольцев должно явиться под русскими именами!» Вполне ли был уверен Гончаров, когда писал эту фразу, в том, что Штольцы—настоящие люди, что в них спасение России. Он приветствовал их, он противопоставлял их умирающей обломовщине как новую, истинную силу. Но было что-то, что по временам как будто нарушало его веру в спасительное влияние капитализма. В это время уже начинали заявлять о себе новые силы, которые одинаково были враждебны и усадебному барству и капиталистической буржуазии. И когда эти разрушительные силы выступили на сцену, Гончаров отнесся к ним враждебно. Он даже готов повернуть назад и ухватиться за усадебное барство как истинный устой честной и нормальной жизни, готов идеализировать то, в чем видел одну безнадежную обломовщину. Именно в этом новом настроении рассматривает Гончаров прежние вопросы в своем третьем романе—«Обрыв». Гончаров сам (в статье «Лучше поздно, чем никогда») заявляет, что все три романа, «особенно «Обломов» и «Обрыв», тесно и последовательно связаны между собою, как связаны отразившиеся в них, как в капле воды, периоды русской жизни».

Что такое Райский? Никто лучше самого Гончарова не ответил на этот вопрос: «Да все тот же Обломов, то есть прямой, ближайший его сын, герой эпохи пробуждения». Это—Об-

ломов, пожелавший проснуться, Обломов, которого коснулись новые веянья. «Он умом и совестью,—говорит Гончаров,— принял новые животворные семена, но остатки еще не вымершей обломовщины мешают ему обратить усвоенные понятия в дело». И опять лучше всего сам же автор определил общественные условия, породившие Райского. Это—все то же вековое зло—крепостное право. «Бабушке он уступает, потому что и сам хотя и воюет против изнеженности барства старого быта, но охотно спит на мягкой постели, хорошо ест и даже, как прямой сын Обломова, дает ворча снимать с себя Егору сапоги (Обломов требовал, чтобы Захар натягивал на него чулки). Сам он живет под игом еще не отмененного крепостного права и сложившихся при нем нравов и оттого воюет только на словах, а не на деле: советует бабушке отпустить мужиков на все четыре стороны и предоставить им делать, что они хотят, а сам в дело не вмешивается, хотя имение— его». Если Райский—преемник Обломова, то одно можно сказать, что Гончаров относится к нему уже не с тем беспощадным осуждением, как к его предшественнику. В «Обрыве» есть и свой Штольц. Это—Тушин. Гончаров считает его «намеком на настоящее новое поколение, на лучшее его большинство». Но удивительно, что тип Штольца не только не вырос и не развился в новом романе, но как бы отодвинулся на второй план. Сам автор считает Тушина «фигурой бледной и неясной». И во всяком случае, он не решается уже выставлять этот тип в качестве единственного спасителя России, а тем более противопоставлять его старому барству как нечто живое чему-то мертвому. Напротив, бабушка и ее царство выставлены в виде разумной жизненной организации. Они не только не противоположны Тушину, но, напротив, говорят на одном языке, часто действуют заодно и взаимно уважают воззрения друг друга. Нет больше той пропасти, которая отделяла Обломова от Штольца. Старое барство и просвещенный предприниматель сблизились между собою, причем уступка сделана скорее в сторону первого, чем второго. Зато снисходительный ко всем Гончаров обрушивается на нового врага—обрушивается с редкой для его объективного таланта страстностью. Фигура Марка Волохова—почти единственный образ, который Гончаров нарисовал так открыте тенденциозно. Какая же общественная группа рисовалась

воображению Гончарова, когда он набрасывал портрет Марка Волохова? Можно, конечно, видеть в нем обличение крайностей русского раннего социализма и радикализма вообще. Но когда читаешь толкование этого образа, предложенное самим автором, то невольно приходишь к заключению, что речь идет не о крайностях; в русском радикализме Гончаров вообще едва ли усмотрел что-нибудь кроме того, что пытался обличить в фигуре Волохова. Обличитель барского безделья, апологет просвещенной буржуазии, Гончаров не видел и не хотел ничего положительного видеть в начинающемся социалистическом движении. Если в «Обломове» он противопоставил обломовщину и Штольца друг другу, то в «Обрыве» отделяющая их пропасть быстро заполнилась перед лицом нового врага. Марк Волохов—для него воплощение «новой лжи». Все нелегальное, все не мирившееся с медленным ходом реформы,—все это рисуется Гончарову в лице Марка Волохова. Ничего, кроме грубости и цинизма он не нашел там ни одного положительного образа, который можно было бы противопоставить крайности нигилизма. Быть может, ни в чем буржуазный склад души Гончарова не сказался так ярко, как именно в этом отношении к радикальным течениям русской общественной жизни. Лучше вернуться к обломовским традициям (воплощенным теперь в лице более привлекательной, чем Обломов, «бабушки»), чем итти за Волоховыми. Если буржуазии предстоит выбор между реакцией (потому что обломовщина, хотя бы и в виде бабушки, все-таки реакция) и радикализмом (потому что Волохов, даже в тенденциозном изображении Гончарова, все-таки радикал), то она, либеральная и постепеновская, предпочтет реакцию слишком быстрой ломке. Что Волохов был для Гончарова воплощением всех радикальных стремлений русского общества, видно из его собственных слов: «Волохов не социалист, не доктринер, не демократ. Он радикал и кандидат в демагоги: он с почвы праздной теории безусловного отрицания готов перейти к действию и перешел бы, если бы у нас была возможна широкая пропаганда коммунизма, то-есть интернациональная подземная работа и т. п.». В примечании к этим строкам автор добавляет: «К несчастью, это оказалось возможным в известной степени и у нас, как это подтвердилось с тех пор, т. е. с 1875 года, когда были писаны эти строки».

И страницей ниже добавляет: «Сколько было слухов о каких-то фаланстериях, куда уходили гнездиться разные Веры». Словом, и коммунизм, и народовольчество, и фурьеризм—радикальные течения, родившиеся до и после Волохова,—все это в глазах Гончарова только демагогия, все это вылилось в один отталкивающий образ Волохова, и даже через много лет, разбираясь в этой фигуре, Гончаров не изменил своего мнения об этих течениях и остался при убеждении, что Волоховым исчерпано все, что можно было сказать о них. Таковы общественные предпосылки последнего романа Гончарова.

Центральная фигура романа—Райский. Это—натура артистическая и впечатлительная. Если он—сын Обломова, тот же лишний и праздный человек, не пригодный ни к службе, ни к сельскому хозяйству, ни к промышленным и торговым предприятиям, то его, по крайней мере, коснулось и даже глубоко задело то новое, что поднималось отовсюду в русской жизни. Первое дуновение начинающихся реформ, идейное брожение и эстетические интересы—все это не чуждо Райскому. Жажда дела, стремление определить свое место в жизни, внести в нее нечего, стремление установить общее мировоззрение и на основании его вывести для себя и других необходимое дело, наконец вмешательство в жизнь—вмешательство, правда, скорее случайное, чем систематическое,—все это выгодно отличает Райского от Обломова. Роднит их общая черта: и тот и другой неспособны довести до конца ни одного дела. Обломов останавливается в самом начале. Он не напишет своего «плана», потому что не отыщет пера. Райский, наверное, отыскал бы перо, написал бы план и даже приехал бы с ним в деревню, но здесь скоро соскучился бы и бросил бы дело на средине. Результат получился бы одинаковый. Во всяком случае, в Райском больше активности. Ища дела, он обращается к искусству. И это не ново. Младший Адуев мечтал быть великим поэтом. Даже Обломову были свойственны мечты о литературной славе. Искусство было, пожалуй, единственным выходом и единственным утешением для бар, непривычных к труду, не желавших опуститься до обломовщины. Оно казалось делом таланта, а не труда, единственной благородной сферой деятельности, в которой можно обойтись без черной работы, делом, которое не связано с заработком. «Искусство,—го-

ворит Гончаров,—было все еще роскошью, забавой для богатых, горькою нуждою для бедных; литература, за исключением крупных талантов, была делом подозрительным. За писателями признавалось их значение, когда они достигали видного положения в обществе путем службы». Для профессиональных служителей искусства и литературы их деятельность была средством заработка. А кому не было нужды, те дилетантствовали. Даже такой неподдельный огромный талант, как Тютчев, с барской небрежностью написал несколько десятков стихотворений и очень мало заботился об их судьбе.

Райский принадлежит к числу этих дилетантов, обеспеченных, чутких и впечатлительных, но неглубоких, неусидчивых и неупорных. Его хватает на то, чтобы протестовать против рутины, традиций, правил. Но его слишком мало, чтобы противопоставить старому новую систему воззрений. И он совершенно пасует, когда самому на деле приходится выйти из сферы традиций и рутины. Познакомившись с Беловодовой, молодой женщиной из богатой аристократической семьи, Райский с страстным увлечением отдается первому «делу»—борьбе с «правилами», в которых выросла и живет Беловодова. Эта спокойная, красивая и умная женщина, прекрасно воспитанная и тактичная, выводит его из себя. Его возмущает, что она не слыхала о том, что «есть на свете страсти, тревоги, дикая игра событий и чувств, доводящие до проклятий, стирающие это сияние с лица». Он кричит ей в пламенных монологах о том, что «мир идет к счастью, к успеху, к совершенству», а она коснеет в правилах тетушек, бабушек, дедушек—«всех этих полинялых господ в робронах, манжетах». Умная Беловодова без труда разоблачает внутреннюю фальшь проповеди Райского: она просит указать его, «что делать» вместо того, что она делает; она спрашивает его, почему он сам вечно скучает и бездельничает, раз он достиг того развития, которого добивается для нее. Райский с пафосом рассказывает ей об измученных деревенских бабах, о голодных крестьянских детях и т. д.; впрочем, тут же признается, что и он ничего не сделал, не может и не умеет делать для своих мужиков, что он несилен в социализме и коммунизме, в «политической и всякой экономии», что в общем он хотел только «разбудить» ее, а научить «что делать» он не умеет.

Дилетантизм—не единственная черта Райского. Он любознателен. Не обладая достаточными силами для активного дела, он любит изучать жизнь и попадающихся ему людей. В самой борьбе его с Беловодовой им больше всего руководило любопытство. Ему до боли хотелось узнать, почему она не скучает и не томится жизнью, как он, если она действительно «выше мира и страстей». В школе его глаза перебегали от одного школьника к другому, он старался проникнуть в душу каждого и рисовал в своем воображении его внутренний мир. Его любовь почти всегда возбуждается и движется любопытством. Он чуть не увлекся Марфинькой, но она была слишком не сложная натура, он скоро понял ее всю и перешел к Вере—натуре более сложной и загадочной. Потому и чувство его к Вере оказалось более сильным и мучительным. Он не знал ее «тайны». И в страстном желании угадать эту тайну находило себе пищу его чувство. В бессонные ночи, в минуты безумных любовных страданий он острее всего чувствовал муки неудовлетворенного любопытства и метался в бесплодном усилии объяснить тот или иной непонятный поступок Веры.

Райский—художник прежде всего. Искусства давались ему лучше наук. Он обладал богатой фантазией. Поэты вызывали в его воображении фантастические миры. Он дополнял прочитанное созданиями собственного воображения. Прочитав «Освобожденный Иерусалим», он грезил о далеких странах, о необыкновенных людях в латах, о каменистых пустынях Палестины, блиставших своей сухой, страшной красотой. Действительная жизнь мало увлекала его в свой поток и своей веселой стороной и суровой деятельностью. Позовет ли его опекун посмотреть, как молотят рожь или как валяют сукно на фабрике, как белят полотна,—он увертывался и забирался на бельведер смотреть оттуда в лес или в чаще глядел, как возятся насекомые, куда порхнула птичка, или жадно слушал рассказ полуумного старика про «Пугача», про жестокие казни и муки. И это богатое воображение, наблюдательность, несомненный талант художника погибли благодаря тому же дилетантизму, той же чеспособности к усидчивому труду. Его первый опыт вызвал замечание учителя, быть может, лучше всего определившего его будущую судьбу: «А, хорошо, брат, только

видишь, что значит вперед забегать: лоб и нос—хоть куда, а ухо вон где посадил, да и волосы точно мочала вышли». Так и остался Райский на всю жизнь бесплодным талантом: задумает хорошо, выполнит часть замысла вдохновенно, но волосы мочалой выйдут или ухо не на месте сядет—и погибла картина. Так потерпели фиаско все его порывы отдаться разным видам искусства, которыми он поочередно увлекался. Первый шаг свидетельствовал о таланте. Но как только он принимался за изучение техники, неделя-другая усидчивого труда вызывали утомление и даже поселяли отвращение к делу. В этих бесплодных попытках Райского Гончаров как бы дорисовал намеченную себе картину столкновения между двумя мирами: старым—мечтательным, барским и новым—суровым, промышленным. Вместе с конфликтом деревни и города, праздности и труда, возник конфликт таланта и выучки, непосредственности и мастерства, вдохновения и техники. Последняя стала настолько сложна, что относительное значение ее и таланта сильно изменилось в пользу первой. Гончаров, ранний и чуткий изобразитель духовного перелома, совершавшегося с начинающимся торжеством буржуазии, не мог не отметить и этого важного явления. Развитие техники и промышленности должно было отразиться на судьбах искусства. Наука вторглась в искусство; знание, умение становятся чуть ли не более важными факторами художественного произведения, чем талант. Картина бесплодных усилий Райского не производит ли впечатления намеренного славословия выучке, технике и дисциплине перед непосредственным вдохновением и недисциплинированным дарованием?

Образ Райского соткан из самых разнообразных нитей. Это—образ сложный, изменчивый, почти неуловимый. Противоположные чувства и настроения владеют его душой. Отзывчивость к новым, гуманным и даже демократическим идеям уживается рядом с полным равнодушием к тем безобразиям, которые творятся в деревне. Насмешки над наивными представлениями бабушки, над всем патриархальным усадебным укладом чередуются с порывами глубокого преклонения перед бабушкой и ее верованиями, чуть ли не с готовностью уверовать в спасительность старого порядка. Он может проявить даже гражданское мужество, нанести

публичное оскорбление всесильному Нилу Андреевичу или скомпрометировать себя сношениями с Марком Волоховым. Но и скандал с Тычковым и Марк Волохов занимают его как художника. Это—эпизодические фигуры для романа, который он пишет. Никакого политического или общественного значения своим выступлениям он не придает и скоро забывает о них. «Под руку попался, как Опенкин!»—говорил он, вспоминая столкновение с Тычковым, дописывая последнюю строку и не предвидя ему более роли между своими героями. Райский любит своего старого друга Козлова, бедняка-учителя, идеалиста. Он приходит в негодование, когда случайно узнает о том, как изменяет Козлову его жена с французом Шарлем. Он является к ней, чтобы уберечь честь своего друга и объяснить ей низость ее поступка, и под влиянием ее ласк сам обманывает своего друга, совершает сам поступок, за который час тому назад готов был метать громы на других. Райский, по существу, кончил тем же, чем кончали все «лишние люди»,—скитанием по миру, исканием новых впечатлений. Пушкин был правдивее всех. Он так и расстался с Онегиным перед новыми скитаниями. Тургенев хотел найти какой-нибудь конец для Рудина и придумал ему случайную смерть на баррикаде среди его странствований. От Лаврецкого он отделался глухим заявлением, что тот занялся сельским хозяйством. Гончаров кончает историю Райского так: «Райский, живо принимая впечатления, меняя одно на другое, бросаясь от искусства к природе, к новым людям, новым встречам, чувствовал, что три самые дорогие воспоминания—бабушка, Вера, Марфинька—сопутствуют ему всюду... И везде, среди этой горячей артистической жизни, он не изменял своей семье, своей группе, не врастал в чужую почву, все чувствовал себя гостем и пришельцем там. Часто в часы досуга от работ и отрезвления от новых сильных впечатлений, раздражительных красок юга—его тянуло назад домой. Ему хотелось бы набраться этой вечной красоты природы и искусства, пропитаться насквозь духом окаменелых преданий и унести все с собою туда, в свою Малиновку... За ним все стояли и горячо звали к себе его три фигуры: его Вера, его Марфинька, его бабушка. А за ними стояла и сильнее их влекла его к себе еще другая исполинская фигура, другая великая «бабушка»—Россия». Райский не

умрет раньше своей физической смерти, как случилось с Лаврецким и Обломовым. Его спасает его впечатлительность. Он заглушает грозный вопрос «что делать» при помощи быстрой смены впечатлений,—благо опекун прислал ему «большой куш» за заложенное имение и этим надолго обеспечил возможность такой смены. Но блуждание по европейским картинным галлереям не есть решение вопроса. И хотя сильнее всех влекла его к себе «великая «бабушка»—Россия», но лучше не возвращаться Райскому к ней, потому что здесь ясной станет «ненужность» его для этой бабушки; лучше оставаться ему среди художественных сокровищ Запада: по крайней мере, они дают забвение и разгоняют неотвязчивые думы.

Гончаров располагает фигуры с удивительным тактом, так что в общем они являются дополнением к главному герою и все вместе образуют меткий снимок социального момента. Райский—мечущийся герой, перебегающий от одного мира к другому. Бабушка—воплощение старого мира в его лучших основах. Бабушка строго делила человечество на «людей» и господ, и этого различия ничто не могло истребить. Она требовала уважения к старости и безусловной покорности ей. Даже когда видела правду в поступках и действиях «молодого», она не считала возможным признаться в этом, чтобы он не зазнался. Она была в меру строга, в меру снисходительна, человеколюбива; но все в размерах барских понятий. Словом, это была властная женщина, но отпрыск той эпохи, когда помещичья «власть» гармонировала с потребностями среды, являлась единственной формой, в которую мог отлиться общественный уклад деревни, формой общежития, определявшей общее благополучие и порядок. В эпоху перелома и разброда Гончаров как бы хочет ухватиться за эту старую гармонию, в которую вторглись новые потребности и представления и беспощадно разрушили ее. Горизонт бабушки кончался с одной стороны—полями, с другой—Волгой и ее горами, с третьей—городом, а с четвертой—дорогой в мир, до которого ей нет дела. Бабушка умна и самостоятельна. Она горячо защищает свой порядок преданиями, пословицами, но она умеет опираться на свою природную логику, когда противоречия жизни требуют новых решений. Жизнь ее покоилась на

простых и прочных основах. В семье она—деспот, но ее «деспотизм» построен на почве нежнейшей любви и неустанного попечения о счастьи любимых ею сирот. Нового века и новых идей она не признает, но никто не умел с таким тактом и терпимостью давать простор этим новым идеям в своем доме, так уважать чужие чувства и мысли. Внучки обожают ее. Марфинька ни шагу не сделает без нее, и обе они—и покорная Марфинька и гордая, своевольная Вера - не будут счастливы, если бабушка не благословит их. Но она не навязывала им своей воли. «Кто навязывал: спроси ее,—говорит она Райскому о Марфиньке.—Если б они у меня были запуганные или забитые, какие-нибудь несчастные, а ты видишь, что они живут у меня, как птички, делают, что хотят».

Марфинька—воплощение душевной гармонии, которая складывалась в эпоху, когда еще ничто не колебало усадебного быта. Это—создание патриархального уклада, не знающее сомнений и разъедающего анализа. Дитя традиции, она не стремится никуда вперед и полной грудью вдыхает радости деревенской жизни. Ее желания вращаются в кругу ее быта: она любит, чтобы святая неделя была сухая, любит святки, сильный мороз, чтобы сани скрипели и за нос щипало. Любит катанье и танцы, толпу, праздники, приезд гостей и выезды с визитами до страсти. Любит, чтобы много вишен уродилось, и арбузы были большие, и яблок народилось бы столько, как ни у кого в садах. Для нее не существует «проклятых», да и вообще никаких «вопросов». Их все решает за нее бабушка. А ответ на вопросы о назначении человека, о цели и смысле жизни, о добре и зле она находит в проповедях отца Василия, у которого все ясно и определенно. Если есть у нее горе, так только одно: не удается ей дойти вполне до идеалов, провозглашаемых отцом Василием, не удается дойти до того, чтобы никогда не сердиться, любить всех больше себя, отдать все бедным и т. д. Но она находит утешение в том, что старается приблизиться к этим идеалам, выпрашивает у бабушки корову или лошадь для крестьянина, сама возит лекаря к больной бабе, раздает пряники и орехи крестьянским детям. Ее роман с Викентьевым—безбурный роман, светлая идиллия, точно выхваченная из безыскусственных эпических сказаний. Марфинька выйдет замуж, она будет прекрасной хозяйкой.

воспитает детей в «правилах». Ее жизнь пройдет без бурь и потрясений, если вихорь новой жизни не разнесет той обстановки, в которой рождались и цвели эти душистые цветы девственной природы.

Другое дело—Вера. В ней нет первобытной душевной гармонии. Дуновение новой жизни коснулось ее и поселило бурю в ее душе. Ей мало цельного и простого учения отца Василия. Она стремится в даль, к какой-то иной жизни. Это — последня ступень того типа, который выведен Гончаровым сначала в лице Адуевой, потом в лице Ольги и наконец в лице Веры. Это—одна из тех удивительных русских девушек, которые не мирятся на малом, ищут воплощения возвышенной мечты своей и так пламенно ищут, что не всегда могут расслышать фальшивые ноты и отличить истинный блеск от поддельного. Она готова пойти за Волоховым, потому что ее не удовлетворяет старый уклад жизни и старый круг воззрений. Ей, как правильно заметил Райский, по плечу новые понятия, пробивающиеся в общественное сознание. Она стала неизмеримо выше круга, где жила. Но, как Адуева и Ольга, она не может найти его нового конкретного воплощения. Она как будто олицетворяет идеалы самого Гончарова—идеалы, в которых старая мечтательность и идеализм сливаются в одно нераздельное целое с энергичной ломкой старых устоев жизни. Веру не удовлетворит Райский: она ясно видит бесплодность его мечты, противоречие между его словом и его делом. Но ее не удовлетворит и Волохов. Она не перенесет этой грубой ломки вековых святынь, этого циничного издевательства над мечтой и традицией. И в то же время она умеет ценить отдельные черты в обоих: в Райском—его благородство и честность, его уважение к традиции, в Волохове—независимость ума, гордость и презрение ко всему, что горит фальшивым, а не настоящим светом. Правда, при ближайшем знакомстве Веры с Волоховым выяснилось, что их воззрения коренным образом расходятся. Она признает любовь только «на всю жизнь». Он не связывает себя никакими обещаниями и признает только свободную любовь—любовь, длящуюся только до тех пор, пока не исчезнет его влечение к Вере и не потянет его к другой женщине. Вера с отвращением относится к этой «любви на срок». Для него это—закон природы. Вера убеждена, что женщина создана прежде всего для семьи. «Я не

волчица, а женщина»,—говорит Вера. «Ну пусть для семьи, что же? В чем тут помеха нам? Надо кормить и воспитать детей? Это уже не любовь, а особая забота, дело нянек, старых баб». В его глазах «любовь—счастье, данное человеку природой», счастье без обязательств, без стеснений. Вера, напротив, убеждена, что «счастье это ведет за собой долг». Что же заставило Веру полюбить Волохова? Она сама напоминает Марку историю этой любви: «Помните, как все это случилось?—Мне сначала было жалко вас. Вы здесь одни, вас не понимал никто; все убегали. Участие привлекло меня на вашу сторону. Я видела что-то странное, распущенное. Вы не дорожили ничем—даже приличием, были небрежны в мыслях, неосторожны в разговорах, играли жизнью, сорили умом, никого и ничего не уважали, ни во что не верили и учили тому же других, напрашиваясь на неприятности, хвастались удалью. Я из любопытства следила за вами, позволила вам приходить к себе, брала у вас книги, видела ум, какую-то силу... Но все это шло стороной от жизни... Потом... я забрала себе в голову (как я каюсь в этом!), что... Я говорила себе часто: сделаю, что он будет дорожить жизнью... сначала для меня, а потом и для жизни, будет уважать, сначала опять меня, а потом и другое в жизни, будет верить... мне, а потом... Я хотела, чтобы вы жили, чтобы стали лучше, выше всех, ссорилась с вами за беспорядочную жизнь. Вы поддавались моему влиянию... И я тоже поддавалась вашему: ума, смелости, захватила было несколько... софизмов...» Когда она «увидала софизмы», было поздно уже бросить Марка. История любви Веры напоминает историю любви Ольги к Обломову. Как Ольга полюбила «выдуманного» Обломова, так и Вера любила в Волохове возможного Волохова. Обе увлеклись мыслью о «спасении» любимого человека, и обеим нелегко было расстаться со своей мечтой. И обе в сущности кончили одинаково—помирились или помирятся на каком-то недоконченном счастьи одна—с Штольцем, другая—с Тушиным, и обе так и сохранят навсегда грустную задумчивость и скрытую тоску о необретенном идеале.

Марк Волохов—тенденциозная фигура. Он выведен как будто нарочно для того, чтобы как можно ярче нарисовать превосходство бабушкиных «правил» над новыми идеями. Сцена между Тушиным и Волоховым—символическая сцена.

Тушин в ней идеален, Волохов—нелеп. Согласие Волохова жениться на Вере, полное в сущности отречение его от своих принципов и полная победа Веры. За всем этим ясно чувствуется автор, воплощающий в образы мысль о несостоятельности волоховской проповеди и о превосходстве старых, испытанных форм жизни. Не будем останавливаться на вопросе о том, насколько правдиво и психологически верно изображен Волохов. Последующая история русского общества показала, что в «новых» людях было кое-что, кроме голого цинизма и отрицания, что многое из того, что они проповедывали, вошло в сознание русского общества и дало плодотворные результаты. Гончаров хотел отметить в этих людях одно: их учение в применении на практике ведет к страданию окружающих, последствия проповедуемой ими свободы обрушиваются не на них, а на тех, кто соприкасается с ними, из сложных отношений жизни они, следуя своей проповеди, выйдут незатронутыми, и, таким образом, в конечном итоге эта проповедь есть не что иное, как оправдание их эгоизма. Если же они столкнутся с натурой сильной, не поддающейся их идеям, им остается одно—впасть в противоречие с своими теориями, отречься от них и подчиниться общепринятому порядку жизни. Тот «молот», который стучит в мозгу Волохова после разговора с Тушиным,—этот молот держит рука автора. «Из логики и честности,—говорило ему отрезвившееся от пьяного самолюбия сознание,—ты сделал две ширмы, чтобы укрываться за них со своей «новой силой», оставив бессильную женщину разделываться за свое и за твое увлечение, обещав ей только одно: «уйти, не унося с собой никаких «долгов», «правил» и «обязанностей»... оставляя ее нести их одну»... «Ты не пощадил ее «честно», когда она падала в бессилии, не сладил потом «логично» с страстью, а пошел искать удовлетворения ей, поддаваясь «нечестно» отвергаемому твоим «разумом» обряду, и впереди заботливо сулил—одну разлуку! Манил за собой и... договаривался! Вот что ты сделал!—стукнул ему в голову молот еще раз». Гончаров, представитель определенной идеологии, не мог отнестись к Волоховым иначе. Под тем углом зрения, под которым смотрел на мир просвещенный полубарин, полузаводчик, трудно было думать о коренном пересмотре общественных воззрений, о решительной перестройке

форм жизни, словом, совершить те изменения, при которых мировоззрение Волохова могло бы показаться не столь безнадежным, каким оно казалось автору «Обрыва».

Тушин—венец того здания, которое тщательно воздвигал всю свою жизнь Гончаров. Это—новая вариация Штольца, новый синтез дворянского благородства и буржуазной деловитости. Он «разделяет» взгляды бабушки, но он же ведет поновому свое хозяйство, в котором всюду видны «следы движения, работ, ухода, науки». Пильный завод показался Райскому «чем-то небывалым по обширности и роскоши строений, где удобство и изящество делали его похожим на образцовое английское заведение; машины из блестящей стали и меди были в своем роде образцовыми произведениями». Сам Тушин был первым работником, он входил во все мелочи, лазил в машину и т. д. И снова приходится на-слово верить автору, как приходилось верить по поводу удивительных дел, созданных Штольцем. В Тушине автор усматривает «равновесие силы и ума с суммою тех качеств, которые составляют силу души и воли»; и то, и другое, и третье слито тесно одно с другим, и ничто не выдается, не просится вперед, не сверкает, не ослепляет, а тянет к себе медленно, но прочно». У него не было разлада; словом, он воплощает ту гармонию, которой так жаждал Гончаров и которой не было в действительности. Вот почему вместо живого образа, вместо картин, в которых обнаружились бы все эти свойства Тушина, автору приходится довольствоваться перечислением его идеальных качеств. Впрочем, сам Гончаров признается, что «трудно и просто нельзя рисовать с жизни еще не сложившейся, где формы ее не устоялись, лица не наслоились в типы».

Творчество Гончарова—отражение важной полосы в истории русской общественной мысли. Оно отражает сдвиг этой мысли, вызванный выступлением на историческую арену буржуазии и стремлением наиболее жизнеспособных элементов дворянства пойти на выучку к либеральным и просвещенным предпринимателям. Отсюда бо́льшая суровость к Обломову, чем у Тургенева к Рудину, отсюда больше любви к Тушиным и Штольцам, чем там к Лежневым и Соломиным, и если что осталось неизменным, то это одинаковая у обоих вражда к Волоховым.

УКАЗАТЕЛЬ ПОСОБИЙ.

Полное собрание сочинений И. С. Тургенева в 12 томах. СПБ. Изд. Маркса. 1898 г.

Н. М. Гутьяр. Иван Сергеевич Тургенев. Юрьев. 1907 г.

Его же. Тургенев и семейство Виардо-Гарсиа. „Вест. Евр.". 1908, VIII.

А. Е. Грузинский. К истории „Записок охотника" (в „Лит. оч.". М. 1908 г.).

Первое собрание писем И. С. Тургенева. СПБ. 1885 г.

Иностранная критика о Тургеневе. Пер. Е. И. Ш. Изд. 2-е.

П. В. Анненков Воспоминания и критические очерки. Т. II.

Проф. Д. Н. Овсянико-Куликовский. Тургенев. Соч. Т. II. Изд. 3-е. СПБ. 1910 г.

И. И. Иванов. И. С. Тургенев. Жизнь, личность, творчество.

К. Я. Стечкин. Из воспоминаний о И. С. Тургеневе (с приложен. семи его неизд. писем). СПБ. 1903 г.

И. С. Тургенев. Неизданные письма к г-же Виардо и его французским друзьям. М. 1900 г.

Брандес. Тургенев. СПБ. 1888 г.

В. П. Батуринский. Герцен и Тургенев („Герцен, его друзья и знакомые". СПБ. 1904 г.).

Леонид Гроссман. Театр Тургенева. Петр. 1923 г.

Статьи о Тургеневе Белинского, Писарева, Добролюбова, Чернышевского, Михайловского в полн. собр. сочинений.

Н. Страхов. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862—1865 гг.). Киев. 1901 г.

Сочинения графа Л. Н. Толстого. Изд. 12-е. в 20 тт. М. 1911 г.

Полн. собр. сочинений под ред. П. Бирюкова. 20 тт. Изд. Сытина. М. 1912—1913.

Посмертные худож. произведения Л. Н. Толстого. 3 т. М. 1911 г.

То же, Изд. Ладыжникова, в Берлине. 3 тома. 1912.

Лев Николаевич Толстой. Биография. Т. I. Изд. 2-е. М. 1911 г. Т. II. М. 1908 г. По неизданным материалам составил П. Бюриков.

П. Бюриков. Л. Н. Толстой (к 80-летнему юбилею). Изд. „Посредник". М. 1908 г.

Н. К. Михайловский. Критические опыты. Гр. Л. Н. Толстой. СПБ. 1887 г.

А. Скабичевский. Граф Л. Н. Толстой как художник и мыслитель. СПБ. 1887 г.

Л. Н. Толстой, его философские и нравственные идеи. Критический этюд Л. Е. Оболенского. Изд. 2-е. СПБ. 1887 г.

Г. Плеханов. Смешение представлений. „Мысль", 1—2. 1911.

Г. Плеханов. Отсюда и досюда. „Звезда", 1912. № 1.

Г. Плеханов. Еще о Толстом. „Звезда". 1912, №№ 11, 12, 13 и 14.

Л. И. Аксельрод-Ортодокс. Л. Н. Толстой. М. 1922 г.

Д. С. Мережковский. Л. Толстой и Достоевский. Т. I. СПБ. 1901 г. Т. II. СПБ. 1902 г.

Л. Н. Толстой. Монография Андреевича. СПБ. 1905 г.
Левенфельд. Граф Л. Н. Толстой, его жизнь и сочинения. М. 1897 г.
Проф. Д. Н. Овсянико-Куликовский. Лев Николаевич Толстой. К 80-летию великого писателя. СПБ. 1908 г.
Проф. Д. Н. Овсянико-Куликовский. Л. Н. Толстой, как художник. Изд. 2-е. СПБ. 1905 г.
В. Ильин. Толстой и его эпоха. „Звезда", 1911, № 6, 22 января.
Вересаев. Живая жизнь. Статьи о Достоевском и Толстом. 1911. 2-е изд. 1922.
В. П. Краннихфельд. От великого барина к великому мужику. „Сов. М." 1908. IX.
Мартынов. 1909). Мотивы творчества Толстого. („На рубеже", критич. сборник. СПБ.
Аксельрод, Л. И. (она же Ортодокс). Л. Н. Толстой. Сборник статей. Госиздат. М. 1922 г.
Ник. Иорданский. Лев Толстой и современное общество. „Сов. М". 1910. XII.
Русская критическая литература о произведениях Л. Н. Толстого. Собрал В. Зелинский. Части I, II, III. Изд. 3-е. М. 1903—1905 гг. Части IV, V, VI, VII. Изд. 2-е. М. 1902—1906 гг.
Полное собрание сочинений Д. В. Григоровича в 12 томах. СПБ. Издание Маркса. 1896 г.
О Григоровиче см. Белинский: „Русская литература в 1846 г." и „Взгляд на русскую литературу 1847 г.".
Н. Чернышевский. „Заметки о современной литературе", т. II. „Сочинений".
Ф. Тютчев. Полное собрание сочинений. Под ред. П. В. Быкова. Изд Маркса.
Ф. Тютчев. Собр. соч. в 1 томе. 2-е доп. изд. СПБ. 1900 г.
Д. Д. Языков. Тютчев, его жизнь и поэзия. М. 1904 г.
И. С. Аксаков. Федор Иванович Тютчев. „Русский архив", 1874, 10.—2-е издание. М. 1886 г.
Главные статьи о Тютчеве. см. А. Фет („О стихотворениях Тютчева". „Р. Сл." 2./59). Айхенвальд („Силуэты русских писателей"), Л. Якубович („Очерки русской поэзии"), Горнфельд („Ист. русск. лит". Под ред. Овсянико-Куликовского, изд. „Мир"), Вл. Соловьев (Собр. сочинений. Т. VI), В. Брюсов („Русский архив" 1900, III 1903, XI и XII 1906, X, а также в общих обзорах Венгерова, Скабического и т. д.
Тютчевиана. Пред. Г. Чулкова. М. 1922.
А. Фет. Полное собрание стихотворений в трех томах. Изд. 2-е. СПБ. 1910 г.
А. Фет. Ранние годы моей жизни. М. 1893 г.
А. Фет. Мои воспоминания 1848—1889. В двух частях. М. 1890 г.
Главные статьи о Фете. См. указ. выше сочинения: Айхенвальд, Якубович, Саводник („Ист. русск. лит.", изд. „Мир"), Вл. Соловьев, а также Михайловский (Полное собр. соч.), Л. Майков („Историко-литерат. очерки"), В. Боткин (Сочинения, т. II), Ап. Григорьев (Сочинения), Н. Коробка. („Поэзия Фета". „Образование". 1901, 7—8). Бальмонт (в сборнике „Горные вершины") и общ. сочинения.
А. Майков. Полное собрание стихотворений в четырех томах. Изд. 8-е. СПБ. 1913 г.
Д. Д. Языков. Жизнь и труды Майкова. М. 1898 г.
М. Л. Златковский. А. Н. Майков. Биографический очерк. Изд. 2-е. СПБ. 1900 г.
Главные статьи и упоминания о Майкове: Белинский (Сочинения), Айхенвальд („Силуэты"), Семевский („Из истории обществ. идей в России").
Более полные библиографические сведения о названных здесь писателях см. И. В. Владиславлев. „Русские писатели". Ленинград, 1924, и Н. К. Пиксанов. „Два века русской литературы". М. 1923.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

I. Роль дворянства в литературе 40-х и 60-х годов. — Появление разночинца в литературе.—Его происхождение и мировоззрение.— Зарождение крупной буржуазии. — Идеология дворянства и отношение писателей-дворян к разночинской идеологии: Тургенев. — Эстетическое направление: Тютчев, Фет и Майков. — Изображение буржуазии в литературе: Островский и Гончаров. — Роль разночинцев в истории развития русской литературы 3

II. Тургенев. — Впечатления детства и юности. — Крепостное право, усадебная обстановка, университет, Белинский. — „Записки охотника" и „аннибалова клятва". — Роль „Записок охотника" в развитии антикрепостнических идей. — Рассказы, проникнутые духом протеста против крепостного права. — Рассказы, освещающие лучшие черты русского крестьянства, его идеализм, его нравственные представления и творческую силу . . 16

III. „Гамлет Щигровского уезда" и „Дневник лишнего человека". — Происхождение и миросозерцание „лишнего человека". — „Рудин". — Настроение, господствующее в этом романе. — Гегелианство Рудина.— Воспитание и история Рудина. — Праздность и кружки. — Пафос и красноречие Рудина. — Его практические попытки и бессилие. — Отношение автора к герою и роль Рудиных в жизни. — „Дворянское гнездо" как лучшее выражение тургеневских настроений. — Воспитание Лаврецкого. — Практическая деятельность Лаврецкого. — Дала ли она ему удовлетворение? 36

IV. Тургенев и Виардо. — Разрыв с русским обществом.— Примирение с обществом и последние годы жизни. — Общее настроение, которым проникнут роман „Накануне". — Инсаров среди русских интеллигентов. — Характеристика Инсарова. — Заглавие романа. — Происхождение „Отцов и детей"; отношение Тургенева и критики к Базарову. — „Отцы": Павел Петрович Кирсанов. — Миросозерцание Базарова и характер его. — Последователен ли он? — Общее настроение, царящее в „Отцах и детях" 52

V. Новые течения среди русской интеллигенции и молодежи, возникшие с началом реакции.—Отношение к ним Тургенева.—Реакционная Россия и интеллигенция в „Дыме". — Правильно ли изобразил их Тургенев. — Положительные идеалы и отрицание Потугина. — Изображение революционных кружков в романе „Новь". — Нежданов. — Соломин. — Женщины у Тургенева: Лиза, Наталья, Елена, Марианна. — „Стихотворения в прозе" как самое яркое выражение настроений Тургенева 70

Стр.

VI. Л. Н. Толстой и общество. — Великое недоразумение между ними. — Толстой и усадебная культура.—Вопрос о „перевороте" в миросозерцании Толстого.—Биография и история душевного развития Толстого. — „Детство, отрочество и юность". — Общий характер повести. — Николенька Иртеньев. — Черты светского человека в нем. — Его характер, наблюдательность, совестливость, самолюбие, застенчивость, воображение, склонность к анализу. — Типы из народа. — „Утро помещика".—Нехлюдов. — „Казаки". — Оленин 91

VII. „Война и мир" как глубочайшее выражение нравственных воззрений Толстого. — Наполеон. — Кутузов. — Платон Каратаев. — История душевного развития князя Андрея Болконского и Пьера Безухого. — Изображение высшего дворянства в „Анне Карениной". — Его упадок. — Каренин. — Облонский.— Граф Вронский. — Левин как выразитель идеалов Толстого.— Идеал женщины у Толстого. — Заключение 122

VIII. Д. В. Григорович. — Впечатления детства: ужасы крепостного права, французские уроки, камердинер. — Литературные знакомства и влияния. — История появления „Деревни" и „Антона Горемыки" и отзыв Белинского об этих повестях. — Фальшивый тон в последующих произведениях Григоровича. — Главные черты, отличающие повести „Деревня" и „Антон Горемыка": пессимизм и реализм. — Изображение помещиков и семейной жизни крестьянина в „Деревне". — Бесправие и нужды крестьянства в повести „Антон Горемыка". — „Рыбаки". — Заключение. 151

IX. Связь между общим настроением сороковых годов и символической поэзией. — Романтический характер этой эпохи и Тютчев. — Биография и личность Тютчева. — Политические статьи и политическая поэзия. — Философская лирика Тютчева 173

X. Тютчев и Фет. — Биография и личность Фета. — Общий характер его поэзии. — Аристократическая беспечность, преображение мира через красоту. — Роль поэзии. — Добро и зло. — Природа. — Слово и звук. — Заключение 198

XI. Майков среди представителей „чистой" поэзии. — Его биография.— Отношение Майкова к общественно-литературным направлениям и к политическим злобам дня. — Романтический универсализм и объективность—главные черты майковской поэзии.— „Вечное". — Взгляд на поэта и искусство. — „Три смерти". „Два мира" и другие поэмы 218

XII. Герои „дела". — Влияние начинающегося развития промышленности. — Город. — Гончаров. — Его биография и личность. — Его общественные и эстетические воззрения. — Взгляд на собственные романы. — „Обыкновенная история". — „Обломов". — „Обрыв" 242

Указатель пособий 301

6181

1 р. 85 к.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

Г. Е. ГОРБАЧЕВ

КАПИТАЛИЗМ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Историко-литературные и критические статьи

Введение. Н. Некрасов. Л. Толстой. Ф. Достоевский. А. Блок. Л. Андреев

Изд. 2-е, исправленное и дополненное

Стр. 228 Ц. 1 р. 50 к.

Г. ГОРБАЧЕВ

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Обзор литературно-идеологических течений современности и критические портреты современных писателей

Русская художественная литература перед революцией и в эпоху гражданской войны. Пережившие себя. Новобуржуазная литература. Мелкобуржуазная литература. Левое крыло мелкобуржуазной литературы. Пролетарская литература. Указатель писателей.

Стр. 375 Ц. 3 р.

Л. ВОЙТОЛОВСКИЙ

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX И XX ВЕКОВ

Часть первая

Пушкин — Достоевский

Издание 3-е, исправл.

Стр. 244 Ц. в перепл. 1 р. 75 к.

В. ЕВГЕНЬЕВ-МАКСИМОВ

ОЧЕРК ИСТОРИИ НОВЕЙШЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Издание 3-е, исправл. и дополн.

Содержание: Предисловие. Введение. I. Восьмидесятые годы. II. Девяностые годы и начало 900-х гг. III. Предоктябрьский период: 1905—1917. IV. Послеоктябрьский период. Общие вопросы литературы и искусства в послеоктябрьский период. Русская поэзия послеоктябрьского периода. Художественная проза после Октября. Послесловие. Библиография.

Стр. 335 Ц. 1 р. 65 к., в перепл. 1 р. 80 к.

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ И ОТДЕЛЕНИЯХ ГОСИЗДАТА

BINDING SECT DEC 18 1964

PG
3016
K57
1911
t.2

Kogan, Petr Semenovich
Ocherki po istorii novieĭ-
sheĭ russkoĭ literatury

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY